Борис Соколов

ЖЕНЩИНА - МИФ

Арманд и Крупская

Женщины Вождя

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Почему две женщины любили человека, с именем которого связана самая знаменитая революция XX века. Каков был Ильич в частной жизни. Были ли у Ленина еще любовницы. Как повлияла любовь на вождя большевиков и как он сам действовал на женщин, которые его любили. На эти и многие другие вопросы вы получите ответ в новой книге. Она основана на материалах, ставших доступными историкам только в последние годы.

- Борис Соколов
  -
  - КРУПСКАЯ И АРМАНД
  - Эмигрантские романы:
  - Ленин — Арманд: звездный час и гибель
  - Ленин и Крупская: дожитие
  - Краткая библиография
  - Иллюстрации
- notes
  - 1

Борис Соколов
Арманд и Крупская: Женщины Вождя

Моей матери и моей жене с любовью посвящаю

Владимир Ильин Ульянов, России и всему миру более известный под псевдонимом Ленин, в СССР еще при жизни превратился в наиболее почитаемую икону. На протяжении семи десятилетий советская лениниана рисовала нам вождя практически лишенным не только каких-либо человеческих слабостей, но и многих страстей и чувств, свойственных всем людям. Например, любви к женщине (детей мифологическому Ленину, слава Богу, любить дозволялось). Между тем, за рубежом табу на личную жизнь Ильича не было. Еще в 1936 году бывший большевик Григорий Алексеевич Алексинский, ставший позднее непримиримым противником большевизма и одним из авторов версии о Ленине — германском шпионе, — в предисловии к воспоминаниям одной из немногочисленных ленинских любовниц совершенно справедливо писал: «Официальные почитатели не только мумифицируют и подкрашивают его набальзамированный труп, но и создают вокруг его личности позолоченную легенду. И лишь очень редко бывает возможность познакомиться с материалами о настоящем, живом Ленине… В этих рассказах, а также в своих письмах Ленин является перед нами не таким, каким его разрисовывают официальные советские «богомазы», а таким, каким он был в действительности».

Обе женщины, о которых пойдет речь в этой книге, Инесса Федоровна Арманд и Надежда Константиновна Крупская, остались в истории только благодаря близости к одному человеку — Ленину. В ином случае о них знали бы только очень внимательные читатели весьма скучных трудов — о социал-демократическом движении в России начала XX века да о становлении советских государственных учреждений. И Арманд, и Крупская были сильно мифологизированы советской пропагандой. Одну из главных своих задач я видел в том, чтобы понять, какими они и Ленин были в действительности, какие чувства испытывали друг к другу, какой видели собственную судьбу, судьбы России и всего человечества. Удалось ли мне это — судить читателям.

Лаконичный язык полицейских документов сохранил портретные описания обеих женщин. Вот что говорилось там об Арманд: «Инесса, интеллигентка… около 26–28 лет от роду (писалось донесение агента-провокатора в 1911 году, когда нашей героине было уже полных 37, так что выглядела она, признаем, гораздо моложе своих лет. — *Б. С.),* среднего роста, худощавая, продолговатое, чистое и белое лицо; темно-русая с рыжеватым оттенком; очень пышная растительность на голове, хотя коса и производит впечатление привязанной (на самом деле — настоящая, а не какой-нибудь там шиньон. — *Б. С.*)». А вот портрет Крупской той же поры: «…около 36–38 лет от роду (в действительности — 42, полицейские агенты загадочным образом омолаживали женщин-революционерок. — *Б. С.),* выше среднего или даже высокого роста, худощавая, продолговатое бледное с морщинками лицо, темно-русая, интеллигентка, носит прическу и шляпу…» Даже по этим скупым строчкам, если бы мы не располагали многими фотографиями, можно было заключить, что Арманд была куда эффектнее Крупской. Но, думаю, не только и не столько из-за этого увлекся ею Ильич…

Сразу предупреждаю: о педагогической деятельности Крупской и о роли Арманд в борьбе за равноправие российских женщин я буду говорить очень мало. Ведь интерес сегодня представляет только их роль в биографии того, кого одни считают величайшим и добрым гением, а другие — величайшим злодеем нашего столетия. Ни одно ленинское жизнеописание не обходится без упоминания этих имен, что неудивительно: Крупская была женой, а Арманд — единственной известной до сих пор любовницей создателя и вождя партии большевиков. Как две женщины и Ленин образовали «красный треугольник», что за личности были Инесса Арманд и Надежда Крупская, что значили в их жизни любовь и революция? На эти и некоторые другие вопросы я постараюсь дать ответ.

В советское время на сюжет об отношениях Ленина и Инессы Арманд было наложено табу. Историкам и публицистам позволялось писать только о любви «товарища Инессы» к Владимиру Ильичу как к вождю и пламенному революционеру, ее восхищении им, преклонением перед ним, но не о страстной, чувственной влюбленности ее в Ленина-человека. Понятно, что абсолютно запрещены были любые намеки на секс как для Ленина и Арманд, так и для Ленина и Крупской. Есть основания полагать, что переписка Владимира Ильича и Инессы Федоровны была серьезно подчищена как при их жизни, так и уже после смерти. В воспоминаниях современников любовь Инессы и Ильича тоже весьма тщательно обходилась, чтобы не разрушать

миф, герой которого должен был быть всегда верен не только революции, но и жене, и даже в мыслях не должен был изменять обеим. Практически никто из близко знавших Инессу Арманд или Надежду Крупскую не стал впоследствии противником Ленина, не эмигрировал из Советской России и не оставил сколько-нибудь откровенных мемуаров. Их образы также были сильно мифологизированы, и, в сущности, о жизни двух близких Ленину женщин мы, кроме анкетных данных, достоверно знаем не слишком много. А сколько ценных сведений утрачено безвозвратно — в уничтоженных письмах и так и не написанных воспоминаниях! Многое мне придется додумывать, а потом еще додумывать придется моим читателям. И все же попробуем воссоздать облик двух верных подруг Ильича, едва просвечивающий сквозь туман мифов.

КРУПСКАЯ И АРМАНД ЕЩЕ НЕ ЗНАКОМЫ

О начале жизненного пути наших героинь известно довольно точно. Надежда Крупская родилась в Петербурге 14/26 февраля 1869 года[1]. Ее отец, Константин Игнатьевич Крупский, происходил из польских дворян Виленской губернии. Дед Надежды, Игнатий Каликстович, кадровый офицер русской армии, потерял все свое имущество в войну 1812 года и после возвращения из заграничного похода переселился в Казанскую губернию. Там 29 мая 1838 года и родился Константин Игнатьевич. Восемь лет спустя Игнатий Каликстович вышел в отставку в чине майора и вскоре умер. Костю определили в Константиновский кадетский корпус в Петербурге. Потом — Михайловское артиллерийское училище, откуда Константин Иванович был выпущен в 1857 году в чине подпоручика. Еще в кадетском корпусе он познакомился с Андреем Афанасьевичем Потебней, будущим членом русской секции I Интернационала. Они поддерживали связь и позднее. После училища Крупского определили в Смоленский пехотный полк, располагавшийся в польском городке Кельце. Здесь революционные демократы во главе с Потебней стремились создать тайную офицерскую организацию. В записной книжке Николая Огарева сохранился перечень ее членов, вписанный туда Потебней собственноручно. В нем значился и Крупский, поручик Смоленского полка 7-й пехотной дивизии (этот чин Константин Игнатьевич получил в 1859 году). Конечно, Андрей Афанасьевич в сообщении одному из редакторов знаменитого «Колокола» мог вольно или невольно преувеличить степень революционности русского офицерства в Польше и причислить к созданному им Комитету русских офицеров давнего товарища, сочувственно относящегося к взглядам революционных демократов, но отнюдь не готового выступить против правительства с оружием в руках. Сам Потебня в своей борьбе против самодержавия пошел до конца, в 1863 году встал на сторону польских повстанцев и погиб в бою с русскими войсками. Поручик же Крупский, как мы увидим дальше, присяги не нарушил.

Молодой офицер по прибытии на место службы попал под влияние польской культуры, быстро выучил язык предков, увлекся поэзией Мицкевича, музыкой Шопена… Но в воздухе пахло грозой. В Российской империи начались Великие реформы. Поляки надеялись, что Королевство Польское обретет

долгожданную независимость. Но царь-освободитель ограничился проведением на польских землях либеральных реформ, восстанавливавших политические права польской элиты. Русское правительство рассчитывало на союз с местной шляхтой, интеллигенцией и католической церковью. Оно надеялось убедить образованные классы польского общества в выгодах сохранения автономного Королевства Польского в составе Российской империи. Реформы активно проводил в жизнь в 1861–1862 годах начальник гражданского управления Королевства маркиз Александр Велёпольский. Однако его деятельность привела к результатам, прямо противоположным ожидаемом. Позднее биограф Велепольского историк В. Д. Спасович писал: «…Предприятие его рушилось не потому, что оно было не логическое, а потому, что было затеяно в момент, когда какие-то ни было даруемые облегчения и льготы могли быть истолкованы только как уступки и когда спор между двумя нациями осложнился возможностью вмешательства западноевропейских государств». Поляки рассчитывали на помощь Запада (как показали дальнейшие события — безосновательно) и требовали полной независимости.

Назревало восстание, и расквартированные в Польше офицеры это чувствовали. Константин Игнатьевич не горел желанием стрелять в братьев по крови. Но понимал: оставаясь в Кельце, роли карателя не избежать. И сделал отчаянную попытку перевестись в родную Казань. 12 ноября 1862 года он подал прошение командиру полка полковнику Ченгеры, тоже происходившему из польской шляхты:

> «Милостивый государь, Ксаверий Осипович!
>
> Извините за откровенную, смешную просьбу, с которой обращаюсь к Вам, как к начальнику, всегда готовому принять участие в судьбе подчиненного. С девятилетнего возраста провидение разлучило меня со всеми близкими сердцу, а вместе — с милым родным краем, оставив в душе сладкие воспоминания о счастливых годах детства, живописных местах родного гнезда!.. О всем, что так дорого для каждого!
>
> От подобных обстоятельств жизни какая-то невыносимая тоска давит душу — весь организм мой, а желание служить на родной земле день ото дня сильнее овладевает моими чувствами, парализует все мои мысли.
>
> Я уверен, Ксаверий Осипович, что Вы поймете грустное состояние моей души и по чувству человеческому не оставите без внимания просьбы,

> охотно примете на себя труд хлопотать о переводе меня в войска, стоящие в Казанской губернии (место моей родины). Быть может, перевести меня труд с Вашей стороны не малый, тем более что я не имею собственных средств на проезд такого дальнего пути, но все-таки надеюсь на исполнение просьбы моей».

Добряк-полковник все понял и рапорт поддержал. Но было поздно.

О том, что грядет восстание, догадывался и сам Велепольский. Чтобы предотвратить его, маркиз в январе 1863 года объявил рекрутский набор по специальным именным спискам. Таким образом Велепольский хотел изъять из Королевства «неблагонадежные элементы». Однако эта мера только ускорила развязку. Сразу же после объявления рекрутского набора вспыхнуло восстание на польских, литовских и белорусских землях. Поручику Крупскому, пусть с тяжелым сердцем, но пришлось исполнять воинский долг. Свое сочувствие к полякам Константин Игнатьевич проявлял лишь в том, что иной раз позволял бежать пленным повстанцам.

После подавления восстания многие из польских шляхтичей — знакомых Крупского были сосланы в Сибирь, а их земли конфискованы. Теперь Константин Игнатьевич вынужден был делить общество оставшихся в губернии русских помещиков. И на одном из вечеров повстречал будущую жену.

Надежда Константиновна вспоминала: «Родители хотя и были дворяне по происхождению, но не было у них ни кола, ни двора, и когда они поженились, то бывало нередко так, что приходилось занимать двугривенный, чтобы купить еды». В послужном списке Константина Игнатьевича так и отмечалось: «Родового и благоприобретенного недвижимого имущества и имений за ним, его родителями и женой не значится». Елизавета Васильевна Тистрова, будущая жена поручика Крупского, тоже никакого состояния не унаследовала и с ранних лет познала горечь сиротства. Она была дочерью подполковника корпуса горных инженеров Василия Ивановича Тистрова (судя по фамилии — из обрусевших немцев или англичан), но очень рано осталась круглой сиротой. Восемь лет она проучилась в Павловском военно-сиротском институте благородных девиц в Петербурге. Рассказы матери об этом времени дочь позднее передавала так: «Очень хорошая ученица, она имела пониженный балл за поведение, но зато была любимицей класса. Стащить форшмак у классной дамы и накормить им голодных подруг, устроить бомбардировку двери Мочалки (начальницы), не моргнув,

выдержать крики и выговоры классной дамы-немки, не отвечать урока, потому что другие девочки не выучили его, взять на себя вину других — на это она была первой мастерицей».

Когда в 1858 году Лиза Тистрова окончила институт, дававший образование в объеме гимназии, она получила не только аттестат зрелости, но и звание домашней учительницы. Несколько лет служила гувернанткой в Петербурге, пока в 1864 году не приняла приглашение помещицы Русановой переехать в ее имение в Польше недалеко от Кельце, где предстояло воспитывать троих детей. Дети полюбили новую гувернантку, хозяйка была с ней приветлива. Но сама атмосфера помещичьего быта действовала на Елизавету угнетающе. Среди крестьян жила память о недавних дичайших выходках крепостников. Много лет спустя Елизавета Васильевна рассказывала дочери Наде: «Отец… помещицы практиковал следующее: когда какая-нибудь подневольная крепостная… не хотела становиться его любовницей, то ее избивали до полусмерти, а затем зашивали в мешок, сыпали зерно и пускали индюков, которые заклевывали насмерть». По словам Надежды Константиновны, «за два года, пока она служила в гувернантках у помещицы, мать вдоволь насмотрелась, как обращались помещики с крестьянами, какое это было зверье».

Молодой образованный поручик, сочувствовавший народу, на этом фоне заметно выделялся в лучшую сторону. Очень быстро Лиза и Константин полюбили друг друга. Однако прошло несколько лет, прежде чем они стали мужем и женой. Вскоре после подавления польского восстания поручик Крупский был назначен уездным воинским начальником в Кельце.

Одной из главных его задач стало проведение аграрной реформы. Эту реформу российские власти инициировали в Королевстве Польском, чтобы ослабить шляхту и вбить клин между ней и польским крестьянством. Осуществление реформы облегчалось тем, что многие помещики за участие в восстании были сосланы в Сибирь, а их земли конфискованы. Впрочем, и оставшиеся в Королевстве шляхтичи за изъятые в пользу крестьян земли получили не более чем почти символическую компенсацию. Были также конфискованы все земли и капиталы католической церкви, закрыты многие монастыри. Теперь правительство стремилось опереться на крестьянство и нарождающуюся польскую буржуазию против шляхты. Реформа местного самоуправления привела к тому, что шляхта потеряла какие-либо льготы при выборах войтов — старшин, возглавлявших гмины (административные единицы, аналогичные русским волостям). Это обстоятельство объективно привело к

сближению положения шляхтичей и крестьян, но сословная отчужденность между ними сохранилась.

Константин Игнатьевич успешно справлялся со своими обязанностями. Ему удавалось поддерживать баланс между интересами крестьян и помещиков. Со многими из шляхтичей Крупский был дружен, а к простому народу испытывал симпатию, естественную для человека демократических убеждений. В 1866 году Крупского произвели в капитаны.

В 1867 году в Петербурге открылась Военно-юридическая академия. Константин Игнатьевич и его старший брат Александр решили поступить туда, благополучно выдержали экзамены и были зачислены на первый курс. Успешное окончание академии открывало возможность карьеры в сфере военной юстиции и администрации. Очевидно, капитан Крупский, поработав уездным воинским начальником, нашел свое призвание в сфере управления. Здесь он надеялся дать достойное применение своим силам и хоть чем-то облегчить положение народа. Казалось, начатые Александром II реформы дают основание рассчитывать на реализацию подобных замыслов. Однако всего лишь через несколько лет надежды Константина Крупского пошли прахом.

Константин Игнатьевич и Елизавета Васильевна поженились в 1868 году, вскоре после переезда в столицу. Первое время молодожены поселились у родственников Тистровых на Офицерской улице, недалеко от набережной Мойки, где располагалась Военно-юридическая академия. Здесь 14/26 февраля 1869 года у них родилась дочь Надежда, которой и суждено было оставить в веках память о роде Крупских. Втроем было тесно в маленькой комнате, и некоторое время спустя семейство переехало в более просторную, но отдаленную от центра квартиру у Аларчина моста вблизи слияния речек Пряжки и Кривуши (последняя теперь называется каналом Грибоедова). В средствах Крупские были по-прежнему стеснены, и Константин Игнатьевич, чтобы сэкономить на конке, продолжал ходить на занятия пешком. А ведь путь теперь был не близкий.

В сентябре 1869 года капитан Крупский окончил Военно-юридическую академию по 2-му разряду. Это не позволило ему получить должность в органах военной юстиции. В связи с этим Константина Игнатьевича уволили в отставку «из-за невозможности использоваться на российской военной службе». Только в феврале 1870 года ему удалось получить должность уездного начальника в городке Гроец под Варшавой. В связи с этим капитану Крупскому был присвоен гражданский чин коллежского асессора, соответствующий армейскому майору. Поскольку военные чины ценились более гражданских, и их

обладатели официально имели преимущество в чинах одного и того же класса перед статскими, то при поступлении на гражданскую службу военные обычно получали чин одним классом выше.

Надежда Константиновна в 1925 году вспоминала: «Отец был очень горячий человек… Он считал, что в Польшу должны ехать служить честные люди. Когда он приехал в назначенный ему уезд, там делались всякие безобразия — евреев вытаскивали на площадь и под барабанный бой стригли им пейсы, полякам запрещали огораживать свое кладбище и гоняли туда свиней, которые разрывали могилы. Отец прекратил все эти безобразия. Он завел больницу, поставил ее образцово, преследовал взяточничество и заслужил ненависть жандармерии и русского чиновничества и любовь населения — особенно поляков и еврейской бедноты».

Возможно, история со стрижкой пейсов под барабанный бой и представляет собой некое поэтическое преувеличение. В первые послереволюционные годы модно было выпячивать национальный гнет в Российской империи, и при этом иной раз реальные факты причудливо смешивались с пропагандистскими фантазиями. Однако не приходится сомневаться, что евреям действительно приходилось нелегко. А в Польше они становились жертвами антисемитизма как поляков, так и русских чиновников и военных. Сами же поляки страдали от произвола русских властей, стремившихся их русифицировать. Именно в русификации видело правительство цель проводимых в Королевстве Польском реформ. Еще с мая 1870 года во всех здешних гимназиях преподавание стало вестись на русском языке.

Константин Игнатьевич в русификаторстве не преуспел, а мздоимство своих подчиненных пресекал. Последствия не заставили себя долго ждать. Надежда Константиновна свидетельствует: «Вскоре на отца посыпались всякие анонимные доносы, он был признан неблагонадежным, уволен без объяснения причин и предан суду (на него взвели 22 преступления: говорит по-польски, танцует мазурку, не зажжена была в царский день (т. е. в день именин Александра II. — *Б. С.)* в канцелярии иллюминация, не ходит в церковь и т. д.) без права поступления на государственную службу». Замечу, что из этого рассказа не очень-то понятно, за что же именно осудили Крупского: за то, что танцевал мазурку, или за то, что в церковь не ходил? Оказывается, умолчание тут не случайно.

Константина Игнатьевича осудили за то, что он без разрешения губернского начальства провел в своем уезде

сельскохозяйственную перепись. Это было квалифицировано как превышение власти и повлекло за собой обвинительный приговор и запрещение коллежскому асессору Крупскому занимать любые должности на государственной службе, а также проживать в Москве и Санкт-Петербурге. Почему же столь невинный, в сущности, поступок обернулся для отца Надежды Константиновны фактическим «запретом на профессию»? В советское время на этот вопрос отвечали просто: проведение переписи было, ни много ни мало, революционным актом! Константин Игнатьевич-де выполнял… постановление конференции I Интернационала о проведении статистической переписи сельскохозяйственных рабочих. Правда, какая уж такая корысть Интернационалу от данных всего по одному польскому уезду? Ведь в других уездах Российской империи он, Интернационал, подобных переписей как будто никому проводить не поручал? И неужели сельскохозяйственные переписи — столь крамольная вещь, что проводить их могут только революционеры? Неужто власти их никогда не проводили?

Думаю, все «дело» коллежского асессора Крупского стало порождением двух факторов: российской бюрократической системы и ненависти рядовых чиновников к тем начальникам, кто пытался покуситься на их «священное право» брать взятки.

Чиновники в анонимках старались не забыть ни одного прегрешения Константина Игнатьевича, подлинного или мнимого, в надежде, что количество в конце концов перейдет в качество, и нелюбимого начальника все-таки уберут. Отсюда и совершенно анекдотические обвинения, вроде того, что мазурку танцует и польский язык учит. Почему бы уездному начальнику в Варшавской губернии и не выучить польский язык? И кто может уверенно доказать, ходит Крупский в церковь или нет? Недаром на суде, состоявшемся в 1873 году, 21 из 22 пунктов обвинения отпал. Осталась только злосчастная перепись. Любопытно, что несколько лет спустя, когда дело бывшего уездного начальника рассматривалось в высшей судебной инстанции — Сенате, — прокурор, стремясь доказать обоснованность приговора, выдвинул версию, будто перепись Крупский провел в интересах и за деньги польских помещиков. А историки-марксисты, столетие спустя, убеждали почтеннейшую публику, что Константин Игнатьевич, наоборот, действовал исключительно в интересах сельского пролетариата и крестьян.

Когда человека за одно и то же деяние критикуют и «справа», и «слева», логично предположить, что на самом деле он не принадлежал целиком ни к одному из двух лагерей и действовал, руководствуясь собственными соображениями. Скорее всего,

Константин Игнатьевич провел перепись по собственной инициативе, чтобы упорядочить сбор налогов. В этом могли быть заинтересованы и помещики, и крестьяне. А вот чиновникам перепись была совсем не нужна, так как сужала поле для злоупотреблений и связанных с ними доходов. Запутанность бюрократической регламентации позволяла обвинить Крупского в превышении власти, поскольку очень трудно было определить, имел ли право уездный начальник своей властью проводить сельскохозяйственную перепись или нет.

Байка же о том, будто отец Надежды Константиновны действовал по поручению I Интернационала, родилась после Октябрьской революции, когда потребовалось «углубить» революционную родословную вдовы основателя партии большевиков. Сама Крупская в короткой автобиографической повести «Моя жизнь», впервые вышедшей в свет в 1925 году, о политических взглядах отца говорила еще очень осторожно: «В те времена среди офицерства было много недовольных. Отец всегда очень много читал, не верил в бога, был знаком с социалистическим движением Запада. В доме у нас постоянно, пока был жив отец, бывали революционеры (сначала нигилисты, потом народники, потом народовольцы); насколько сам отец принимал участие в революционном движении, я судить не могу. Он умер, когда мне было 14 лет, а условия тогдашней революционной деятельности требовали строгой конспирации; революционеры о своей работе говорили поэтому мало. Когда шел разговор о революционной работе, меня обычно усылали что-нибудь купить в лавочке или давали какое-нибудь другое поручение. Все же разговоров революционных я наслушалась достаточно». И памятный день 1 марта 1881 года, когда бомба террориста оборвала жизнь «царя-освободителя», Надежда Константиновна описала довольно спокойно: «Я живо помню вечер 1 марта 1881 года, когда народовольцы убили бомбой царя Александра II. Сначала пришли к нам наши родственники, страшно перепуганные, но не сказали ничего. Потом впопыхах влетел старый товарищ отца по корпусу, военный, и стал рассказывать подробности убийства, как взорвало карету, и проч. «Я вот и креп на рукав купил», — сказал он, показывая купленный креп. Помню, я удивилась тому, что он хочет носить траур по царю, которого всегда ругал. А потом еще вот что подумала. Этот товарищ отца был очень скупой человек, и я подумала: «Ну, если он разорился, креп купил, значит, правду рассказывает». Я всю ночь не спала. Думала, что теперь, когда царя убили, все пойдет по-другому, народ получит волю. Однако так не вышло». А вот в следующем издании «Моей жизни», вышедшем в 1930 году, уже

прямо утверждалось: «…В этот день 1 марта пришли к нам домой товарищи отца по корпусу навестить и поздравить Константина Игнатьевича». Советские же историки позднее вообще стали говорить, будто отец Надежды Константиновны узнал о готовящемся убийстве царя еще накануне покушения, т. е., получается, чуть ли не был тайным соучастником Желябова и Перовской. Эту ерунду и опровергать-то не стоит. А в 1938 году Крупская прямо утверждала: «Мой отец был революционер». Правда, тут же пояснила, в чем именно это выразилось: «Он хотел, чтобы я дружила с ребятами других национальностей».

Надя действительно дружила с мальчиками и девочками из польских, еврейских, даже татарских семей. После уплаты разорительных судебных издержек семья Крупских переехала в Варшаву. Как вспоминала Надежда Константиновна: «Я рано выучилась ненавидеть национальный гнет, рано поняла, что евреи, поляки и другие народности ничуть не хуже русских… Я рано поняла, что такое самовластие царских чиновников, что такое произвол». Свою жизнь в польской столице она описывала следующим образом: «…я играла во дворе с ребятами польскими, еврейскими, татарскими. Мы очень дружно играли, нам было очень весело, мы. угощали друг друга чем могли. Татарские ребята водили меня в палатку во-дворе, где жили их родители — они работали на стройке, — и угощали меня кониной, которая показалась мне очень вкусной. Еврейский мальчик был постарше меня года на три, он очень хорошо обращался со мной, я его очень любила, он угощал меня хлебом со смальцем. Польские ребята угощали меня «тястечками» — пирожными. Я не помню, чем я их угощала, но жили мы очень дружно и весело… Когда я стала постарше и слышала, как обижают детей евреев, не пускают их в общественные сады, не пускают учиться, как притесняют поляков, я очень возмущалась».

Потеряв место на государственной службе, отец вынужден был наниматься на частные заводы и фабрики управляющим или ревизором. Работал также страховым агентом, вел по поручению истцов различные судебные дела… Семья Крупских вынуждена была часто переезжать из города в город — туда, где Константину Игнатьевичу удавалось найти работу. Когда Наде было пять лет, и отец пока еще безуспешно искал место, о своей бывшей гувернантке вспомнила помещица Русанова и пригласила ее с дочкой отдохнуть летом в имении. К тому времени девочка уже была наслышана от отца и матери, «какое это было зверье» — помещики. Боюсь, что в данном случае Елизавета Васильевна и Константин Игнатьевич руководствовались не столько собственным опытом, сколько повторяли мнение, сложившееся в

среде демократической интеллигенции — так называемых «шестидесятников». Над ними довлел стереотип самодура-крепостника, истязавшего крестьян. Помещица Русанова такой наверняка не была и, как видим, в трудную минуту по собственной инициативе помогла бывшей своей гувернантке. Однако в Русаново Надя приехала с уже сложившимся предубеждением против всех помещиков на свете. Вела она себя подчеркнуто вызывающе. «Я… скандалила, не хотела ни здороваться, ни прощаться, ни благодарить за обед, так что мама была рада-радешенька, когда за нами приехал отец, и мы уехали…» — признавалась Надя полвека спустя. Думаю, что Елизавете Васильевне было стыдно за дочь. Зато Надежда Константиновна в «Моей жизни» рассказала об этом эпизоде без тени смущения, а свое поведение ставила в пример подрастающему поколению — как образец подлинно революционной морали.

На обратном пути произошел инцидент, глубоко запавший в душу пятилетней девочке. Вот что запомнилось Крупской: «… Когда мы ехали из Русанова в кибитке (дело было зимой) (выходит, что гостеприимством доброй помещицы мать и дочь Крупские пользовались целых полгода! — *Б. С.),* нас чуть не убили дорогой крестьяне, приняв за помещиков, избили ямщика и сулили опустить в прорубь (надо полагать, ледяное купание думали устроить все же только ямщику, а не пассажирам. — *Б. С.)*. Отец не винил крестьян, а потом в разговоре с матерью говорил о вековой ненависти крестьян к помещикам, о том, что помещики эту ненависть заслужили. В Русанове я успела подружиться с деревенскими ребятами и бабами, меня ласкавшими, я была на стороне крестьян». Так рассказано об этом случае в «Моей жизни». Позднее в одной из статей Надежда Константиновна дала более развернутую версию происшествия, едва не кончившегося трагедией: «Мы ехали через село, навстречу едет крестьянин с дровнями и везет пустой гроб. Мы ехали на тройке. И вот тройка не могла свернуть, и ямщик боком задел этот гроб. Я помню, как крестьянин избивал в кровь ямщика и говорил: «Ты барский кучер, барский холоп. Надо и тебя, и бар, которых ты везешь, в проруби утопить». В чем дело, я не понимала, но запомнились мне слова отца: «Вот она, вековая ненависть крестьян к помещикам».

На этом примере хорошо видно, как рождаются пропагандистские мифы. В предназначенной прежде всего детям повести «Моя жизнь» Крупская использовала частный случай, которому была очевидцем, для общей апологии классовой ненависти крестьян к помещикам. В результате один мужик

превратился в группу крестьян, ни с того ни с сего набросившихся на проезжающих, только потому, что те выглядели как «баре». И топить несчастного кучера и его пассажиров в проруби на самом деле никто не собирался. Просто разошедшийся не на шутку владелец гроба в сердцах обрушил на голову противника все мыслимые и немыслимые проклятья. С тем же успехом он мог бы воскликнуть: «Да чтоб вы все сгорели!» Слава Богу, в тот момент ни одно из этих пожеланий-проклятий осуществить на практике не представлялось возможным. Но через какие-нибудь сорок с небольшим лет, благодаря революции, творцом которой стал знаменитый супруг Надежды Константиновны, эти угрозы материализовались в жуткую российскую действительность. И «красного петуха» помещикам пускали, и в прорубях топили вместе с женами, детьми и немногими верными слугами, и «красный террор» в стране ввели такой, что самодержавию и не снился. И от того террора крестьяне страдали лишь немногим меньше дворян.

На самом деле происшествие с ямщиком скорее можно было объяснить причинами не классовыми, а бытовыми и психологическими. Раз мужик вез пустой гроб, можно предположить, что ему предстояло хоронить кого-то из близких (сына? жену? мать?). Вполне возможно, что крестьянин был «выпимши», по русскому обычаю заливать горе водкой. Кто был виноват в столкновении, ямщик или мужик, мы, конечно, никогда уже не узнаем. Может, вины кучера и не было. Но крестьянин, явно находившийся в расстроенных чувствах, излил на нерасторопного ямщика всю накопившуюся злость, обиду на жизнь, а заодно, по привычке, и «господ» припечатал — за то, что хорошо живут на крестьянском поту и слезах.

Не меньшую ненависть, чем к помещикам, Надя с ранних лет испытывала и к буржуазии. Призналась в «Моей жизни»: «Также рано (мне было тогда 6 лет) научилась я ненавидеть фабрикантов. Отец служил ревизором в Угличе на фабрике Говарда и часто говорил о всех тех безобразиях, которые там делались, о тяжелой жизни рабочих и т. п…Потом я играла с ребятами рабочих, и мы ладили из-за угла швырнуть комом снега в проходившего мимо управляющего». Похоже, ни тогда, ни годы спустя Крупская даже не задумалась: а чем, собственно, ставший жертвой ребяческой шалости управляющий отличался от ее отца? Да и фабриканты бывали разные. Кстати сказать, писчебумажной фабрикой в Угличе Константин Игнатьевич занимался по поручению ее владельцев братьев Варгуниных. Даже советские историки уверяют, что были они людьми культурными, не чуждыми либеральных взглядов. А со старшим из братьев,

Константином Александровичем, Крупского познакомил один из его товарищей-народников. Вряд ли фабриканты с таким мировоззрением сами могли творить над рабочими какие-либо безобразия и бездумно драть с них три шкуры. Другое дело, что Угличской фабрикой управляли не сами Варгунины, а их компаньон англичанин Говард. Россию он рассматривал лишь как место для получения быстрой наживы и эксплуатировал рабочих сверх всякой меры. И в отчете Константин Игнатьевич нарисовал неприглядную картину. Тут и финансовые злоупотребления, и форменное издевательство Говарда над рабочими и работницами (последние нередко становились объектами сексуальных домогательств со стороны сластолюбивого управляющего).

Ничего дурного нельзя было сказать и о других нанимателях Крупского — помещицах Косяковских. Константин Игнатьевич должен был привести в порядок принадлежавший им писчебумажный завод и заодно получил возможность отправить жену и дочь на лето в имение Косяковских в Псковскую губернию. Сначала Наде пришлось ехать туда одной. Эту поездку она запомнила очень хорошо: «Я немножко стеснялась чужих людей, но ехать на лошадях было чудесно; ехали лесом и полями; на пригорках уже цвели иммортели, пахло землей, зеленью. Первую ночь меня уложили спать на какую-то шикарную постель в барской шикарной комнате. Было душно и жарко. Я подошла к окну, распахнула его. В комнату хлынул запах сирени; заливаясь, щелкал соловей. Долго я стояла у окна. На другое утро я встала раненько и вышла в сад, спускавшийся к реке. В саду встретила я молоденькую девушку лет восемнадцати, в простеньком ситцевом платье, с низким лбом и темными вьющимися волосами. Она заговорила со мной. Это была… местная учительница Александра Тимофеевна, или, как ее звали, «Тимофейка». Минут через десять я уже чувствовала себя с «Тимофейкой» совсем просто, точно с подругой, и болтала с ней о всех своих впечатлениях». После этой встречи десятилетняя девочка решила стать учительницей. И в жизни у нее оказалось два главных дела — революция и педагогика. В образе Александры Тимофеевны Яворской соединилось и то, и то. Крупская вспоминала: «…Я хвостом бегала за молоденькой учительницей народоволкой, влюбленной в свою школу. К деревенским ребятам она относилась как к равным, обо всем говорила с ними всерьез… Я подружилась с ребятами, а в Тимофейке… души не чаяла. Зимой, сидя в классе, я все рисовала домики с вывеской «Школа» и думала о том, как я буду сельской учительницей… Зимой я узнала, что Тимофейку арестовали. Два года провела она в Псковской тюрьме, в камере без окна. Могла ли я тогда не сочувствовать революционерам?»

Тимофейка подружилась и с отцом Нади. Говорила ему: «Меня тревожит, как Надя прямо глотает книги, не привело бы это к поверхностности». Константин Игнатьевич успокоил: «Плохих книг моя дочь не читает. Принуждать детей читать именно эту, а не другую книгу, нельзя. Поверьте, ребенок книгу почувствует. Хорошую книгу запомнит, а плохую забудет». По иронии судьбы, Крупская, будучи заместителем наркома просвещения, много сделала для того, чтобы дети читали одни, «идеологические» книги, и ни в коем случае не читали другие, «вредные». В 20-е годы даже Пушкин исчез из школьных библиотек.

В свою первую школу Надя пошла в Киеве. Школьное здание располагалось в центре города, на Крещатике. Занятия девочку не увлекли. Скуку наводили уроки Закона Божьего и французские стихи, которые заставляли декламировать наизусть. Когда Крупские жили в Киеве, грянула русско-турецкая война. На Надю это событие произвело большое впечатление. «Я нагляделась на патриотический угар, наслышалась о зверствах турок, но я видела израненных пленных, играла с пленным турчонком и находила, что война — самое вредное дело. Потом отец повел меня на выставку картин Верещагина, где было изображено, как штабные, во главе с каким-то великим князем, в белых кителях, из безопасного местечка рассматривали в бинокль, как умирали солдаты в схватке с врагом. И хотя тогда я не умела еще осознать, но потом, будучи уже взрослой, я была всем сердцем с армией, отказавшейся вести дальше империалистическую войну».

То, что девочка еще в детстве получила мощный заряд пацифизма, осознала бесчеловечность войны, можно только приветствовать. Однако в дальнейшем пацифизм был принесен в жертву революционной целесообразности. Империалистическую войну Крупская, как и все большевики, отвергала и осуждала. Зато гражданскую войну принимала, как меру, необходимую для подавления сопротивления «эксплуататоров». И бессудную казнь царя, большинства великих князей и княгинь, их жен и детей, санкционированную Лениным, Надежда Константиновна не осудила.

Апелляция Константина Игнатьевича на приговор Варшавского суда несколько лет путешествовала по инстанциям. Чтобы дать делу ход, требовалась чья-то влиятельная протекция. Тут помог старший брат Александр Игнатьевич, в отличие от младшего после окончания академии сделавший успешную карьеру. Он дослужился до чина действительного статского советника — гражданского генерала и стал прокурором Новгородской губернии. Благодаря хлопотам брата дело

коллежского асессора Крупского в конце концов было назначено к слушанью в Сенате на 28 апреля 1880 года. За полгода до этого Константин Игнатьевич отправил в Петербург жену с дочерью: Наде надо было поступать в гимназию. Поскольку отец все еще не имел право жительства в столице, в графе, кто платит за обучение, девочка вынуждена была написать: «Мать, Е. В. Крупская». Одноклассницы и учителя смотрели на нее косо, подозревали, что незаконнорожденная.

Сенат полностью оправдал Константина Игнатьевича. Напрасно прокурор пытался утверждать, что злополучную перепись Крупский проводил за взятку от польских помещиков. Сильно помог благоприятному для Константина Игнатьевича исходу дела сенатор граф Федор Павлович Тизенгаузен. Он сумел сагитировать своих коллег принять положительное решение. В семействе Крупских сохранилось предание, будто благодушие графа объяснялось тем, что накануне его скаковая лошадь взяла первый приз, и Тизенгаузен прибыл на заседание после банкета, в очень веселом расположении духа. Думаю, случившееся скорее можно объяснить знакомством с сенатором Александра Игнатьевича.

В сенатском постановлении говорилось: «Признавая подсудимого невиновным в превышении власти, Правительствующий Сенат на основании 1-го пункта 771 статьи Устава Уголовного суда, определяет: бывшего начальника Гроецкого уезда коллежского асессора Крупского считать по суду оправданным и приговор Варшавской судебной палаты отменять». Теперь Константин Игнатьевич смог, наконец, поселиться в Петербурге. Однако здоровье его было уже основательно подорвано быстро прогрессирующим туберкулезом легких. И возвратиться на государственную службу коллежский асессор Крупский смог не сразу: в Петербурге трудно было найти место судейского чиновника.

Уже после оправдательного приговора он успел привести в порядок дела на писчебумажной фабрике Косяковских в Псковской губернии (там Надя и познакомилась с Тимофейкой). Устроиться на службу помог брат. Он поддерживал Крупских и материально. Надю перевели из государственной гимназии, где ей не нравились учителя и где застенчивой девочке, по ее собственному признанию, «было очень скучно и одиноко», в частную гимназию Оболенской. В этой гимназии Наде понравилось, и о тамошних преподавателях она тепло отзывалась всю жизнь. При содействии Александра Игнатьевича семья Константина Игнатьевича перебралась в более просторную квартиру. Но жить там пришлось недолго. 25 февраля 1883 года

Константин Игнатьевич скончался. «Трудно придется вам, милые мои», — были его последние слова, обращенные к жене и дочери. Похоронили отца на кладбище Новодевичьего монастыря у Московской заставы. Похороны оплатил Александр Игнатьевич, всего на несколько месяцев переживший брата. И его сгубила чахотка.

Пенсия за отца была небольшая. Елизавета Васильевна и Надя с трудом сводили концы с концами. Приходилось сдавать одну из комнат. Надя начала зарабатывать уроками. Отношения с матерью поначалу складывались непросто. Надежда Константиновна вспоминала: «Мама была очень хорошим, живым человеком, но смотрела на меня как на ребенка. Я очень упорно отстаивала свою самостоятельность. Только позднее, когда у нас установились отношения равенства, мы стали жить очень дружно».

Выпускные экзамены Надя сдала превосходно. Как отмечалось в решении педагогического совета: «Надежда Крупская на окончательных испытаниях показала во всех предметах успехи отличные. В среднем выводе имеет 5. Из необязательных предметов занималась французским языком с успехами отличными». Она была удостоена золотой медали и осталась в гимназии, чтобы окончить 8-й дополнительный класс, так называемый «педагогический». Первая в жизни мечта исполнилась: в 1887 году Надежда получила диплом домашней учительницы со специализацией по русскому языку и математике. Ей удалось получить место в училище Поспеловой, где девушки обучались шитью. Кроме того, вечерами Крупская занималась с гимназистками из своей прежней гимназии. Как педагога ее ценили. Даже выдали удостоверение, где отмечалось: «Успехи ее учениц свидетельствуют о выдающихся педагогических способностях ее, основательности ее познаний и крайне добросовестном отношении к делу».

Вот только у сильного пола Надя не пользовалась популярностью. Ее гимназическая подруга красавица Ариадна Тыркова свидетельствовала: «У меня уже шла девичья жизнь. За мной ухаживали. Мне писали стихи. Идя со мной по улице, Надя иногда слышала восторженные замечания обо мне незнакомой молодежи. Меня они не удивляли и не обижали. Мое дело было пройти мимо с таким независимым, непроницаемым видом, точно я ничего не слышу… Надю это забавляло. Она была гораздо выше меня ростом. Наклонив голову немного набок, она сверху поглядывала на меня, и ее толстые губы вздрагивали от улыбки, точно ей доставляло большое удовольствие, что прохожий юнкер, заглянув в мои глаза, остановился и воскликнул: «Вот так глаза…

Чернее ночи, яснее дня…»

Надя этих соблазнов не знала. В ее девичьей жизни не было любовной игры, не было перекрестных намеков, взглядов, улыбок, а уж тем более не было поцелуйного искушения. Надя не каталась на коньках, не танцевала, не ездила на лодке, разговаривала только со школьными подругами да с пожилыми знакомыми матери. Я не встречала у Крупских гостей».

Недостаток личной жизни Надежда компенсировала тягой к знаниям и вниманием к общественной жизни. В эти годы она продолжала много читать, причем книги отнюдь не женские, вроде «Истории воздухоплавания» или «Нидерландской революции». Посещала знакомых отца, старых народовольцев. Однажды Надя задала одному из них, много лет просидевшему в тюрьмах, извечный российский вопрос: что делать? Узнавший, почем фунт лиха, бывший тюремный сиделец стал развивать перед девушкой теорию «малых дел». Это значило — заботиться о просвещении народа, преподавая в школах, заботиться о его здоровье, работая врачами и сестрами милосердия в земских больницах. Вот только самодержавие не стоит пытаться свергать. Позднее Крупская вспоминала: «Тоской веяло от его советов и от всех этих бывших людей; люди они были хорошие, но с вынутой душой. Я была подростком, но отлично видела это».

Нетерпение юности привело вчерашнюю гимназистку к марксистам, которые твердо знали, как дать народу лучшую долю. Осенью 1889 года Надя поступила на только что открывшиеся в Петербурге Бестужевские высшие женские курсы, на математическое отделение. Но любовь к русскому языку тоже сохранилась: Крупская посещает лекции на филологическом факультете. На курсах она встретила свою старую подругу Ольгу Витмер. Та и привела Надежду в кружок студентов-технологов Михаила Ивановича Бруснева, одного из первых русских марксистов. Здесь

Крупская познакомилась с «Капиталом» Маркса, рукописной копией работы Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». А чтобы одолеть «Анти-Дюринг» того же автора, Надя самостоятельно изучила немецкий.

Студенты стремились распространять марксизм среди рабочих. По рекомендации Николая Александровича Варгунина, на фабрике которого в свое время служил отец, Крупская устроилась преподавать в устроенной фабрикантом Смоленской вечерней рабочей школе за Невской заставой. Занятия проходили три раза в неделю. Пропаганду Надежда вела на уроках географии. Рассказывала о положении рабочих в разных странах, об их борьбе за свои права. Здесь же молодая учительница

знакомила своих взрослых учеников с основами атеизма, примерами из астрономии и с помощью эволюционной теории Дарвина доказывала, что Бога нет. Сама она давно уже Бога отринула, хотя в детстве вера была не чужда ей. Когда Наде было лет восемь, нянька-полька часта водила ее в костел. А перед сном девочка молилась, стоя на коленях у кроватки. Как-то раз в комнату к дочери заглянул Константин Игнатьевич, чуть насмешливо сказал: «Ложись спать, богомолка, хватит грехи замаливать». Эти слова любимого отца потрясли Надю. Значит, он в Бога не верит. Значит, Бога нет. И очень скоро она стала убежденной атеисткой. А теперь Крупская по отношению к своим ученикам выступала в той же роли проповедника неверия. И достигла на этом поприще немалых успехов.

Рабочие очень любили своих учительниц, относились к ним как к родным. Надежда Константиновна свидетельствовала: «Мрачный сторож Громовских лесных складов с просиявшим лицом докладывал учительнице, что у него сын родился; чахоточный текстильщик желал ей за то, что выучила грамоте, удалого жениха (жених действительно оказался удал ой, да еще какой — сторож как в воду глядел! — *Б. С.*); рабочий-сектант, искавший всю жизнь Бога, с удовлетворением писал, что только на страстной узнал от Рудакова (другого ученика школы), что бога вовсе нет, и так легко стало, потому что нет хуже, как быть рабом Божьим, — тут тебе податься некуда, рабом человеческим легче быть — тут борьба возможна; напивавшийся каждое воскресенье до потери человеческого облика табачник, так насквозь пропитанный запахом табака, что, когда наклонишься к его тетрадке, голова кружилась, писал каракулями, пропуская гласные, — что вот нашли на улице трехлетнюю девчонку, и живет она у них в артели, надо в полицию отдавать, а жаль; приходил одноногий солдат и рассказывал, что Михайла, который у вас прошлый год грамоте учился, надорвался над работой, помер, а помирая, вас вспоминал, велел поклониться и жить долго приказал; рабочий-текстильщик, горой стоявший за царя и попов, предупреждал, чтобы «того, черного, остерегаться, а то он все на Гороховую шляется» (на Гороховой улице находилось охранное отделение. — *Б. С.*); пожилой рабочий толковал, что никак он из церковных старост уйти не может, «потому что больно попы народ обдувают и их надо на чистую воду выводить, а церкви он совсем даже не привержен и насчет фаз развития понимает хорошо», и т. д. и т. п.».

Прошло каких-нибудь четверть века, и место Бога в сознании безвестного рабочего-сектанта и миллионов других рабочих и крестьян безраздельно занял «удалой жених» Крупской. Очень

скоро они на своей шкуре почувствовали, что быть рабом Советской власти куда хуже, чем оставаться просто рабом Божьим, и что коммунисты «обдувают народ» почище попов, которые, признаем, тоже далеко не всегда являли собой образец нравственности и порой напивались «до потери человеческого облика», не хуже запомнившегося Крупской рабочего-табачника. Православие, еще при Петре I обюрократившееся, получившее в пастыри своеобразное «министерство по делам религии» — Священный синод, себя дискредитировало. Народ нуждался в новой вере. Коммунисты ему такую веру дали. И в сонме святых этой гражданской религии Надежде Константиновне уготовано было свое место — единственной подруги Бога-Вождя и его безутешной вдовы, Главной хранительницы памяти о «самом человечном из людей».

Крупская продолжала посещать кружок Бруснева, участвовала в организованной им первой маевке в России 1 мая 1891 года. Однако в следующем году Михаил Иванович был арестован и получил шесть лет тюрьмы. Но кружок не распался. В него продолжали вербовать рабочих — учащихся Смоленской школы. Крупская тепло вспоминала о своих подопечных: «Ученики были на подбор, и о многом мы с ними говорили. Потом все в разные сроки были арестованы, все вошли в движение».

Тем временем в Петербург прибыл тот, с кем Наде суждено было соединить свою жизнь навек. Владимир Ульянов был на год младше 24-летней Крупской, но среди друзей-марксистов пользовался немалым авторитетом как большой знаток Марксова «священного писания» и потому удостоился почтительной клички «Старик». Надежда Константиновна так рассказывала о знакомстве с будущим мужем: «Владимир Ильич приехал в Питер осенью 1893 года, но я познакомилась с ним не сразу. Слышала я от товарищей, что с Волги приехал какой-то очень знающий марксист… Хотелось поближе познакомиться с этим приезжим, узнать поближе его взгляды.

Увидала я Владимира Ильича лишь на масленице (в феврале 1894 года. — *Б. С.)*. На Охте у инженера Классона, одного из видных питерских марксистов, с которым я года два перед тем была в марксистском кружке, решено было устроить совещание некоторых питерских марксистов с приезжим волжанином. Ради конспирации были устроены блины… Кто-то сказал, что очень важна вот работа в комитете грамотности. Владимир Ильич засмеялся, и как-то зло и сухо звучал его смех — я потом никогда не слыхала у него такого смеха: «Ну, что ж, кто хочет спасать отечество в комитете грамотности, что ж, мы не мешаем»… Злое замечание Владимира Ильича было понятно. Он пришел

сговариваться о том, как идти вместе на борьбу, а в ответ услышал, призыв распространять брошюры комитета грамотности».

Вот такое вот знакомство на «конспиративных блинах». И смех любимого человека запомнился Наде не в связи с каким-нибудь романтическим разговором, столь естественным для первой влюбленности, а из-за острой полемики: каким путем идти. Но близкое знакомство было еще впереди.

Как кажется, для Нади это был первый роман. Виной ли тому не слишком удавшаяся внешность, или горячее увлечение революцией, не оставлявшее места ничему другому, или некоторая неразвитость чувств, мы не знаем. А вот у Володи до Крупской уже была по крайней мере одна влюбленность. Он ухаживал и даже сватался к ее подруге Аполлинарии Якубовой, также присутствовавшей на памятной масленице. Но Аполлинария Владимиру вежливо, но твердо отказала. Впоследствии она оказалась среди меньшевиков, а после 1917 года эмигрировала. Как знать, прими Якубова предложение Ульянова, и будущему вождю Октябрьской революции пришлось бы пережить душевную драму непримиримых политических разногласий и разрыва с женой. Нет сомнения, что Ленин мог жениться только на единомышленнице. Владимир Ильич и к Аполлинарии сватался потому, что она в ту пору была такой же марксисткой, как и он сам. Будь любимая женщина к политике безразлична или, тем более, придерживайся она взглядов, в корне отличных от ленинских, никакое чувство, я уверен, не заставило бы вождя большевиков соединиться с ней.

Позднее Наде стало понятно, почему Володя был так резок в споре. Она приводит его рассказ, какой была реакция в Симбирске на арест старшего брата Александра за подготовку цареубийства: «Все знакомые отшатнулись от семьи Ульяновых, перестал бывать даже старичок учитель, приходивший раньше постоянно играть по вечерам в шахматы… Матери Владимира Ильича надо было ехать на лошадях до Сызрани, чтобы добраться до Питера, где сидел сын. Владимира Ильича послали искать попутчиков — никто не захотел ехать с матерью арестованного». Казнь горячо любимого брата Саши и остракизм, которому подверглась семья Ульяновых, потрясли Владимира на всю жизнь, сделали из него убежденного и непримиримого борца с монархией. Ни на какие компромиссы Ленин здесь не соглашался.

Надежда Константиновна вспоминала: «Владимир Ильич очень любил брата. У них было много общих вкусов, у обоих была потребность долго оставаться одному, чтобы можно было

сосредоточиться. Они жили обычно вместе, одно время в особом флигеле, и когда заходил к ним кто-либо из многочисленной молодежи — двоюродных братьев или сестер, — у мальчиков была излюбленная фраза: «Осчастливьте своим отсутствием»… Судьба брата обострила работу его мысли, выработала в нем необычайную трезвость, уменье глядеть правде в глаза, не давать себя ни на минуту увлечь фразой, иллюзией, выработала в нем величайшую честность в подходе ко всем вопросам».

Насчет честности любящая жена, пожалуй, немножко спутала определения. Ленин, когда надо было для дела, не раз обманывал и товарищей по партии, и население России, и мировую общественность. Недаром в народе его наградили меткой кличкой Лукич. То, что Крупская называла «величайшей честностью», скорее заслуживает другого определения — цинизм.

Что удивительно, власти до поры до времени сквозь пальцы смотрели на почти открытую пропаганду в воскресно-вечерней школе. Надежда Константиновна признавалась: «Говорить в школе можно было, в сущности, обо всем, несмотря на то, что в редком классе не было шпика; надо было только не употреблять страшных слов «царь», «стачка» и т. п., тогда можно было касаться самых основных вопросов. А официально было запрещено говорить о чем бы то ни было: однажды закрыли так называемую повторительную группу за то, что там, как установил нагрянувший инспектор, преподавали десятичные дроби, разрешалось же по программе учить только четырем правилам арифметики». Начальство оберегало рабочих от десятичных дробей, зато проникновению марксизма в рабочую среду практически не препятствовало. После 1917 года Ленин и Крупская учли неудачный опыт царского правительства и никаких вольностей по части «идеологической выдержанности» преподавания в советской школе не допускали. Инспектора и осведомители-стукачи бдительно следили, чтобы религию под флагом знакомства с российской историей не пропагандировали и даже невзначай о том, что при царе жилось лучше, не говорили.

Знакомство Крупской и Ульянова развивалось. Дадим слово Надежде Константиновне: «Я жила на Старо-Невском, и Владимир Ильич по воскресеньям, возвращаясь с занятий в кружке, обычно заходил ко мне, и у нас начинались бесконечные разговоры. Я была в то время влюблена в школу (в Ильича, видно, еще не была влюблена. — *Б. С.*), и меня можно было хлебом не кормить, лишь бы дать поговорить о школе, об учениках, о фабриках и заводах… Владимир Ильич интересовался каждой мелочью, рисовавшей быт рабочих, по отдельным черточкам старался охватить жизнь рабочего в целом, найти то, за что можно ухватиться, чтобы

лучше подойти к рабочему с революционной пропагандой». Неизвестно, только ли о школах и пропаганде говорили между собой молодые люди. Видно, неслучайно именно к Крупской регулярно захаживал «волжанин-марксист».

Между тем, активность кружков наконец попала в поле зрения полиции. Ульянов учил своих товарищей конспирации: как уйти от слежки, пользуясь проходными дворами, как писать в книгах между строк невидимыми химическими чернилами, придумывал всем клички. Его увлекала эта игра. За Крупской слежки как будто не было. Поэтому Ульянов предложил назначить ее «наследницей» — передать на хранение архив организации. Надежда Константиновна рассказывала об этом с иронией: «В первый день пасхи нас человек 5–6 поехало «праздновать пасху» в Царское Село к одному из членов нашей группы… Ехали в поезде как незнакомые. Чуть не целый день просидели над обсуждением того, какие связи надо сохранить. Владимир Ильич учил шифровать. Почти полкниги исшифровали. Увы, потом я не смогла разобрать этой первой коллективной шифровки. Одно было утешением: к тому времени, когда пришлось расшифровать, громадное большинство «связей» уже провалилось».

Никакие ухищрения не помогли. В декабре 1895 года большинство членов только что созданного Владимиром Ульяновым и Юлием Мартовым «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» были арестованы. Крупской посчастливилось остаться на свободе. Она передавала Владимиру Ильичу в тюрьму книги и продовольственные передачи. В книгах незаметно для непосвященных накалывала нужные буквы или писала между строк невидимые невооруженным глазом письма молоком. Это не были признания в любви: Надежда Константиновна сообщала о том, что делают уцелевшие члены «Союза», что известно о других арестованных. Ильич, в свою очередь, в ответных посланиях давал поручения насчет других узников: «к такому-то никто не ходит, надо подыскать ему «невесту», такому-то передать на свидании через родственников, чтобы искал письма в такой-то книге тюремной библиотеки на такой-то странице, такому-то достать теплые сапоги…» Возможно, в тот момент Надю он рассматривал уже как свою настоящую невесту. Однажды даже просил ее и Аполлинарию Якубову в час тюремной прогулки прийти на тот участок Шпалерной улицы, что был виден из окон тюремного замка. Очень уж хотел Ульянов их увидеть. Аполлинария так и не пришла, видно, чтобы не будить у отвергнутого жениха напрасные надежды. А Надя пришла. Но, как назло, по какой-то причине в тот раз заключенных на прогулку не выводили.

12 августа 1896 года арестовали и Крупскую. На допросах она все отрицала, серьезных улик у полиции не было, и через месяц Надежду Константиновну выпустили. Однако вскоре кто-то из учащихся Смоленской школы показал, что Крупская была одним из организаторов нелегальных кружков, и 28 октября ее вновь арестовали.

Одиночное заключение на Надежду действует угнетающе. Да и тюремная пища явно не из ресторана. У Крупской начинает болеть желудок. Мать пишет прошение за прошением, чтобы Надю выпустили на свободу до суда. Бьет на жалость чиновников департамента полиции: «Дочь моя вообще здоровья слабого, сильно нервна, страдает с детства катаром желудка и малокровием. В настоящее время нервное расстройство, а равно и общее дурное состояние здоровья, как я могла убедиться лично, настолько обострились, что внушают самые серьезные опасения. Я уверена, что каждый врач, которому поручено было бы исследование здоровья моей дочери, признал бы, что дальнейшее пребывание в заключении грозит ей самыми тяжелыми последствиями, а для меня возможностью потерять единственную дочь». 31 марта 1897 года Надежду Константиновну обследовал тюремный врач. Он признал, что узница «похудела, ослабла в результате расстройства пищеварения, не может заниматься умственным трудом ввиду нервного истощения». Но на поруки в тот раз не выпустили. Дальше, однако, случилось по поговорке: не было бы счастья, да несчастье помогло. Даже не несчастье, трагедия. Народоволка Мария Ветрова сожгла себя в Петропавловской крепости. Опасаясь, что, протестуя против тюремного режима, ее примеру последуют и другие женщины-политзаключенные, власти освободили нескольких революционерок, находившихся под следствием, в том числе и Крупскую. Из членов «Союза борьбы» на воле почти никого к тому времени не осталось. Надежде Константиновне присудили трехлетнюю ссылку в Уфимскую губернию. Ульянова же несколькими месяцами раньше сослали в село Шушенское Минусинского уезда Енисейской губернии. Крупская попросилась к Ильичу, заявив, что она — его невеста. Елизавета Васильевна отправилась вместе с дочерью.

Отмечу, что не все Ульяновы были в восторге от внешности невесты. Например, сестра Владимира Ильича Анна Ильинична. В феврале 1898 года Надежда Константиновна с некоторой обидой писала другой сестре своего жениха, Марии Ильиничне: «Поцелуйте А. И. и скажите ей, что нехорошо она делает, что меня так всюду рекомендует: Володе о моем селедочном виде написала, Булочке (Зинаиде Павловне Невзоровой, жене

соратника Владимира Ильича по «Союзу борьбы» Глеба Максимилиановича Кржижановского и подруге Надежды Константиновны. — *Б. С.)* на мое лукавство пожаловалась…» Под «селедочным видом» подразумевалось прежде всего то, что у Крупской глаза были навыкате, как у рыбы, — один из признаков диагностированной позднее базедовой болезни. Ленин к этой особенности внешности будущей супруги относился с легкой иронией, присвоив Крупской соответствующие партийные клички: Рыба и Минога.

7 мая 1898 года Надежда Константиновна была уже в Шушенском. Вот что она вспоминала: «Мы приехали в сумерки; Владимир Ильич был на охоте. Мы выгрузились, нас провели в избу. В Сибири — в Минусинском округе — крестьяне очень чисто живут, полы устланы самотканными дорожками, стены чисто выбелены и украшены пихтой. Комната Владимира Ильича была хоть невелика, но также чиста. Нам с мамой хозяева уступили остальную часть избы. В избу набились все хозяева и соседи и усердно нас разглядывали и расспрашивали. Наконец, вернулся с охоты Владимир Ильич. Удивился, что в его комнате свет. Хозяин сказал, что это Оскар Александрович (ссыльный питерский рабочий) пришел пьяный и все книги у него разбросал. Ильич быстро взбежал на крыльцо. Тут я ему навстречу из избы вышла. Долго мы проговорили в ту ночь».

Два месяца спустя, 10 июля, они с Владимиром Ильичом обвенчались в местной церкви. Разумеется, таинству брака революционеры никакого значения не придавали. Свершить обряд их вынудило то, что лишь церковный брак признавался в России законным. Позднее Надежда Константиновна так описывала сложившуюся ситуацию: «Мне разрешили поехать в Шушенское под условием повенчаться. По тогдашним законам, сопровождать мужей в ссылку могли лишь жены. Когда я жила в Шушенском, месяца через два пришла официальная бумажка с предложением повенчаться или ехать в Уфу. Мы посмеялись и повенчались. Были мы мужем и женой и хотели жить и работать вместе». А Ульянов писал матери 10 мая 1898 года: «Анюта (сестра. — *Б. С.)* спрашивала меня, кого я приглашаю на свадьбу: приглашаю всех вас, только не знаю уж, не по телеграфу ли лучше послать приглашение!! Н. К., как ты знаешь, поставили трагикомическое условие: если не вступит немедленно (sic!) в брак, то назад в Уфу. Я вовсе не расположен допускать сие, и потому мы уже начинаем «хлопоты» (главным образом прошения о выдаче документов, без которых нельзя венчать), чтобы успеть обвенчаться до поста (до петровок): позволительно же все-таки надеяться, что строгое начальство найдет это достаточно

«немедленным» вступлением в брак?!»

Чтобы сочетаться с возлюбленной священными узами (обоими, впрочем, презираемыми), да еще «немедленно», как того требовало полицейское начальство, Владимир Ильич начал путешествие по кругам бюрократического ада, достойного пера Франца Кафки и сконструированного тем же самым начальством. Ульянов подал прошение Минусинсхому окружному исправнику, добиваясь присылки разрешения («свидетельства») на вступление в брак, но ответа не получил. Пришлось 30 июня 1898 года обратиться к полицейскому начальнику Енисейской губернии: «Это непонятное промедление получает для меня особенное значение ввиду того, что моей невесте отказывают в выдаче пособия до тех пор, пока она не выйдет за меня замуж… Таким образом, получается крайне странное противоречие: с одной стороны, высшая администрация разрешает по моему ходатайству перевод моей невесты в село Шушенское и ставит условием этого разрешения немедленный выход ее замуж; с другой стороны, я никак не могу добиться от местных властей выдачи мне документа, без которого вступление в брак не может состояться; и в результате всего виновной оказывается моя невеста, которая остается без всяких средств к Существованию». Вскоре после этого разрешение было получено. Начальство убедилось, что «административно-ссыльный» юридически подкован (недаром подписался как «помощник присяжного поверенного»), и волокита здесь ни к чему. Очевидно, минусинский исправник просто рассчитывал получить взятку за требуемый документ. Но губернское начальство сочло, что тут поставлена под угрозу репутация «высшей администрации», и затягивать дело не стало. Кстати, боюсь, что в советское время аналогичное нелепое разрешение на что бы то ни было человек мог получать не два месяца, а и полгода, и год, и никакое юридическое образование ему бы не помогло. Возможно, царская бюрократия все же была милосерднее коммунистической. Да и законы до 1917 года, пусть и далекие от правового идеала, соблюдались лучше, чем после этой роковой для России даты.

Достать золотые обручальные кольца в Шушенском не было возможности, а съездить за ними в Минусинск не разрешил исправник. Выручил все тот же Оскар Александрович Энгберг, который, действительно, во хмелю был буен, но зато имел золотые руки. Добряк эстонец изготовил кольца из медного пятака.

Здесь мы на время оставим Надежду Константиновну в один из счастливейших дней ее жизни. Пора представить другую героиню нашего рассказа.

Инесса Арманд родилась шестью годами позднее Крупской и совсем в другой стране. 8 мая 1874 года в семье известного парижского оперного певца Теодора Стефана (по сцене — Пеше Эрбанвиля) произошло радостное событие. Его жена Натали родила девочку. В выписке из книги записей актов гражданского состояния префектуры 18-го округа Парижа говорится: «9 мая 1874 года в 3 часа 15 минут после полудня сделана запись в книге актов о рождении Элизы, девочки, родившейся вчера в два часа дня по улице де ля Шапель, 63, — дочери Теодора Стефан, оперного певца, в возрасте двадцати четырех лет, который признал ребенка, и Натали Вильд, не имеющей профессии, в возрасте двадцати четырех лет, не состоящих в браке». Позднее Теодор и Натали вступили в законный брак, обвенчавшись в церкви святой Марии в маленьком английском городке Ньюингтоне. Как и мать, малышка была крещена в англиканскую веру под именем Инесса-Елизавета.

Ее национальность определить затруднительно. Отец — француз. Мать, урожденная Вильд (Уайльд), — англичанка по отцу, француженка по матери. Иногда отца Натали называют шотландцем, но оснований для этого нет — ведь шотландцы редко бывают англиканского вероисповедания. Должен заметить, что о родителях Инессы Арманд, в отличие от родителей Надежды Крупской, мы сегодня знаем немного. Родным языком для Инессы-Елизаветы сначала стали французский и английский, но очень скоро она очутилась в России, где русский фактически сделался для нее третьим родным языком. И вместо Инессы-Елизаветы дочь певца Теодора Стефана превратилась в Инессу Федоровну.

Этим переменам в ее судьбе предшествовали трагические события. Вскоре умер отец, оставив вдову с тремя детьми без средств к существованию. Чтобы заработать на жизнь, Натали сделалась учительницей пения, но денег все равно катастрофически не хватало. Чтобы облегчить бремя, свалившееся на молодую вдову, Инессу взяла на воспитание тетка, преподававшая в Москве в богатых семьях французский и музыку. Она привезла племянницу в Россию, когда той не исполнилось еще и трех лет. Вместе с Инессой жила также ее бабушка. Они вместе с теткой стремились воспитать из сироты благородную девицу, любили ее, но держали в строгости, стараясь оградить от «вредных влияний». Даже роман

Достоевского «Преступление и наказание» был запретным чтением. Как говорила потом Крупская, Инессу воспитывали «в английском духе, требуя от нее большой выдержки». Однако никакие ограничения не помешали девочке развивать свои

выдающиеся способности. К трем родным языкам она довольно быстро добавила немецкий, хотя владела им не так свободно, как, например, французским. С шести лет, сразу по приезду в Москву, Инессу стали учить музыке. К этим занятиям она проявляла большую склонность, превосходно играла на рояле. Юная воспитанница много читала. И очень рано начала чувствовать, что этот мир устроен несправедливо. Крупская вспоминала, явно со слов самой Инессы: «Пятилетней малышкой она вступилась за прислугу, которой делают выговор за плохо приготовленный обед. 13-ти лет она крестит ребенка у бабы, у которой помещица того имения, где жила Инесса, отказалась крестить ребенка, потому что он «незаконный». С ранних лет Инесса стремилась к установлению справедливости, к защите тех, кто был обижен богатыми, кто так или иначе пострадал от властей.

В 17 лет Инесса, как и мать Крупской, успешно сдала экзамены на звание домашней учительницы. А в 19 в ее жизни произошло счастливое событие: Инесса вышла замуж за Александра Арманда — представителя династии известных московских текстильных фабрикантов. Жених был на пять лет старше невесты. После венчания в метрической книге Николаевской церкви села Пушкина за 1893 год появилась стандартная запись: «Приходский священник Игнатий Казанский с причтом совершил 3 октября бракосочетание потомственного почетного гражданина, Московской I гильдии купеческого сына Александра Евгеньева Арманда, православного вероисповедания, первым браком — с французской гражданкой, девицей, дочерью артиста Инессой-Елизаветой Федоровной Стефан, англиканского вероисповедания».

Инесса и Александр познакомились и подружились еще в детстве. Тетка Инессы была гувернанткой в семье Армандов, и племянница жила и воспитывалась вместе с хозяйскими детьми. Арманды были обрусевшими французами, давно уже принявшими православие. Основу их империи составляли шерстоткацкая и красильная фабрики в селе (ныне — городе) Пушкино, расположенном по Ярославской железной дороге на 28-й версте от Москвы. Главой клана был мануфактур-советник и потомственный почетный гражданин Евгений Евгеньевич Арманд. Ему принадлежал торговый дом «Евгений Арманд с сыновьями», а также поместья, доходные дома и иная недвижимость. Сыновья и племянники Евгения Евгеньевича управляли фабриками и вели значительную торговлю, как в России, так и за границей. Не чужды были Арманды и либеральным настроениям, много средств отдавали на благотворительные цели. Не обижали и собственных рабочих. Сохранились воспоминания работников

пушкинских фабрик о Евгении Евгеньевиче и Александре Евгеньевиче: «Они близко соприкасались с рабочими. Их уважали»; «Арманд всегда шел на уступки». Хотя заработки текстильщиков в конце XIX века были примерно вдвое ниже, чем у рабочих-металлистов, самых высокооплачиваемых в ту пору, на жизнь хватало. Хотя, разумеется, между образом и уровнем жизни ткачей и красильщиков и их хозяев лежала пропасть.

После свадьбы Инесса и Александр поселились в подмосковном имении Армандов Ельдигино. Часто наведывались в Пушкино, где был роскошный семейный особняк и устраивались приемы, на которых русское хлебосольство сочеталось с французской непринужденностью. Казалось, наяву повторилась история бедной Золушки, нашедшей прекрасного принца. Молодые любили друг друга, были счастливы, капитал Александра избавлял от забот о хлебе насущном. Но Инесса совсем не традиционно понимала сказку Шарля Перро.

Весной 1899 года она писала мужу из Швейцарии: «Милый, тут очень прекрасно, но как я буду рада, когда снова буду в Ельдигино! Как говорит Жером (один из швейцарских знакомых. — *Б. С.*), мы никогда не бываем довольны тем, что у нас есть, это старая истина, но она вечно нова… Он, между прочим, берет в пример Золушку и доказывает, что, в сущности, ее крестная мать поступила очень неосторожно и что, кроме несчастья, ничего не может ожидать Золушку в ее новом положении, но все-таки тут же доказывает, что если она попала бы в другое положение, то все же была несчастлива, потому что не знала бы тогда, что под блеском и богатством может прикрываться горе… И ведь действительно есть такие неспокойные характеры, которые всегда что-то хотят, что-то ищут: да большинство таково. Я знаю, может, только двух или максимум трех, которые были бы довольны своим положением и своей жизнью: да и то они, пожалуй, притворяются…»

Инесса была таким неспокойным, ищущим человеком. Вот и искала она себе занятие, чтобы помочь униженным и оскорбленным, чтобы не тяготиться богатством в море нищеты и страданий.

У Инессы и Александра было пятеро детей. Они в них души не чаяли. Но уже рождение в 1894 году первенца, названного в честь отца Александром, оказалось связано у Инессы с тяжелым духовным кризисом. До этого она верила в Бога, с радостью исполняла все православные обряды. Но Инессу потрясло, что женщине запрещено заходить в церковь в первые шесть недель после рождения младенца. Как вспоминала Крупская: «Волнуясь, стала она пересматривать свое мировоззрение, и прежняя

наивная вера ушла в область прошлого». Такое же потрясение, повлекшее пересмотр взглядов на религию, испытала, как мы помним, и сама Надежда Константиновна, только в гораздо более раннем возрасте.

В Ельдигине Александр открыл школу для крестьянских детей, где Инесса была учительницей и официальным попечителем. Она также стала активным участником «Общества улучшения участи женщин», боровшегося с проституцией. В 1900 году она даже стала председателем его московского отделения, хотела выпускать печатный орган общества, но так и не смогла получить на это разрешение властей. Крупская в статье, посвященной памяти своей подруги, отмечала тот переворот, что произошел в душе Инессы: «Темные стороны жизни почти не касались ее лично. Но когда она сталкивалась с ними, она глубоко возмущалась. Она никак не могла, например, примириться с тем, что существует проституция. И Инесса начала работать в московском обществе «по улучшению участи женщин» в отделе по борьбе с проституцией. Она подходила к проституткам не как дама-благотворительница, а как чуткий человек, понимающий чужое горе и нужду. Эта работа наталкивает ее на ряд новых для нее мыслей. Она видит подноготную буржуазного строя, видит нищету, беззащитность трудящихся. С другой стороны, она внимательно всматривается в отношение буржуазного общества к женщине, начиная понимать связь между буржуазным укладом и проституцией. Что же надо сделать? Работа благотворительного общества по помощи проституткам все меньше и меньше удовлетворяет ее. Она видит невозможность помочь делу путем благотворительности. Надо что-то другое. Что? Спросить разве Льва Толстого? Что он посоветует? Один из активных и искренних работников общества отправляется к Толстому. Толстой раздражается: «Ничего из вашей работы не выйдет, так было до Моисея, так было после Моисея, так было, так будет». Инесса видит, что не у Льва Толстого найдет она ответ на вопрос, как помочь делу, — перечитывает Толстого и находит в его произведениях отражение тех взглядов на женщину, с которыми она борется, которые она страстно ненавидит. Это производит на нее такое впечатление, что она престает замечать сильные стороны Толстого.

Ответ на мучившие ее вопросы Инесса находит в социализме. Только социалисты смотрят на женщину как на товарища, только они стоят за настоящее проведение до конца равноправия. Только тогда, когда осуществится социализм, — отомрет проституция; только тогда, когда женщина перестанет быть рабыней. И социалисты идут стройными организованными рядами к цели —

мужчины и женщины, рука об руку. Вот где разрешение вопроса «Что делать?» И Инесса становится в ряды Партии и до самой смерти активно работает в ней, ей отдает свои силы, думы, здоровье».

Интересно, что сама Надежда Константиновна тоже обращалась к Толстому. В 1887 году гимназистка Крупская писала Льву Николаевичу в Ясную Поляну, что готова взяться за предлагаемое им дело — исправление переводных книг, издаваемых для народа книгоиздателем Иваном Сытиным. Надя признавалась: «Последнее время с каждым днем живее и живее чувствую, сколько труда, сил, здоровья стоило многим людям то, что я до сих пор пользовалась чужими трудами. Я пользовалась ими и часть времени употребляла на приобретение знаний, думала, что ими я принесу потом какую-нибудь пользу, а теперь я вижу, что те знания, которые у меня есть, никому как-то не нужны, что я не умею применять их к жизни, даже хоть немножко загладить ими то зло, которое я принесла своим ничегонеделанием, — и того я не умею, не знаю, за что для этого надо взяться…»

Толстой прислал Наде «Графа Монте-Кристо» Александра Дюма. Девушка с увлечением занялась исправлением перевода, т. е. сверкой его с французским оригиналом и восстановлением купюр и ликвидацией искажений. Вскоре она отослала рукопись Толстому. Но еще в процессе работы поняла, что такими «малыми делами» зло из мира не устранишь. И в конце концов обратилась к социализму.

Инесса тоже отвергла философию Толстого, но, вопреки тому, что утверждала ее старшая подруга и соперница, признавала громадный художественный талант Толстого. Много лет спустя, осенью 1916 года, в письме к дочери, тоже Инессе, она подчеркивала: «Я совершенно не сторонница философии Толстого, я скажу больше — я очень не люблю его философию, так как считаю ее реакционной, от нее плесенью пахнет, но он великий художник, который удивительно верно видел жизнь и умел изобличать все ее дурные и безобразные стороны, и этим всегда толкает мысль, заставляет задуматься над жизнью, искать выхода. Некоторые его фразы или характеристики как-то запечатлеваются на всю жизнь, иногда даже дают ей направление. Например, в «Войне и мире» есть одна фраза, которую я впервые прочитала, когда мне было 15 лет, и которая имела громадное влияние на меня. Он там говорит, что Наташа, выйдя замуж, стала самкой. Я помню, эта фраза показалась мне ужасно обидной, она била по мне, как хлыстом, и она выковала во мне твердое решение никогда не стать самкой, а остаться человеком…

Но если Толстой видит зло в настоящем, он совершенно не видит путей, благодаря которым можно бы от него избавиться. Пока он описывает и критикует настоящее, он великолепен, но когда он говорит о путях к будущему, его выводы висят в воздухе и мало ценны для жизни и для направления ее к будущему. Его выводы все исходят из его общего мировоззрения… Это миросозерцание всегда считало любовь величайшим грехом и позором, которого люди должны всячески избегать. Это миросозерцание коренится еще в средних веках, и формально на этом воззрении зиждется основание женских и мужских монастырей. В монастырях стремились к полному целомудрию, т. е. к тому же идеалу, к которому приглашает стремиться и Толстой… Предложенные им идеалы не особенно-то новы, между тем они довлеют у него над всеми его позднейшими произведениями — и над «Крейцеровой сонатой», и над «Воскресением», и над многими другими… Мне кажется, точке зрения Толстого можно было бы противопоставить эллинство, точка зрения которого и на жизнь и на любовь совершенно иная. Эллины преклонялись перед красотой — на любовь они смотрели свободно, считали, что любить прекрасно, что любить надо, но в их отношении к красоте и любви было мало одухотворенного. Они любили красоту тела, и им совершенно не нужно было «души». В современном обществе наиболее яркими представителями этого эллинства являются, пожалуй, французы. Прочитай, например, рассказы Мопассана…

Каково же отношение к женщине и к любви этих двух мировоззрений? Например, как относились средневековые аскеты к женщине? Из истории мы знаем, что они ее считали орудием дьявола, посланным на землю специально для того, чтобы совращать людей с пути истины. А воззрение на любовь? Аскетизм и может возникнуть только на почве самого грубого и примитивного отношения к любви. Ну а Толстой? Толстой, конечно, не смотрит на женщину как на орудие дьявола — для этого он все же родился слишком поздно, но взгляд его на любовь такой же грубый и примитивный, как и у средневековых аскетов, и потому-то он и протестует против опоэтизирования любви, что он не понимает ее поэзии… Эллинство красивее (аскетизм ведь какое-то уродство). Эллинство связано с представлением о красоте, о солнце, о природе — оно тесно связано с природой и похоже на прекрасный цветок, пышно расцветший внутри этой природы, но который еще мало отделился от нее, мало еще стал человеческим. Все это красиво, но еще довольно первобытно. Отношение к женщине, несомненно, плохое. В женщине не ищут ни друга, ни товарища — в ней ищут красоты, некоторое

остроумие, умение петь, играть или танцевать, одним словом, наслаждение и развлечение. В качестве жены она раба, запертая в своем доме, как в темнице, и покинутая мужем. Она существует не для себя, как и подобает человеку, а лишь для того, чтобы рожать детей и управлять хозяйством. Тут не только об уважении, но и о любви обыкновенно не может быть и речи — она просто старшая рабыня своего супруга. В качестве гетеры она тоже раба, которая опять-таки существует не для себя, а для того, чтобы развлекать и услаждать. Отношение и аскетизма и эллинства по отношению к женщине и любви еще грубо и примитивно — эллинство красивее, естественнее, и в нем нет того специфического привкуса греха, которое делает аскетизм особенно отвратительным…

По мере того как усложнялась жизнь и отношения людей между собой, росло то, что мы называем культурой, не только мысль, но и чувство обогащалось, то, что раньше у животных и первобытных людей было только инстинктом (как, например, материнство), превращалось из инстинкта в чувство с тысячью переливами и оттенками — в человеческое чувство, наконец, зарождались между людьми и новые отношения, новые чувства, которых животные и дикарь или совершенно не знают, или знают лишь в зародыше. Любовь тоже является продуктом культуры и цивилизации — животные и дикари не знают любви, не знают того сложного «опоэтизированного», полного самого сложного психологического общения (а такая любовь есть и существует)».

Эти строки Инесса писала, когда ей исполнилось уже 42 года и от первого знакомства с «Войной и миром» минуло более четверти века. Она успела пережить не одну страстную любовь, вырастить детей, познать тюрьмы и горечь эмиграции. В письме Инесса предстает перед нами зрелой женщиной. Но вряд ли стоит сомневаться, что и в 15 лет ее взгляд на любовь и место женщины в современном мире был примерно таким же. Инесса не хотела быть ни самкой, ни рабыней, ни «сосудом наслаждений». Толстой считал, что удел женщины — это семья, забота о муже и детях. Инесса же мечтала вырваться за пределы тесного для нее семейного круга. Мечтала о большой любви — сложном поэтическом и психологическом чувстве, в равной мере присущем двоим. И, казалось, обрела это чувство вместе с Александром Армандом.

Еще ей хотелось избавить мир от продажной любви, где женщина — только рабыня, только красивая игрушка. Но «Общество по улучшению положения женщин» могло помочь только очень немногим проституткам. И лишь единицы из них отказывались от древнейшей профессии. Поэтому Инесса очень

скоро поверила, будто только социалисты-марксисты способны решить проблему проституции. Они создадут в будущем такое общество, где мужчина и женщина будут равноправными товарищами, а «опоэтизированная» любовь станет нормой, а не счастливым редким исключением. А до прихода к большевикам Инессе предстояло еще два важных события. Она разочаровалась в деятельности «Общества» и встретила новую любовь.

Инессе не дано было узнать, что в социалистической России проституция сохранилась, хотя официально было объявлено об ее искоренении. Прав оказался Лев Толстой: это зло существовало до Моисея, существовало после и будет существовать, пока существует человечество. Можно изменить социальные условия, но нельзя изменить природу человека.

В семействе Армандов был домашний учитель студент Евгений Евгеньевич Каммер, обучавший премудростям науки самого младшего из братьев, Бориса. В 1897 году Каммера арестовали за хранение нелегальной литературы и сослали в Елецкий уезд. На Инессу первое знакомство с «настоящим революционером» произвело сильное впечатление. Позднее она признавалась: «Я его (Каммера. — *Б. С.)* как-то очень люблю и мне его страшно жаль. Так бы хотелось иметь возможность улучшить его положение». Но до установления связи с революционными организациями прошло еще несколько лет. Только в 1902 году Инесса вошла в контакт с несколькими социал-демократами и социалистами-революционерами. Тогда же она влюбилась в младшего брата мужа — Владимира, и тот ответил ей взаимностью. Инесса все рассказала Александру, просила понять и простить. Он понял и простил, сохранив теплые чувства к бывшей жене и брату, поддерживая их материально и заботясь о детях. Инесса и Александр остались близкими друзьями. Поздравляя Инессу с новым, 1904 годом, Александр писал: «Хорошо мне было с тобой, мой друг, и так я теперь ценю и люблю твою дружбу. Ведь, правда, дружбу можно любить? Мне кажется, что это совершенно правильное и ясное выражение». Оформлять развод не стали. Нужды в этом не было. К тому же расторжение церковного брака было делом трудным и связанным с рядом унизительных процедур.

В 1903 году Инесса и Владимир уехали в Швейцарию. Здесь Инесса впервые серьезно занялась революционной работой. В автобиографии она писала: «В 1903 году попала за границу, в Швейцарию, и после короткого колебания между эсерами и эсдеками (по вопросу об аграрной программе) под влиянием книги Ильина «Развитие капитализма в России», с которой впервые смогла познакомиться за границей, становлюсь

большевичкой». Как известно, под псевдонимом «Ильин» скрывался Владимир Ульянов. Так состоялось заочное знакомство Инессы с героем главного романа ее жизни, с тем, к кому она питала то глубоко, поэтическое и психологическое чувство, которое называют настоящей любовью и которое бывает лишь раз в жизни.

Теперь самое время вернуться к Владимиру Ильичу и Надежде Константиновне в Шушенское, где проходит их медовый месяц. Был ли их брак своеобразным революционным «браком по расчету»? Не была ли Надежда Константиновна из разряда тех фиктивных «невест», что сам же Ленин предлагал выделить членам «Союза борьбы», чтобы было кому помогать им в тюрьме и ссылке? Или перед нами действительно романтический союз двух страстно влюбленных друг в друга людей, но не менее страстно любящих и революцию? Те, кто Ленина терпеть не может, поддерживают слухи, что вождь величайшей (как бы к ней не относиться) революции XX века был банальным импотентом и, следовательно, никаких отношений сексуального характера ни с супругой, ни с кем-либо иным не имел и иметь не мог. Пожалуй, единственным аргументом тут служит отсутствие у Ленина и Крупской детей. Слухи эти, как представляется, достаточно легко опровергнуть. Вот, например, воспоминания Крупской о жизни в Шушенском: «По вечерам мы с Ильичом никак не могли заснуть, мечтали о мощных рабочих демонстрациях, в которых мы когда-нибудь примем участие». И тут же: «Мы ведь молодожены были — и скрашивало это ссылку. То, что я не пишу об этом в воспоминаниях, вовсе не значит, что не было в нашей жизни ни поэзии, ни молодой страсти. Мещанства мы терпеть не могли, и обывательщины не было в нашей жизни. Мы встретились с Ильичом уже как сложившиеся революционные марксисты — это наложило печать на нашу совместную жизнь и работу». В ту пору, конечно же, подробно писать в мемуарах о «молодой страсти», а уж тем более применительно к вождю мирового пролетариата, представлялось абсолютно невозможным. Но глухое признание Крупской доказывает, что не только «мечтам о мощных рабочих демонстрациях» предавались они с Лениным в Шушенском. Любовь и революция для них слились воедино.

Есть и позднейшие данные, что Надежда Константиновна имела серьёзную соперницу в их бытность за границей и еще до появления на ленинском горизонте Инессы Арманд. В 1935 году некто Тихомирнов, командированный ЦК во Францию для поиска и покупки писем и рукописей Ленина, встретился с бывшим большевиком Г. А. Алексинским. Позднее он докладывал: «При первой встрече он показал мне очень осторожно письма, судя по

всему, написанные Лениным. Почерк, насколько я мог убедиться (вчитываться в них Алексинский не давал), абсолютно схож с ленинским. Эти письма, как говорит Алексинский, писались Лениным одной писательнице, которая была в близких отношениях с ним, но не была членом партии. Лицо это не хочет передавать эти письма нам, пока жива Надежда Константиновна. Эта женщина вполне обеспечена, так как получала средства от нас из Москвы и они проходили или через Менжинского, или через Дзержинского, а сейчас получает регулярно соответствующую сумму из вклада в банке».

Мы не знаем, чем кончилась эта история, удалось ли Москве выкупить ленинские письма у безвестной французской писательницы. Но показательно уже одно то, что платило ей за молчание ведомство Дзержинского и Менжинского, всемогущее ЧК — ГПУ. Можно не сомневаться, что об этой же истории писал меньшевик Николай Владиславович Валентинов в своей книге «Встречи с Лениным»: «Только обладая множеством данных, вплоть до мелочей, можно иметь пред глазами полный, невымышленный образ человека, «сделавшего историю». С этой точки зрения могла быть интересной появившаяся в издании Bandiniere книга «Les amours secretes de Lenine» («Любовные тайны Ленина»), написанная двумя авторами — французом (вероятно, он был только переводчиком) и русским. Впервые в виде статей она появилась в 1933 году в газете «Intransigeant» («Непримиримая»). За книгу многие ухватились, даже много писали о ней, поверив, что у Ленина были интимные отношения с некой Елизаветой К. — дамой «аристократического происхождения». В доказательство авторы приводили якобы письма Ленина к этой К. Даже самый поверхностный анализ названного произведения немедленно обнаруживает, что оно плод тенденциозной и очень неловкой выдумки. Но если у Ленина не было этой секретной любви — отсюда не следует выводить, что в течение всей своей жизни он оставался верным только Крупской и не имел связи с другой женщиной». К сожалению, в российских библиотеках отсутствует книга «Любовные тайны Ленина», равно как и газета «Intransigeant». Но не приходится сомневаться, что одним из соавторов книги был Алексинский. А вторым, вполне возможно, — таинственная Елизавета К. Почему я пришел к такому выводу? А потому, что, по счастью, в Российской Государственной Библиотеке (бывшей Ленинской, а еще раньше — Румянцевской) сохранился комплект за 1936 год «Иллюстрированной России», парижского журнала на русском языке. Там в октябрьских, ноябрьских и декабрьских номерах были опубликованы воспоминания Елизаветы К.

(очевидно, в записи Алексинского) под названием «Ленин в действительности. Его роман с Елизаветой К***». При этом «копирайт» (право на публикацию) стоял довольно оригинальный: «G. Alexinski — Intransigeant». К тому же в публикации фотографически воспроизведены фрагменты автографов ленинских писем, адресованных Елизавете К. Думаю, что память подвела Валентинова, и на самом деле «Intransigeant» впервые поместила серию статей о тайной возлюбленной Ленина не в 1933-м, а в 1935 или 1936 годах, одновременно с «Иллюстрированной Россией», или даже немного раньше ее. Ведь, если Валентинов не ошибается в дате первой публикации книги — 1933 год, — то получается явная нелепица. Выходит, что два или три года спустя, в 1935 или в 1936 году, в Москве, еще не знали, что письма, которые Алексинский пытается продать, давно уже обнародованы, и даже зазря платили бывшей любовнице Ленина приличную пенсию? Не исключено, что в «Intransigeant» при переводе на французский как общее содержание писем, так и, в особенности, столь ценимые Валентиновым мелочи могли быть искажены, что и вызвало недоверие Николая Владиславовича к опубликованным фрагментам.

В случае, если публикация писем в «Intransigeant» происходила одновременно с публикацией в «Иллюстрированной России» или непосредственно предшествовала ей, можно представить себе следующее развитие событий. Москва не только не стала покупать хранившиеся у Елизаветы К. ленинские письма, но и перестала выплачивать ей субсидию. К тому же начавшиеся в Москве политические процессы, в частности, осуждение на смерть старых друзей Ленина — Льва Борисовича Каменева и Григория Евсеевича Зиновьева, — могли породить у Алексинского и Елизаветы К. страх за собственную жизнь. Ну, как НКВД решит сэкономить на выплатах и просто уберет нежелательных свидетелей, грозящих разрушить ленинский миф? Публикация же очерка о любви Ленина и Елизаветы К. с обильным цитированием ленинских писем позволяла не только заработать на гонорарах, но и давала некоторые гарантии. Теперь гибель публикаторов только привлекла бы к этой истории повышенное внимание зарубежной общественности. Поэтому в Москве решили сделать вид, что публикации в «Иллюстрированной России» как бы и не было. Тема отношений вождя большевиков и девушки из Петербурга на долгие годы оказалась в СССР под запретом.

Другая же версия, основанная на предположении, что Валентинов не ошибся с датировкой, предполагает крайний непрофессионализм НКВД и НКИД, два года не сообщавших ЦК о злосчастной публикации и продолжавших платить Елизавете К. пенсию за давно уже нарушенное молчание. Впрочем, неразбериха в СССР существовала всегда. Поэтому и такой вариант возможен, хотя он и кажется мне маловероятным.

Но не только утаенная парижская любовь доказывает, что ничто человеческое Ленину не было чуждо. В переписке с Инессой Арманд, которой мы в дальнейшем коснемся, порой проскальзывают намеки, относящиеся к интимной сфере.

Что же касается бездетности Крупской, то виноват здесь не Ленин, а ее болезни. В апреле 1900 года, после отъезда из Шушенского Владимир Ильич из Пскова сообщал матери о здоровье Надежды Константиновны, находившейся тогда в Уфе: «Надя, должно быть, лежит: доктор нашел (как она писала с неделю тому назад), что ее болезнь (женская) требует упорного лечения, что она должна на 2–6 недель лечь». Позднее, уже за границей, у Крупской обнаружилась базедова болезнь — воспаление щитовидной железы, причем в острой форме, так что пришлось даже делать операцию. А ведь эта болезнь, как известно, тоже не способствует деторождению.

Но вернемся в Шушенское. Жизнь там Ульянова и Крупской (в браке она сохранила девичью фамилию) напоминала едва ли

не пребывание на курорте. 8 рублей в месяц Владимир Ильич получал как ссыльный. Такое же пособие после венчания стала получать и Надежда Константиновна. Крупская вспоминала: «Дешевизна в этом Шушенском была поразительная… Владимир Ильич за свое «жалованье» — восьмирублевое пособие — имел чистую комнату, кормежку, стирку и чинку белья — и то считалось, что дорого платит. Правда, обед и ужин был простоват — одну неделю для Владимира Ильича убивали барана, которым кормили его изо дня в день, пока всего не съест; как съест — покупали на неделю мяса, работница во дворе в корыте… рубила купленное мясо на котлеты для Владимира Ильича, тоже на целую неделю… В общем, ссылка прошла неплохо». Сам Ильич еще в октябре 1897 года с удовлетворением писал матери: «Все нашли, что я растолстел за лето, загорел и выгляжу совсем сибиряком. Вот что значит охота и деревенская жизнь! Сразу все питерские болести побоку!» Это подтвердила и Надежда Константиновна, через несколько дней после приезда в Шушенское написав Марии Александровне Ульяновой: «По-моему, он ужасно поздоровел, и вид у него блестящий сравнительно с тем, какой был в Питере. Одна здешняя обитательница полька говорит: «Пан Ульянов всегда весел». Увлекается он страшно охотой, да и все тут вообще завзятые охотники, так что скоро и я, надо думать, буду высматривать всяких уток, чирков и т. п. зверей».

Уж не ссылку ли Ленина в Шушенское пародировал Михаил Булгаков, когда в эпилоге «Мастера и Маргариты» отправил любителя веселой жизни директора московского театра Варьете Степана Богдановича Лиходеева в необременительную ссылку в Ростов: «Немедленно после выхода из клиники, в которой Степа провел восемь дней, его перебросили в Ростов, где он получил назначение на должность заведующего большим гастрономическим магазином. Ходят слухи, что он совершенно перестал пить портвейн и пьет только водку, настоянную на смородиновых почках, отчего *очень поздоровел* (курсив мой. — *Б. С.*). Говорят, что стал молчалив и сторонится женщин». 8-дневное пребывание Лиходеева в психиатрической клинике профессора Стравинского может рассматриваться как пародия на предшествовавшее ссылке в Шушенское пребывание Ленина в течение тринадцати с половиной месяцев в доме предварительного заключения на Шпалерной. Отказ Степы, в точном соответствии с рекомендацией Воланда, от употребления портвейна напоминает отказ Ленина от минеральной воды, которую ему прописали от болезни желудка швейцарские доктора еще в 1895 году. Через месяц после приезда в Шушенское он с

радостью сообщал сестре Анне: «И квартирой, и столом вполне доволен, о той Mineralwasser, о которой ты спрашиваешь, я и думать забыл и надеюсь, что скоро забуду и ее название».

Для автора «Мастера и Маргариты» Ленин действительно был Лиходеевым — человеком, сотворившим немало лихих дел, окунувшим Россию в бездну «красного террора», уничтожившим спокойный дореволюционный уклад жизни и достаток интеллигенции. Подчеркну, что ни в годы пребывания Владимира Ильича у власти, ни в период, когда Булгаков писал свой великий роман, мало кто в стране питался столь обильно, как крестьяне села Шушенского и делившие с ними простую, но обильную трапезу ссыльные Ульянов и Крупская.

Причем питались Владимир Ильич и Надежда Константиновна целиком на казенный счет. А на дополнительные расходы, например, на дантиста, к которому Ульянов ездил лечиться в самый губернский центр Красноярск, исправно поступали переводы от Марии Александровны. Мать Ленина поддерживала детей с помощью специального денежного фонда, который составили доходы от проданной недвижимости: дома в Самаре, имения Кокушкино, хутора Алакаевка. Получал Ульянов и литературные гонорары, хота и не очень большие. На эти гонорары он в основном покупал нужные для работы книги, которые родные исправно высылали в Шушенское.

Но не только и даже не столько политико-экономические статьи занимали Ульянова в ссылке. Как писала позднее Мария Ильинична Ульянова: «Если Владимир Ильич умел систематично, усидчиво и крайне плодотворно работать, то он умел и отдыхать… Лучшим отдыхом для него была близость к природе и безлюдье». Шушенское в этом смысле было почти идеальным местом. Надежда Константиновна так рисует их занятия в одном из писем свекрови: «В Шуше очень даже хорошо летом. Мы каждый день ходим по вечерам гулять, мама-то далеко не ходит, ну а мы иногда и подальше куда-нибудь отправляемся. Вечером тут совсем в воздухе сырости нет и гулять отлично. Комаров тут много, и мы пошили себе сетки, но комары почему-то специально едят Володю, а в общем жить дают. Гулять с нами ходит знаменитая «охотничья» собака, которая все время, как сумасшедшая, гоняет птиц, чем всегда возмущает Володю. Володя на охоту это время не ходит (охотник он все же не особенно страстный), птицы что ли на гнездах сидят, и даже охотничьи сапоги снесены на погреб. Вместо охоты Володя попробовал было заняться рыбной ловлей, ездил как-то за Енисей налимов удить, но после последней поездки, когда не удалось поймать ни одной рыбешки, что-то больше нет разговору о налимах. А за Енисеем

чудо как хорошо! Мы как-то ездили туда с массой всякого рода приключений, так очень хорошо было. Жарко теперь. Купаться надо ходить довольно далеко. Теперь выработался проект купаться по утрам и для этого вставать в 6 ч. утра. Не знаю уж, долго ли продержится такой режим, сегодня купание состоялось. Вообще теперешняя наша жизнь напоминает «форменную» дачную жизнь, только хозяйства своего нет».

Охотником и рыбаком Владимир Ильич, видно, был не слишком удачливым. Так же, как Надежда Константиновна хозяйкой была никакой. Потому и было необходимо постоянное присутствие матери, что у дочери-революционерки все из рук валилось. Крупская вспоминала: «Мы с мамой воевали с русской печкой. Вначале случалось, что я опрокидывала ухватом суп с клецками, которые рассыпались по исподу». Пришлось взять прислугу: «В октябре появилась помощница, тринадцатилетняя Паша, худющая, с острыми локтями, живо прибравшая к рукам все хозяйство».

29 января 1900 года у Ульянова истек срок ссылки. Крупской пришлось отбыть в Уфу, где предстояло дожидаться окончания ее ссылки. Следовать в Псков, который избрал местом жительства муж, жене не разрешили. Владимир Ильич выбрал этот город прежде всего из-за близости к Петербургу, где надеялся периодически бывать: заниматься в библиотеке, налаживать прерванные арестом и ссылкой связи. В принципе он мог бы выбрать местом жительства Уфу, но для Ленина интересы дела всегда стояли выше личных. К тому же он подал прошение на выезд за границу, откуда из Пскова ехать было гораздо ближе, чем из Уфы. Но когда в марте 1900 года Надежда Константиновна заболела, Владимир Ильич добился разрешения полицейских властей навестить ее и прожил в Уфе три недели (к приезду мужа Крупская уже поправилась).

В Пскове Ленин встретился с тогдашним легальным марксистом и будущим кадетом и непримиримым противником большевиков князем Владимиром Андреевичем Оболенским. Тот оставил в своих мемуарах примечательный портрет Ильича: «В. И. Ульянов, впоследствии Ленин, имел очень невзрачную наружность. Небольшого роста, как коленка лысый, несмотря на свой молодой возраст, с серым лицом, слегка выдающимися скулами, желтенькой бородкой и маленькими хитроватыми глазками, он своим внешним видом скорее напоминал приказчика мучного лабаза, чем интеллигента». Надя же, конечно, смотрела на мужа совсем другими глазами, хотя, надо признать, что Оболенский в целом дал правильный портрет: красавцем Ленин, разумеется, не был. И тот же Оболенский

подметил особенность отношения будущего вождя большевиков к людям: «Интерес к человеку ему был совершенно чужд. Общаясь с ним, я всегда чувствовал, что он интересуется мною лишь постольку, поскольку видит во мне более или менее единомышленника, которого можно использовать для революционной борьбы». Столь же прагматический подход к знакомым и даже к друзьям отмечают и другие мемуаристы из враждебного большевикам лагеря. Однако вряд ли все-таки с женой Ильич говорил только о революции. Хотя в воспоминаниях Крупской разговоры с мужем на отвлеченные темы встречаются редко. И Надежда Константиновна сама признавала: «Никогда не мог бы он полюбить женщину, с которой он расходился бы во взглядах, которая не была бы товарищем по работе».

Получив заграничный паспорт, Ленин уже в июле 1900 года прибыл в Австрию. Надежда Константиновна смогла присоединиться к нему только по истечении срока ссылки, спустя восемь месяцев. В мае 1901 года к ним в Мюнхен приехала Елизавета Васильевна. За границей Ульянову и Крупским предстояло прожить четыре года.

Надежда Константиновна, с приездом матери полностью освободившаяся от хозяйственных забот, полностью отдалась партийным делам. По поручению мужа она занялась канцелярской работой: перепиской с социал-демократами, как оставшимися в России, так и оказавшимися за границей. После раскола партии в 1903 году на большевиков и меньшевиков Ленин стал признанным лидером первых. Рассылая письма карликовым в то время партийным организациям на местах, равно как и отдельным членам партии, он стремился осуществлять руководство движением. Получаемая же с мест информация помогала оценивать политическую ситуацию в России и расстановку сил в европейской социал-демократии.

Эмигрантская жизнь особых тягот вождю не приносила. Конечно, морально угнетала оторванность от Родины, но она до некоторой степени компенсировалась общением с русскими политэмигрантами. Материальных же проблем у вождя не было. Помощь Марии Александровны и партийная касса, пополняемая пожертвованиями людей небедных, вроде известного текстильного фабриканта Саввы Морозова, позволяли Владимиру Ильичу и Надежде Константиновне безбедно существовать. Крупская свидетельствовала: «Расписывают нашу жизнь как полную лишений. Неверно это. Нужды, когда не знаешь, на что купить хлеба, мы не знали. Разве так жили товарищи эмигранты? Бывали такие, которые по два года ни заработка не имели, ни из России денег не получали, форменно голодали. У нас этого не

было. Жили просто, это верно».

Похоже, что ни Ульянов, ни его жена не испытывали никаких угрызений совести, никаких комплексов вины по поводу своего сравнительно обеспеченного существования на фоне нищеты, ставшей уделом большинства эмигрантов. Ленин очень рано уверовал в собственную исключительность и свое относительно привилегированное положение воспринимал как должное. Крупская же мужа боготворила и только его видела во главе будущей победоносной революции в России и во всем мире. Что хорошо для Ленина, то хорошо для революции — этому принципу Надежда Константиновна неукоснительно следовала всю жизнь.

Она постепенно привыкала к эмигрантскому быту, осваивала немецкий язык. В июле 1901 года писала Марии Александровне: «Я опять принимаюсь за немецкий язык, неудобно без языка: отыскала немку, которая будет давать мне уроки немецкого взамен русского… Все собираемся мы с Володей в немецкий театр, но мы по этой части неподвиги порядочные, поговорим: «вот надо будет сходить», да тем и ограничимся, то то, то другое помешает… Впрочем, и то сказать, настроение теперь как-то для этого мало подходящее. Чтобы пользоваться заграницей вовсю, надо ехать сюда в первый раз в молодости, когда интересует всякая мелочь… Однако в общем-то я довольна теперь нашей жизнью, вначале скучно было как-то, все чуждо очень, но теперь, по мере того как входишь в здешнюю жизнь, чувство это пропадает. Вот только из России очень уж скупо пишут». И в следующем письме сообщала свекрови: «Володя сейчас занимается довольно усердно, я очень рада за него: когда он уйдет целиком в какую-нибудь работу, он чувствует себя хорошо и бодро — это уж такое свойство его натуры; здоровье его совсем хорошо, от катара, по-видимому, и следов никаких не осталось, бессонницы тоже нет. Он каждый день вытирается холодной водой, да, кроме того, мы ходим почти каждый день купаться».

Как видим, напряженную работу удавалось вполне органично сочетать с отдыхом, с почти туристским образом жизни. Впрочем, Ульянова и Крупскую мало интересовала история и культура тех стран, где они жили. Даже в театр так и не собрались. Ведь думали-то они все больше о России. Вот природу баварскую и швейцарскую, чувствуется, любили. Владимир Ильич, по словам хорошо знавшего его в эмиграции Валентинова, был приверженцем точного расписания дня — «время сна, работы, еды, отдыха, прогулок». Последние он с удовольствием описывал в посланиях матери. Так, в сентябре 1901 года сообщал из Мюнхена: «Теперь здесь получше стала погода, после довольно долгого ненастья, и мы пользуемся временем для всяких прогулок

по красивым окрестностям: раз не удалось уехать куда-нибудь на лето, так хоть так надо пользоваться!»

Нельзя сказать, что супруги в эмиграции маялись от безделья, но не вызывает сомнения, что переписка, споры с товарищами по партии и работа над статьями и рефератами оставляли вполне достаточный досуг для приятного времяпрепровождения. Летом же они старались выбраться куда-нибудь на природу. А когда приехали в Лондон осенью 1902 года готовить II съезд РСДРП, то, как писал Ильич матери: «Мы с Надей уже не раз отправлялись искать — и находили — хорошие пригороды с «настоящей природой». Надежда Константиновна в свою очередь вспоминала: «Мы во время эмиграции жили с Владимиром Ильичом в Лондоне. К нам приходил один товарищ, которым была написана прекрасная… книжка по английскому рабочему движению. Если он приходил и не заставал Владимира Ильича, он начинал со мной говорить на «женские» темы: скверно жить одному, как собака живешь, белье не стирано, хозяйство плохо, надо-де ему жениться, взять хозяйку в дом».

Ленин и Крупская подобной «обывательщины» не допускали и домашним хозяйством почти не занимались, взвалив его на плечи Елизаветы Васильевны. Даже когда ленинская теща хворала, посуду все же мыла она, а не ее дочь, у которой все из рук валилось. Надя матери сочувствовала: «…возня с мытьем посуды… здоровому человеку не беда, но больному плохо». Кулинарные же способности Крупской даже у близких людей отбивали аппетит. Как-то ей пришлось в отсутствие Елизаветы Васильевны потчевать обедом ленинского зятя Марка Елизарова, мужа сестры Анны. Он попробовал и с тоской сказал: «Лучше бы вы «Машу» (т. е. прислугу. — *Б. С.)* какую завели». Когда теща в 1915 году умерла, пришлось супругам до самого возвращения в Россию питаться в дешевых столовых. Надежда Константиновна признавалась, что после смерти матери «еще более студенческой стала наша семейная жизнь».

Сохранившиеся от первой эмиграции три ленинских письма к жене поражают своим исключительно деловым тоном, отсутствием каких-либо «сантиментов»: «Пожалуйста, не забудь: в моей аграрной статье есть цитата из Булгакова: т.? с.? Так нельзя оставить, и если я не приеду раньше и не увижу еще корректуры, то ты вычеркни не все примечание, а только эти слова…» И остальное в том же духе. Молодая страсть уже куда-то испарилась. Не уверен, были ли еще в ту пору между Владимиром Ильичом и Надеждой Константиновной интимные отношения. Друг друга они воспринимали в первую очередь как товарищей по партии, делающих одно общее дело. Окружающим эта работа

была почти незаметна. Лишь Охранное отделение внимательно следило за деятельностью революционеров: эсеров, большевиков, меньшевиков, анархистов… Больше всего тревожили полицию и жандармерию эсеры своими дерзкими покушениями на высокопоставленных сановников. Большевики и меньшевики рассматривались как сравнительно безвредные теоретики, увязшие в бесконечных спорах на верандах парижских и женевских кафе. Их нелегальные газеты и брошюры поступали в Россию тоненьким ручейком и сами по себе не могли подточить устои самодержавия. Вероятно, большевики еще долго пребывали бы в эмигрантской безвестности. Но тут грянула революция 1905 года.

А что же происходило тем временем с Инессой Арманд? Она была пятью годами младше Крупской. Когда жена Ленина, имея уже десятилетний стаж революционной работы, помогала супругу разворачивать в Германии и Швейцарии русскую революционную газету «Искра», Инесса только-только вступила на революционный путь. Она устроила своего рода «революционный салон» в московской квартире Армандов. Историк Николай Михайлович Дружинин, посещавший в предреволюционном 1904 году вечера у Инессы, вспоминал: «Приглашались люди разного возраста, но только левого направления, революционных взглядов и настроения. Обстановка была непринужденной; беседы велись на политические темы. И тут же, по-видимому, намечали тех, кто мог бы содействовать партийной работе, или тех, кого можно вовлечь в партию».

В письмах Александру Арманду Инесса выражала свое скептическое отношение к попыткам либералов добиться реформы самодержавия. В октябре 1904 года она передала московские слухи о прошедшем в Петербурге съезде земских представителей: «Здесь ходит упорный слух, что они созваны для того, чтобы выработать конституцию. А другие уверяют, что хотя они и не для этого созваны, но все же будут обязательно ее требовать. Конституция, конечно, уже ходит по рукам. Между прочим, она прекуцая, учреждаются две палаты и т. п. прелести. Либералишки несчастные! Душа у них коротка!» Недавно приобщившейся к революционной марксистской вере молодой женщине, как когда-то Крупской, либеральная теория и практика «малых дел» казалась обывательски несерьезной, не достойной того, чтобы посвятить этому жизнь.

И тут же Инесса приводит любопытную историю, характеризующую плачевное состояние российской власти накануне революции: «По Москве ходит презабавный анекдот: одно московское высокопоставленное лицо (имена догадывайся

сам, пожалуйста), найдя, что московское купечество слишком мало жертвует на нужды некоего учреждения (тоже прошу догадаться, какое), собрал главных золотых мешков Москвы и стал спрашивать их, почему они так мало жертвуют. Один из них, Морозов, встал и заявил, что в начале года он сделал большое пожертвование (40 тыс. одеял) и что через несколько времени его приказчики стали покупать их по дешевым ценам. После этого он, Морозов, решил больше ничего не жертвовать в данное учреждение. Высокопоставленное лицо страшно обиделось, и на другой день Морозов был призван к Крестикову (московскому полицеймейстеру. — *Б. С.),* который заявил ему, что арестовывает его. Морозов ответил: «Хорошо, только позвольте мне распорядиться относительно своих дел и по телефону переговорить с братом». Крестиков предоставил телефон. «Брат, — говорит по телефону Морозов, — меня арестовывают, ввиду этого я больше не могу заниматься своими делами и потому прошу тебя завтра же прекратить работу на всех моих фабриках». Крестиков, конечно, в ужасе (у Морозова не менее 16 тысяч рабочих), просит его отменить решение, но тот стоит на своем. Кончилось тем, что его отпустили».

Что ж, перед нами картина, хорошо знакомая нам в конце XX века, когда гуманитарная помощь сразу же оказывается на московских рынках. За столетие, выходит, российская власть изменилась в этом смысле очень мало. Как воровали, так и воруют. Остается только назвать действующих лиц рассказанного Арманд «анекдота». «Высокопоставленное лицо» — это московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович. Учреждение, Для которого Савва Морозов пожертвовал так и не дошедшие до раненых на русско-японской войне солдат одеяла, — это Российское Общество Красного Креста. Его патронировала жена Сергея Александровича великая княгиня Елизавета Федоровна. Когда Инесса писала свое письмо, великому князю оставалось жить всего несколько месяцев. 4 февраля 1905 года его убил бомбой эсер Иван Каляев. Вдове же великого князя суждено было принять мученическую смерть от рук соратников Инессы Арманд в июле 1918 года в Алапаевске. Ее живой столкнули в шахту вместе с великими князьями. Три дня Елизавета Федоровна еще жила и, как могла, помогала раненым. Потом ствол шахты забросали гранатами.

В другом письме бывшему мужу Инесса зафиксировала первые раскаты приближающейся революционной грозы. 26 декабря 1904 года, незадолго до «кровавого воскресенья», она сообщала: «Был целый ряд демонстраций — в Петербурге, Москве, Варшаве, Харькове и т. д. Всюду были избиения. В Москве

очень даже жестокие. Демонстрация происходила на Тверской. Демонстранты разбились, как рассказывали мне, на несколько кучек. Часть демонстрантов шла с Кузнецкого моста и там была избита; другая часть шла со Страстного монастыря, но успела дойти только до Леонтьевского переулка: ее встретили жандармы и городовые с шашками наголо, врезались в толпу и рубили направо и налево, рубили всерьез, так что раненых было довольно много и несколько убитых. Между прочим, одна курсистка. Она растерялась, отделилась от толпы и, растерявшись, на углу переулка остановилась; один из «фараонов» тут и рубанул ее и перерезал шею. Один студент, очень мирный по натуре, философ, вечно разрешающий какие-нибудь мировые вопросы и лично стоящий принципиально против демонстрации, пошел на нее из товарищеских чувств, чтобы при случае помочь. Когда толпа от напора «фараонов» побежала, он бежать не пожелал и остался один — на него набросилось не то четверо, не то пятеро и так избили его, что он потерял сознание и не знает, как очутился в каком-то магазине. Говорят, что он теперь стал не только философом, а и еще кое-чем. Наконец, третья группа демонстрантов пошла от Брюсовского переулка вниз по Тверской. Ее совершенно так же встретили городовые, причем тут не только рубили, но некоторые приставы даже стреляли. Например, был такой факт: один пристав ворвался в толпу с револьвером и стал гнаться за каким-то студентом, догнал его и почти в упор выстрелил ему в голову. Демонстрантов вытеснили в переулок, а затем на Никитскую. Затем перестали их преследовать, так что они прошли всю Никитскую, Арбат и дошли до конца Зубовского бульвара. За ними шла толпа городовых и дворников, причем количество последних постоянно увеличивалось. Дойдя до конца Зубовского бульвара, демонстранты стали расходиться; не успела разойтись небольшая кучка, на нее набросились дворники и жестоко избили. Тут был избит и наш бедный Ваня (воспитанник Армандов студент-медик Иван Николаев, живший у них на квартире. — *Б. С.)*. Его били пять человек, и он пришел домой распухший, сгорбленный, хромой; так было его жаль, что я сказать не могу, и так больно и обидно за него. А дети, вероятно, никогда не забудут этого выступления! Да, вот какие дела творятся на свете!»

7 февраля. 1905 года в связи с антитеррористической кампанией, развернутой после убийства великого князя Сергея Александровича, Инесса была арестована. Ее безосновательно обвинили в принадлежности к «террористической группе московской организации партии социалистов-революционеров». В действительности с эсерами (но не с боевой организацией) был

связан уже упоминавшийся Иван Николаев. Впрочем, с партийной принадлежностью Инессы разобрались достаточно быстро. Уже 24 февраля прокурор Московской судебной палаты Золотарев в своем представлении отметил принадлежность Владимира и Инессы Арманд к социал-демократам. Единственными уликами против нее служила найденная в квартире нелегальная литература и браунинг с пачкой патронов. Владимира Арманда и Ивана Николаева, вследствие недостатка улик, вскоре освободили, а Инессу поместили в Московскую губернскую тюрьму. Отсюда 20 мая она подала прошение прокурору: «Ввиду того, что у меня развилось малокровие и здоровье мое вообще подорвано, мне необходимо находиться побольше на воздухе: между тем, одиночные прогулки, благодаря большому количеству гуляющих, не могут быть продолжительны и, следовательно, совершенно недостаточны, и потому прошу разрешить мне гулять с общей прогулкой, так как она более продолжительна. Повторяю — достаточно продолжительная прогулка, особенно при теперешнем состоянии моего здоровья, есть минимум гигиены, необходимый для поддержания моего здоровья, и потому буду добиваться этого минимума всеми доступными мне средствами». Через неделю последовал ответ: «Отказать, ввиду того, что требования арестованной противоречат тюремным правилам». Вероятно, Инесса сгущала краски относительно своего физического состояния, чтобы добиться облегчения режима. Ведь одновременно она писала довольно бодрые письма Александру Арманду: «Я была до слез тронула твоей преданной и самоотверженной дружбой… Саша, какие между нами установились хорошие отношения! Какое наша дружба хорошее чувство! Честь и слава тебе… Относительно хлопот о моем освобождении, ты слишком много не возись, ведь я чувствую себя хорошо, т. е. я совсем здорова… Относительно хлопот у генерал-губернатора я не знаю, что тебе ответить: если это общий ход хлопот об освобождении на поруки, то обратись к нему, если же это «особая милость», то не следует этого делать. Я здорова. Одно время очень тянуло на волю, теперь это чувство успокоилось, оно, вероятно, было вызвано тем, что многих освободили на днях, ну, воображение и разыгралось, а теперь это улеглось…»

Освобождения по «особой милости» революционерке не надо! Но хлопоты бывшего мужа увенчались успехом, и 3 июня 1905 года Инесса была освобождена на поруки под надзор полиции. А в октябре в связи с царским манифестом, дарующим подданным основные гражданские свободы, дело было прекращено по амнистии.

Инесса поступила вольнослушательницей на юридический

факультет университета. Она внимательно следила за событиями первой русской революции. Узнав о смерти большевика Николая Баумана, убитого черносотенцами, и о мощной демонстрации рабочих на его похоронах, Инесса писала Александру: «Это был славный, хороший человек… А как великолепно держались рабочие! Какие они герои; какая сила и величие в этой стройно, дружно борющейся массе. Едва ли в истории была когда-либо более великолепная, более величественная борьба». Ее влекло к борьбе, она преклонялась перед массой, верила, что организация рабочих на основе Марксовой теории и принципах борьбы классов приведут социал-демократию к победе.

Инесса продолжала пропагандистскую и организаторскую работу и вновь попала в поле зрения полиции. 9 апреля 1907 года ее арестовали по делу нелегального «Всероссийского военного союза солдат и матросов», но за неимением улик вскоре отпустили. Новый арест последовал 7 июля 1907 года в помещении «Бюро для Майма прислуги» в доме № 30 по Большому Колосовому переулку. Здесь в тот день проходило собрание комитета Всероссийского Железнодорожного Союза, обсуждавшего организацию забастовки железнодорожников — в ответ на произведенный премьером Петром Аркадьевичем Столыпиным разгон Государственной Думы. Объяснениям Инессы, что она пришла сюда просто поискать себе домашнюю прислугу, никто не поверил. Арманд поместили в Лефортовскую тюрьму. На сохранившейся тюремной фотографии Инесса с закрытыми глазами. Вероятно, таким образом она хотела затруднить полиции будущие поиски, уже тогда думая о побеге. 30 сентября 1907 года Столыпин, как глава Министерства внутренних дел, подписал распоряжение о ссылке Инессы Арманд под гласный надзор полиции в отдаленный уезд Архангельской губернии. Так закончилась для нее первая русская революция.

А что же в это время делали Ленин и Крупская? С началом революции Владимир Ильич и Надежда Константиновна вернулись в Россию. Но с Инессой на этот раз не встретились. Вождь большевиков в Женеве 10 января 1905 года узнал о расстреле рабочей демонстрации в Петербурге. Крупская вспоминала: «Всех охватило сознание, что революция уже началась, что порваны путы веры в царя, что теперь совсем уже близко то время, когда «падет произвол, и восстанет народ, великий, могучий, свободный…». Чтобы приблизить этот сладостный миг, Ленин торопился в Россию. Однако возвращение состоялось только после манифеста 17 октября, когда для большевиков появилась возможность легальной или хотя бы полулегальной деятельности. В конце октября 1905 года

Владимир Ильич по поддельным документам отбыл в Петербург. Первым делом после приезда он посетил могилы жертв «кровавого воскресения» на Преображенском кладбище Неделей позже на родину выехала и Надежда Константиновна. В мемуарах она призналась: «Я за границей смертельно стосковалась по Питеру. Он теперь весь кипел, я это знала, и тишина Финляндского вокзала, где я сошла с поезда, находилась в таком противоречии с моими мыслями о Питере и революции, что мне вдруг показалось, что я вылезла из поезда не в Питере, а в Парголове. Смущенно я обратилась к одному из стоявших тут извозчиков и спросила: «Какая это станция?» Тот даже отступил, а потом насмешливо оглядел меня и, подбоченясь, ответил: «Не станция, а город Санкт-Петербург».

В Питере супруги одно время пытались жить вместе. Товарищи по партии достали им надежные паспорта реально существующих лиц, которые можно было рискнуть прописать в полицейском участке. Но вскоре Владимир Ильич заподозрил, что за их квартирой следят. Супруги опять поселились врозь и виделись обычно в редакции газеты «Новая жизнь». Ленин участвовал в издании легальных большевистских газет, выступал на собраниях и митингах. Крупская ему помогала, по-прежнему занимаясь главным образом канцелярской работой. Надежда Константиновна считалась секретарем ЦК, ведала перепиской с немногочисленными местными организациями РСДРП. О тех днях она вспоминала с воодушевлением: «Народу валило к нам уйма, мы его всячески охаживали, снабжали чем надо: литературой, паспортами, инструкциями, советами». Однако инструкции и советы не помогли в этот раз осуществить мечту большевиков о захвате власти вооруженным путем. После подавления в декабре 1905 года восстания рабочих Пресни в Москве, усилились репрессии против социалистических партий. Потребовалось усилить конспирацию.

Во время этого визита в Петербург Ленин и познакомился, в самом конце 1905 года, с Елизаветой К. Впрочем, таким ли было настоящее имя незнакомки, действительно ли с буквы К. начиналась ее подлинная фамилия, мы не знаем. Ведь ей приходилось скрываться не только от НКВД, где, очевидно, знали истинные анкетные данные ленинской знакомой, раз раньше платили ей субсидию. Скрывать свое прошлое приходилось, вероятно, и от парижских друзей, а возможно, и от мужа. Поэтому далеко не факт, что мемуаристку звали Елизаветой и что ее фамилия действительно начиналась на К. Но я буду называть ее этим именем, поскольку установить ее личность пока еще не удалось.

Вот что рассказала Елизавета К. о своей жизни до того, как произошла знаменательная встреча: «В это время я была еще очень молода, но уже успела выйти замуж и — уже — разойтись с моим мужем, который был не русской национальности. Как много других молодых дам и барышень петербургского общества той эпохи, я с одинаковым интересом относилась к самым различным и даже противоположным проявлениям духовной жизни столицы. Бывала в Вольно-экономическом обществе, где марксисты и антимарксисты ломали копья в диспутах на самые отвлеченные темы политэкономии. Посещала собрания писателей и поэтов декадентского толка. Ходила на митинги, где социал-демократы, большевики и меньшевики, и их противники, эсеры, предавали анафеме друг друга, чтобы с той же горячностью предавать затем анафеме «царизм». Мне случалось встречаться тогда с людьми, которые позже «вошли в историю». Я хорошо помню, например, В. Р. Менжинского, который тогда был молодым помощником присяжного поверенного и был, с одной стороны, тесно связан с довольно развратными и ультрабуржуазными кругами (в частности, с кружком поэта Кузьмина) (тонкий намек на нестандартную сексуальную ориентацию будущего заместителя и преемника Дзержинского, поскольку о гомосексуализме Михаила Кузмина было известно достаточно широко. — *Б. С.),* а с другой — с конспиративными организациями большевиков, что и позволило ему впоследствии… сделаться обер-главой советской Че-ки».

О знакомстве же с Лениным Елизавета К. вспоминала в почти эпической манере: «1905 год. Зима. Сильный мороз. Невский проспект покрыт снегом. В качестве эмансипированной и свободной женщины я иду обедать одна в небольшой кабачок-подвал, который находится в одной из боковых улиц близ Невского и посещается писателями, журналистами, артистами». Здесь Елизавета увидела своего знакомого, большевика Пэ-Пэ (так, инициалами, обозначает его мемуаристка). Вместе с Пэ-Пэ обедал, отдавая должное татарской кухне кабачка, какой-то незнакомец, который был представлен Елизавете Виллиамом Фреем. Девушка спросила: «Вы англичанин?» Ленин (а это был он) лукаво усмехнулся: «Не совсем». И оглядел ее взглядом, где любопытство было смешано с подозрительностью. Не укрылось от Лизы и то, что Виллиам Фрей почти обо всем говорил с презрительной усмешкой. Он в целом не произвел на нее сильного впечатления: «Голос его не был неприятен. Он очень сильно картавил. Рыжему цвету его волос курьезно соответствовали красноватые пятна, усеивавшие его лицо и даже руки. Но, в общем, в его внешности не было ничего особенного, и

признаюсь, я была очень далека от мысли, что я нахожусь в присутствии человека, от которого должна была зависеть судьба России».

Елизавета К. бывала в редакции «Новой жизни», где все тот же Пэ-Пэ давал ей для распространения подписку на большевистские издания (правда, знакомые Лизы подписывались плохо). Там и произошла новая встреча с Виллиамом Фреем. Лиза как раз выходила из редакции, а Ленин направлялся туда, одетый в меховое пальто и с толстым портфелем под мышкой. Узнали друг друга. Ленин поздоровался с девушкой за руку и был приветлив: «Как поживаете? Очень рад встретиться. Что же вы больше не ходите в татарский ресторан?» Елизавете слова Фрея хорошо запомнились: «Я понимала эту фразу как приглашение и, несколько дней спустя, говорила об этом Пэ-Пэ. Тот смеется: «А ведь это, право, забавно. Мой добрый товарищ Виллиам Фрей интересуется, конечно, женским вопросом, но больше с точки зрения последствий, социальных и политических. А чтобы он был способен заниматься этим вопросом на… индивидуальной почве, этого я бы никогда не предположил. А кроме того, знаете что? После нашего тогдашнего обеда он спрашивал меня, ручаюсь ли я за вас. Он человек, склонный к подозрительности, и избегает новых знакомств, чтобы не наскочить на провокатора или провокаторшу. Я должен был объяснить ему, кто вы такая. И сказал далее, что ваша квартира могла бы служить прекрасным местом для его «явок». Ведь Виллиам Фрей — крупная фигура, это он руководит нашей фракцией. В сущности — он наш признанный вождь». Как видно, Ленин не только не мог полюбить женщину, равнодушную к революции, но и ухаживать отваживался лишь за «вполне проверенной» особой. К тому же он предпочитал совмещать ухаживание с партийной работой.

Договорились, что один-два раза в неделю он будет приходить на квартиру к Елизавете для конспиративных встреч с товарищами по партии. Всего таких встреч было 10–12. Но 3 или 4 раза Лиза и Владимир Ильич оставались одни, поскольку те, кто должен был прийти, не приходили. Хозяйка предложила Ленину чашку чая: «Это было не так-то легко, потому что в эти дни я отпускала прислугу и приходилось самой «растоплять» самовар. Я сказала об этом Виллиаму Фрею, и он поспешил предложить мне свое содействие. Мы пошли на кухню, и он проявил себя очень способным «кухонным мужиком», наколов лучины для растопки самовара и раздув его изо всей мочи. Потом он помог мне отнести тяжелый самовар в столовую, и мы болтали за чашкой чая».

Однажды Фрей-Ленин спросил Елизавету, указывая на

стоящий в комнате рояль: «Вы играете?» — «А вы любите музыку?» — вопросом на вопрос ответила Лиза. «Люблю, — признался Ильич, — но ничего в ней не понимаю». Елизавета сыграла Патетическую сонату. Она очень хорошо запомнила, как Ленин слушал эту вещь: «Виллиам Фрей слушает внимательно и немного иронически, но когда я начинаю 3-ю часть сонаты, он воодушевляется и говорит: Вот, это очень хорошо!» — и просит меня снова сыграть начало 3-й части…»

Встречи наедине не проходят бесследно. Между 35-летним Владимиром Ильичом и Елизаветой К., которая, несомненно, была значительно младше его, возникает уже некоторая взаимная симпатия. Лиза рассказала об этом так: «Все это вместе взятое, «явки», где мой таинственный гость принимал не менее таинственных конспираторов, наш тет-а-тет за самоваром, который мы ставили вместе, ответственность, которую я несла за безопасность моего гостя, и доверие, которое он оказывал мне, — все это создавало между нами атмосферу близости. Но Виллиам Фрей совершенно не пользовался этим, чтобы ухаживать за мной. Он производил впечатление человека очень неловкого и мало опытного в обращении с женщинами и старательно избегал всех тех тем, которые большинство мужчин любят затрагивать, когда они находятся наедине с не старой и не очень безобразной женщиной. Но я инстинктивно чувствовала, что я ему нравлюсь. Однажды я обожгла себе руки угольком, выпавшим из самовара, который мой гость раздувал слишком сильно. Я вскрикнула от боли. Он обернулся и, схватив мою руку, поцеловал ее и потом покраснел, как провинившийся школьник. Вероятно, ему стало очень неловко, потому что, в этот день, он сократил свой визит, отказался слушать музыку и ушел со смущенным и недовольным видом. Обычно иронической и слегка презрительной усмешки не было и следа…»

Елизавете К. понадобилось на несколько недель уехать за границу. Поэтому Ленину пришлось прекратить «явки» на ее квартире. Когда же она вернулась в Петербург, Виллиама Фрея там уже не было. На вопрос Елизаветы К., куда пропал их таинственный знакомый, Пэ-Пэ сперва изобразил удивление, сделал вид, что забыл, кто такой Виллиам Фрей. А когда девушка напомнила обстоятельства их знакомства, признался, что не знает, где он и что с ним. Видимо, скрывается где-нибудь от ареста.

Владимир Ильич и Надежда Константиновна в апреле 1906 года отправились в Стокгольм на IV Объединительный съезд РСДРП. В мае они вернулись в Петербург. 9-го числа Ленин (под фамилией Карпов) с большим успехом выступил на митинге в

Народном доме графини Паниной, где были представители различных партий: кадеты, эсдеки, эсеры. Крупская продолжала выполнять функции связной и секретаря. Жили они с Лениным порознь.

Как-то летом 1906 года Пэ-Пэ пригласил Елизавету К. вместе сходить на массовку в Полюстрове, предупредив, что там выступят лучшие ораторы партии. Когда Елизавета услышала голос председателя: «Слово предоставляется делегату Центрального Комитета товарищу Ленину», она узнала в очередном ораторе Виллиама Фрея. Так произошло неожиданное разоблачение (хотя настоящую фамилию своего гостя Елизавета узнала еще позднее). Ленин вдохновенно говорил об «измене либеральной буржуазии», но, по наблюдению Елизаветы, он был оратор именно для пролетарской аудитории, говорил просто, в расчете на не слишком образованных слушателей. Через некоторое время появились казаки, и участникам массовки пришлось спасаться бегством. Спасаясь от казачьей нагайки, Лиза с ходу перепрыгнула через канаву, но тут же свалилась в другую. Когда казаки ускакали, девушка поднялась из своего невольного укрытия и увидела, что в ту же канаву упал и Виллиам Фрей. Он тоже поднялся и стал искать шляпу. Последующую сцену Елизавета описала так: «Мы смотрим сконфуженно друг на друга и разражаемся хохотом. Он узнает меня и говорит: «Это опаснее всякого самовара!»

В Петербург Лиза и Ленин возвращались вместе. Чтобы не попасться на глаза полицейским агентам, они добирались кружным путем: сначала до Лесного института, а оттуда на «паровой конке» (первом петербургском трамвае) до квартиры Елизаветы. Когда они шли по улице, Ленин в шляпе, Лиза в платке, девушка сказала своему спутнику: «Прохожие, вероятно, принимают вас за разряженного купчика, ухаживающего за горничной». Дома Елизавета дала Виллиаму Фрею щетку почистить одежду. Они опять пили чай за самоваром, ели бутерброды, и Ленин рассуждал о причинах провала демонстрации, виня в нем организаторов массовки. Лиза опять сыграла ему 3-ю часть Патетической сонаты, и Владимир Ильич ушел. Эта встреча не была последней. О том, что произошло дальше, рассказала Елизавета: «Уходя от меня, он обещал вскоре прийти опять. И, действительно, я вижу его у себя снова, через несколько дней. Затем… мы встречаемся еще несколько раз (многозначительное многоточие, его можно истолковать так, что теперь встречи с Виллиамом Фреем приобрели интимный характер. — *Б. С.).* Наши свидания всегда очень кратки. Он вечно спешит и вечно озабочен. Меня раздражает то, что он не дает мне

своего адреса. И не говорит ничего о себе лично. В сущности, это для меня таинственный незнакомец, появившийся передо мной из густого тумана, чтобы снова исчезнуть в нем. Но, может быть, это-то и привлекает меня…» Тут Лиза, дитя «Серебряного века», вольно или невольно привносит в свои воспоминания образ из знаменитого романа Андрея Белого «Петербург», написанного позднее их встреч с Лениным, уже в 1910-е годы. Там фигурирует революционер Дудкин, заявленный писателем одним из виднейших руководителей русской революции, подобно Ленину, потомственный дворянин. Дудкин, как и Ленин, лишь псевдоним. Настоящее же имя и фамилия персонажа Алексей Алексеевич Погорельский. И этот Дудкин, точь-в-точь как Виллиам Фрей, таинственным незнакомцем, как тень, возникает из тумана петербургских улиц перед сенатором Аблеуховым и вновь превращается в тень, возвращаясь в туманную мглу: «Петербургские улицы обладают одним несомненнейшим свойством: превращают в тени прохожих, тени же петербургские улицы превращают в людей. Это видели мы на примере с таинственным незнакомцем. Он, возникши как мысль, почему-то связался с сенаторским домом; там всплыл на проспекте, непосредственно следуя за сенатором в нашем рассказе». Вот так же и Виллиам Фрей для увлеченной революцией Лизы стал как бы материализацией ее смутного идеала — мужчины-революционера, способного увлечь за собой не только любимую женщину, но и массы.

О романе Ленина с Елизаветой К. Крупская ничего не знала. В апреле 1906 года сначала Владимир Ильич, а потом Надежда Константиновна отправились в Стокгольм на IV Объединительный съезд РСДРП. Перед отбытием в Швецию Ленин назначил Елизавете К. свидание в Летнем саду и сообщил любовнице, что должен ехать за границу на партийный съезд. «Куда?» — рискнула задать вопрос Лиза. «Я сам еще не знаю», — ответил Ильич. «Я спрашиваю потому, — объяснила Елизавета, — что тоже хочу ехать за границу. Значит, можно было бы встретиться». Ленин был в нерешительности: «Это… Это, пожалуй, не так удобно. Я буду все время занят на съезде, и вы соскучитесь одна». Девушка возразила: «Здесь я тоже соскучусь одна». «Хорошо, — сдался Ленин, — хорошо. Вы найдете меня в Стокгольме через две недели, но только не поезжайте туда через Финляндию, потому что так поедут все «нелегальные» делегаты на съезд. Поезжайте через Германию, через Засниц и, затем, через Треллеборг. В Стокгольме вы найдете Г. (это шведский социал-демократ). Вот его адрес. Вы скажете ему, чтобы он известил меня о Вашем приезде».

Через две недели Елизавета К., как и было договорено, появилась в Стокгольме, пришла к «товарищу Г.», у которого была «шевелюра, как у артиста, и пламенный взор». Она попросила его по-немецки: «Дайте мне адрес товарища Виллиама Фрея». «Какого Фрея? — удивился швед. — Я такого не знаю». «Но… Виллиама Фрея из Петербурга», — неуверенно повторила Лиза. «Не знаю», — стоял на своем Г. «Ленина», — наконец вымолвила посетительница. «А, товарища Ленина, — оживился шведский социал-демократ. — Вы — делегатка на русский конгресс?» «Да, — решилась-таки соврать Елизавета, опасаясь, что в противном случае Г. ей адрес Ильича вообще не даст. Г. попросил ее подождать, связался с кем-то по телефону и попросил Лизу придти в определенный час на следующий день. В указанное время она явилась опять и смогла переговорить с Лениным по телефону. Он назначил Лизе свидание на вечер следующего дня в одном стокгольмском ресторане. При этом Ленин предупредил, что если она увидит на месте встречи других русских, то должна сделать вид, что с ним не знакома, и дождаться, пока они уйдут. Тут Елизавета К. в первый и в последний раз в жизни встретилась с Иосифом Сталиным: «На другой день я в назначенном месте. Это — ресторан-автомат. Ленина нет. Вместо него я нахожу там двух кавказцев в высоких меховых шапках. Они возятся с автоматическим аппаратом и, должно быть, не могут разобраться в шведских названиях блюд и надписях, которые указывают, какую кнопку надо нажать, чтобы открыть желаемое блюдо. Один из них очень смуглый, с вьющимися немного волосами, черными глазами, и щеки у него попорчены следами оспы. Другой довольно красивый, с очень голубыми глазами… Входит Ленин. Оба кавказца бросаются к нему, и брюнет говорит: «Товарищ Ильич, объясни нам этот проклятый буржуазный механизм. Мы хотим получить бутерброд с ветчиной, а вместо этого все попадаем на пирожное». Ленин приводит в действие нужную кнопку. Кавказцы наполняют карманы бутербродами и удаляются.

«Это два делегата нашей кавказской организации. Славные ребята, но совсем дикари».

Долго спустя, я как-то перелистывала советские издания, и я узнала одного из этих стокгольмских «дикарей» в портрете Сталина».

Позднее напрямую столкнуться с кавказским «дикарем» и претерпеть от него оскорбление пришлось Надежде Константиновне. О том, что супруга Ленина была тогда на съезде, Елизавета К., разумеется, не знала.

В Стокгольме Лиза не знала, чем себя занять. Она вспоминала: «Мне скучно. Моего приятеля я почти не вижу. Он

все время занят на этом проклятом съезде. Только раз — это был праздничный день — он смог освободиться на несколько часов. Мы поехали в окрестности Стокгольма, взяли лодку и совершили прогулку по фиордам. Бесчисленные островки-утесы, покрытые соснами, среди зеленоватых лагун… Я сижу у руля и смотрю, как он гребет, крепко держа весла в своих мускулистых руках. Я гляжу на него, и мне приходит в голову мысль о том, что его ремесло профессионального революционера и интеллигента-марксиста совсем не то, что ему надо было бы делать. Ему следовало бы быть землепашцем, рыбаком, кузнецом, моряком. Я говорю ему это. Он смеется, по своему обыкновению. Я вспоминаю картины с северными пейзажами, романы Кнута Гамсуна. И говорю о них с Фреем.

«Да, — отвечает он. — Гамсун необыкновенный писатель. В «Голоде» он очень хорошо изобразил физиологические и психологические муки безработного, жертвы капиталистического строя».

А я-то, несчастная романтическая дура, — я совсем не думала о «Голоде». Я вспоминала «Историю лейтенанта Глана» и «Викторию»… Нет, действительно, мы говорим на разных языках, и наши головы устроены по-разному. Мне все более и более скучно. Чтобы убить время, я осматриваю город, дворцы, музеи. Но холодные красоты «Северной Венеции» не привлекают меня. В сущности, мне нечего делать здесь, кроме того, чтобы ждать снова перерыва в работе съезда Российской социал-демократии и надеяться, что этот перерыв позволит ему повидаться со мной… Я чувствую себя униженной и решаю уехать. Я покидаю Стокгольм, даже не известив Фрея о своем отъезде».

Обиду Лизы можно понять. Ехать за тридевять земель, да еще кружным путем, чуть ли не через пол-Европы для встречи с любимым человеком, а тот за две недели смог уделить ей лишь несколько часов. И даже разговор о литературе и искусстве свел к каким-то марксистским банальностям. Получается, что они не только люди разные, по возрасту и положению, но и говорят на разных языках, думают по-разному. Вероятно, Лиза не знала, что Крупская тоже была в этот момент в Стокгольме, и не столько загруженность съездовскими делами, сколько присутствие жены мешало Ленину встречаться с любовницей более или менее регулярно

После того, как 8 июля была распущена Дума и подавлены восстания в Свеаборге и Кронштадте, оставаться в Петербурге стало опасно. Ленин и Крупская перебрались в Финляндию, на станцию Куоккала, где поселились на даче, снимаемой одним социал-демократом. Надежда Константиновна постоянно

курсировала между Куоккалой и Петербургом, доставляя ленинские статьи и инструкции. Их она передавала на постоянной явке в Технологическом институте. Вскоре на даче в Куоккале поселилась и Елизавета Васильевна, взявшая в свои руки домашнее хозяйство.

Осенью 1906 года Владимир Ильич попытался возобновить роман с Елизаветой К. Он отправил строптивой возлюбленной краткое письмо с просьбой о встрече: «Напиши, не откладывая и точно, где именно и когда именно мы должны встретиться; а то может выйти задержка и недоразумения. Твой…» Любопытно, что каким именем подписывал Ильич адресованные ей письма, Елизавета ни разу не приводит. Может быть, «Виллиам Фрей»? Для конспирации.

На этот раз ответа от Лизы не последовало. Ленин и Крупская между тем жили как будто душа в душу. 27 июня 1907 года Владимир Ильич писал матери из приморского финского городка Стирсудден: «Здесь отдых чудесный, купанье, прогулки, безлюдье. Безлюдье и безделье для меня лучше всего». Надежда Константиновна в том же письме добавила: «Дорогая Марья Александровна, Володя не имеет обыкновения писать поклоны, и потому я сама за себя и за маму шлю Вам привет… Могу подтвердить, что отдыхаем мы отлично, разнесло нас всех так, что в люди неприлично показаться… Лес тут сосновый, море, погода великолепная, вообще все отлично. Хорошо и то еще, что хозяйства нет никакого». И это писалось в те дни, когда десятки и сотни революционеров, в том числе товарищей Ленина по партии, а также случайных лиц, ни в каких преступлениях против власти не замешанных, на собственных шеях узнали, что такое «столыпинский галстук», будучи повешены или расстреляны по приговорам «скорострельной юстиции» — военно-полевых судов. Через какое-нибудь десятилетие Ильич устроит такую кампанию бессудного террора, по сравнению с которой столыпинская эпоха смотрится чуть ли не образцовой в плане соблюдения прав человека, а военно-полевые суды — едва ли не идеальным судопроизводством.

После переворота 3 июня 1907 года, роспуска Думы и краха надежд на скорое наступление нового подъема революции даже в Финляндии для Ленина стало слишком опасно. В декабре 1907 года Владимир Ильич по льду переправляется в Швецию. Во время перехода через Финский залив он чуть не погиб, едва не угодив в полынью. Через несколько дней в Стокгольме к нему присоединилась Надежда Константиновна. Она добиралась более безопасным путем, по железной дороге, поскольку полиция не искала ее столь тщательно, как вождя большевиков, и риск при

пересечении границы по чужим документам не был слишком большим.

Супруги прожили в Стокгольме недолго. В начале января 1908 года Ленин и Крупская перебрались в хорошо знакомую им Женеву. Здесь все уже было привычно и, в отличие от Швеции, не было проблем с языковым барьером: и немецким, и французским оба владели вполне прилично.

Пока Ленин с супругой приводили в порядок свои дела и, в частности, обширный архив перед отъездом из Финляндии, Инесса Арманд была на пути в ссылку. На Николаевском вокзале в Москве она простилась с Александром и детьми. В Архангельск прибыла 21 ноября 1907 года. Здесь Инессу поместили в тюремную одиночку. Власти опасались, что ссыльная может попытаться сбежать. Следом в Архангельск приехал Владимир Арманд. Он хлопотал, чтобы жену оставили в Архангельске или, в крайнем случае, поселили бы в относительно цивилизованных Холмогорах или Пинеге. В медицинском заключении о состоянии здоровья Инессы говорилось, что она «одержима малярийной лихорадкой при упадке питания». Однако архангельский губернатор все равно определил для Инессы Федоровны

Арманд местом ссылки отдаленный от губернской столицы Мезенский уезд, а в этом уезде наиболее отдаленный «медвежий угол» — деревню Койда на самом побережье Белого моря.

В середине декабря 1907 года Инесса писала детям: «По приезде в Архангельск меня засадили в тюремный замок, где сообщения с волей очень затруднены, а оттуда я вышла только тогда, когда села в сани, чтобы ехать в Мезень… Когда мы прибыли в Мезень, меня сейчас же хотели отправить еще на сто верст дальше, в деревню Койду. Мне этого очень не хотелось, во-первых, потому, что туда почта неизвестно как ходит, и, пожалуй, останешься совсем без известий, во-вторых, там совсем нет политических, и потому было бы скучней. Удалось остаться в Мезени. В Мезени ссыльных около ста человек. Сам город состоит из двух параллельных улиц, между которыми короткие переулки — в общем, этот город не больше села Пушкино. В нем 2000 с чем-то жителей. Но все-таки есть школа, и больница, и почта, и телеграф, но почта приходит только два раза в неделю. И люди живут здесь не в юртах, а в избах с громадными печами, но сколочены избы плохо и плохо проконопачены, так что в них, что называется, ветер гуляет. Сегодня очень сильный мороз, а так как мы вчера по неопытности не протопили печи второй раз, то у нас вода замерзла в кадке и вообще в кухне был такой мороз, что руки стыли — так что, когда я мела и кофе варила, то все охала и метала шпильками в Володю, который обер-истопник. Он теперь

здорово научился топить и самовар ставить». Второй муж Инессы ничуть не уступал ее будущему любовнику в искусстве топить печь и ставить самовар. А Инесса, чувствуется, значительно превосходила Крупскую не только внешностью и остротой ума, но и в качестве домашней хозяйки.

Тогда же было отправлено письмо Александру Арманду. В нем Инесса признавалась: «Все переношусь мысленно к вам, в Пушкино… Большое, большое тебе спасибо за все твои хлопоты обо мне, я так тебе благодарна за все. Ты не знаешь, как я рада была вас всех повидать на московской станции: я ведь совсем этого не ожидала, и это была для меня очень большая радость. Твой букет я сохранила на память. Не знаю, как я проживу два года без детей, мне это подчас кажется невозможным, я все надеюсь, что удастся перебраться в Архангельск, туда ведь они могли бы приехать… О своем настроении писать не буду — оно изменчиво. В Архангельске оно было очень тяжело и ухудшалось еще лихорадкой — первое время здесь, в Мезени, возможность свободно передвигаться, видеть людей придавала мне бодрость, а теперь что-то опять невесело, но жаловаться не хочу: ведь в сравнении с другими мне очень, очень хорошо, но по детям тоскую…»

В следующем письме бывшему мужу, 14 января 1908 года, она характеризовала местный быт и, в особенности, подчеркивала тяжелую женскую долю: «Мезень такой же уездный городишко, как и всякий другой на Руси. Я никогда не видела Дмитров (туда Александр Арманд был выслан за участие в забастовке, о которой мы еще расскажем в другом месте. — *Б. С.),* но думаю, что он, верно, как два близнеца, похож на Мезень. Население здесь, правда, довольно дикое: у мужчин опасное, тяжелое ремесло — рыбная ловля, и они постоянно в отъезде — зимой они ловят главным образом навагу, летом — семгу, камбалу и т. д. И зимой в сорокоградусные морозы они эту самую рыбу таскают руками — даже страшно подумать. Тут не знаешь, как укрыться, а они руками лезут в воду и по целым дням сидят на морозе — правда, их спасает малица, это замечательная одежда, в которой нет совсем щелей, так как она цельная и надевается через голову; они ходят тоже на тюленей, но, кажется, редко. Женщины остаются дома, и все хозяйство лежит на них, так что они так много работают, что страшно подумать, — в некоторых деревнях неизвестны даже мельницы, и женщины, как древние невольники, мелют зерно на ручной мельнице».

Здесь же Инесса выражала тревогу, что ее могут выслать из Мезени в отдаленную деревню из-за того, что вместе с другими ссыльными 9 января поминала павших в «кровавое воскресенье».

Но обошлось. Александр хлопотал, чтобы Инессу отпустили за границу. Последовал отказ. Также не увенчались успехом хлопоты о переводе ссыльной в Архангельск.

Инесса в Мезени вернулась к профессии домашней учительницы. В мае она сообщала Александру: «Обедаю с двумя товарищами, с которыми я хорошо сошлась, так что теперь больше не готовлю сама — я этому довольна, так как это отнимало много времени. У меня много уроков — готовлю трех товарищей за четыре класса гимназии и двух просто обучаю русскому языку. Здесь очень много поляков, евреев, латышей, и вся эта публика совсем плохо справляется с русским языком, и приходится слышать самое разнообразное ломание русского языка, но в общем получается очень быстро. Некоторые приезжают сюда, не зная ни слова, и через несколько месяцев уже болтают».

Вскоре, весной 1908 года, Владимиру пришлось покинуть Мезень и перебраться в Швейцарию: у него резко обострился туберкулез легких из-за пребывания в холодном северном краю. Инесса осталась одна, и ее все больше стала заедать тоска. А тут еще привязалась лихорадка. Только-только оправившись от болезни, Инесса в августе 1908 года писала своим друзьям супругам Анне и Владимиру Аскнази: «Что Вам рассказать о своем житье-бытье: особенно хорошего, конечно, ничего здесь нет. Мезень — город мертвых и умирающих духовно, здесь нет ничего потрясающего или ужасного, как, например, на каторге, но здесь нет жизни, а люди здесь хиреют, как растения без влаги. Цивилизованные люди больших городов с их интенсивной жизнью и богатством интересов не могут ужиться в тихом мезенском болоте, и люди духовно хиреют, перестают быть приспособленными к той жизни, к которой они раньше привыкли и к которой они со временем вернутся. Здесь нет никаких интересов, никаких живых связей с населением, нет даже просто физической работы, или, если она есть, только временная и случайная, мускулы разучиваются работать, мозг интенсивно мыслить — и печально видеть, как товарищи приезжают сюда бодрые, полные энергии и затем увядают, тяжело констатировать тот же процесс и в самой себе. Конечно, чем энергичнее, сознательнее и деятельнее человек, тем дольше он держится — и наоборот. Итак, несмотря на благоприятные внешние условия, мы все задыхаемся в окружающей сытой мещанской среде от недостатка жизни».

От скуки и одиночества не спасали и партийные диспуты. В том же письме Инесса рассказывала: «Создали здесь организацию социал-демократическую. Сейчас же эсеры последовали нашему

примеру. Устраиваем рефераты, кружки, теперь хотим устраивать дискуссионные собрания с эсерами, хотя их силы здесь настолько слабы, что не знаю, насколько такие дискуссионные собрания будут продуктивны. Хотим также издавать листок социал-демократический — это было бы самое лучшее для нашей публики, так как ведь теперь собрания приходится устраивать под сурдинку, благодаря реакции».

К тому времени значительно возросло число ссыльных в Мезени — до 300, и это на две тысячи жителей. «Боже мой, какая теперь разношерстная публика попадает в ссылку! — восклицала Инесса все в том же письме к супругам Аскнази. — Народовцы (сторонники польской Национально-демократической партии, называвшиеся еще эндеками; они выступали против социал-демократов. — *Б. С.),* студенты (среди которых есть и такие, которые подают прошения на высочайшее имя), другие открещиваются от революции и тем более социализма и горько и громко раскаиваются в том, что из-за революции потеряли 2–3 года, другие пьют и кутят — вообще пьянство здесь очень сильное, — и большинство этой публики — анархиствующая или эсерствующая. Я должна сказать и повторить без всякого пристрастия, что вся социал-демократическая публика выгодно отличается и по уровню своих потребностей, и по своему образу жизни. Летом сюда высланы две довольно интересные социал-демократки — это очень приятно, и среди социал-демократов есть много хороших и близких товарищей. Меня поражает, что большинство здешних политиков жаждет лишь поверхностной агитации, требует т. н. этико-эстетической политики, совершенно не умеют и не желают глубже вдумываться в тот или иной вопрос (исключаю опять-таки социал-демократов). Этим я и объясняю, что здешние эсеры не могут иметь среди них успеха…»

Здесь прямо напрашивается сравнение двух ссылок: Ленина и Крупской в Шушенском, и Арманд — в Мезени. Совершенно очевидно, что Владимир Ильич и Надежда Константиновна на берегу Енисея от тоски и одиночества не страдали. Хотя, строго говоря, село Шушенское в еще большей степени заслуживало называться «медвежьим углом», чем уездный городок Мезень. И интеллигенции там практически никакой не было, и ссыльных не 300 человек, а, буквально, раз-два и обчелся: эстонец Энгберг и поляк Проминский. Правда, иногда наезжали в гости из окрестных сел товарищи по петербургскому «Союзу борьбы».

Думаю, здесь играло очень большую роль то, что Ульяновы были в ссылке вдвоем. Семья в каком-то смысле составляет самодостаточное целое, и ее члены могут достаточно полноценно существовать и в относительной изоляции от окружающих. Кроме

того, Владимир Ильич и Надежда детей не имели, домашним хозяйством вообще не занимались, имея в помощь тещу и прислугу, и поэтому могли целиком отдаваться прогулкам, охоте, рыбалке и литературному труду. Как отдыху, так и работе благоприятствовал благодатный климат Минусинской котловины с не слишком морозной зимой и теплым летом. Арктическая же тундра Мезени, суровый климат сами по себе действовали на ссыльных угнетающе. Но, наверное, еще важнее было то, что большую часть ссылки Инесса провела одна. Владимир жил вместе с ней в Мезени всего четыре месяца. Главное же, Инесса все-таки была во многом иным человеком, чем Крупская и Ленин. Она имела детей, очень любила их всех и очень без них тосковала. Революция значила для Инессы очень много, но преданность делу революции не была у нее столь всепоглощающей, как у вождя и его супруги (у Надежды Константиновны, впрочем, преданность мужу и преданность революции, по сути, совпадали). Арманд гораздо больше рефлектировала, отвлекалась размышлениями на темы эстетические и этические, порой ощущала раздвоенность и даже некоторое отчуждение от товарищей по партии. До самой смерти она сохранила самые теплые чувства к первому мужу, от революции, в общем-то, далекому, тогда как для Ленина и Крупской дружеские отношения не только с политическими противниками, но и с людьми, к политике и революции более или менее равнодушными, были просто невозможны.

Инесса благодарила недавно уехавшего Владимира за то, что тот подробно описал в письме свою встречу с детьми: «Я так ярко представила их себе в минуту встречи». И уже вырвавшись из Мезени, в письме к нему объясняла, как она стала социал-демократкой: «…Я на этот путь пошла позже других — марксизм для меня был не увлечением молодости, а завершением длительной эволюции справа налево (от либеральных начинаний к революционной борьбе. — *Б. С.*). На последних ступенях этой эволюции ты немало сделал для меня — благодаря тебе я многое усвоила и поняла лучше и скорее, потому что ты сам так верно и глубоко, так вдумчиво вникал в разные вопросы марксизма».

Арманд удалось бежать из Мезени только 20 октября 1908 года. Она смогла попасть в группу польских рабочих, уезжавших из Мезени на родину в связи с окончанием срока ссылки. Первое письмо Инесса послала Владимиру Арманду из Москвы 10 ноября: «Мой дорогой Володя, итак, я выбралась из окраины и нахожусь наконец в центре и с восторгом прислушиваюсь к шуму движущихся экипажей, к сутолоке толпы, смотрю на высокие многоэтажные дома, на трамваи, даже на извозчичьи клячи.

Милый город, как я люблю тебя, как тесно связана с тобой всеми фибрами своего существа. Я твое дитя и нуждаюсь в твоей суете, в твоем шуме, в твоей сутолоке, как рыба нуждается в воде… Чувствую себя недурно, в общем, очень радостно и возбужденно, хотя, несмотря на то, что нахожусь здесь уже около недели, никак не отдохну; но отдохну, конечно».

Вчерашняя ссыльная никак не могла надышаться вольным московским воздухом, не могла поверить, что вырвалась наконец из мезенского захолустья в столь милую сердцу столичную суету.

В середине декабря она писала Владимиру уже из Петербурга, где присутствовала на женском съезде: «Очень много, между прочим, уделялось времени на съезде вопросу о свободе любви. Сказать, чтобы окончательно по этому вопросу что-нибудь выяснилось, я не скажу, но кое-что наводило на новые вопросы, а следовательно, и способствовало выяснению их если не всем съездом, то во всяком случае отдельными личностями. В жизни есть одно противоречие: с одной стороны, стремление к свободе любви, и, с другой, то, что пока у женщины так ничтожен заработок, для большинства из них эта свобода недоступна, или уже тогда она должна оставаться бездетной… Мне как-то особенно захотелось выяснить себе что-нибудь по этому вопросу». Это вечное противоречие между свободой любви и материальной зависимостью жены от мужа волновало Инессу и семь лет спустя, когда она думала писать брошюру о свободной любви и переписывалась по этому поводу с Лениным.

27 декабря 1908 года Инесса отправила письмо Александру. Она признавалась, как одиноко ей было в ссылке после отъезда Володи и как одиноко теперь, поскольку все никак не удается увидеть детей: «Оказалось очень трудным устроиться с детьми… Мне ведь так хочется их поскорей увидеть. И не везет — мешает то одно, то другое. Подумай, вот уже скоро $1^1/_2$ года, что я их не видела…

Я провела праздники отвратительно — чувствовала себя ужасно одиноко и совсем впала в уныние. Я только теперь поняла вполне, как я была избалована жизнью, как я привыкла быть окруженной людьми, которые мне близки, которых я люблю и которые любят меня. И когда я подумаю о том, как мне стало невыносимо тяжело, когда я осталась совсем одинокой, тогда как столько людей всю жизнь одиноки, мне было даже неловко перед самой собой. А может быть, когда жизнь очень богата чувством, может быть, тогда и потребности больше. Во всяком случае такого одиночества, как здесь, на севере не было — потому что там, даже когда уехал Володя, были свои кругом, которые благодаря совместной жизни стали одной большой семьей. Но скажу, что

теперь чувствую себя бодрее и больше надеюсь, что в смысле личной жизни кое-что порядочное удастся устроить. В смысле общественной я тоже устроилась…»

Несколько дней спустя Инесса Арманд через Финляндию уехала за границу. Причина спешного отъезда заключалась в резком ухудшении здоровья Владимира, который находился в швейцарском санатории. В апреле 1909 года Инесса писала супругам Аскнази: «Мне пришлось уехать потому, что Владимиру внезапно стало хуже. Мне, к счастью, удалось очень быстро обставить свой отъезд. Уезжая, я, конечно, и не подозревала, что ему так худо, и думала, что предстоит лишь небольшая операция — вскрытие нарыва. Но ему внезапно, неожиданно даже для самих врачей, сделалось много хуже, и через две недели после моего приезда он умер. Для меня его смерть — непоправимая потеря, так как с ним было связано все мое личное счастье, а без личного счастья человеку прожить очень трудно. Так как я для работы сейчас совсем не гожусь — ведь для нее нужна бодрость и энергия, в особенности теперь (после поражения революции. — *Б. С.*), — а у меня ничего этого нет, то торчу здесь. До Пасхи сидела в одном маленьком французском городке, теперь переехала в Париж — хочу попытаться здесь позаниматься. Хочу познакомиться с французской социалистической партией; если я сумею, смогу все это сделать, то наберу хоть немного опыта и знаний для будущей работы». Очень, очень скоро ей суждено было встретить новое личное счастье, а заодно устроить и свою общественную жизнь.

Но пока что Ленин с Инессой еще не встретился. Зато неожиданно возобновились его отношения с Елизаветой К. Весной Лиза путешествовала по австрийскому Тиролю и Швейцарии. В Женеве зашла в русскую библиотеку, связанную, как она знала, с социал-демократами. Елизавета наудачу спросила адрес «товарища Ленина» у библиотекарши — красивой женщины, жгучей брюнетки. Та посмотрела на посетительницу с недоверием и поинтересовалась, зачем ей этот адрес нужен. Но потом вдруг воскликнула: «А вы не товарищ N, которую ждут из Петербурга?» Хотя названное имя Елизавете было абсолютно незнакомо, она, не задумываясь, подтвердила: «Да, я товарищ N…» «Так, значит, вы хотите видеть товарища Ильича» — заключила библиотечная дама. Не без труда Лиза сообразила, что Ильич — это и есть Виллиам Фрей. Ведь настоящего имени, отчества и фамилии своего любовника она по-прежнему не знала. Библиотекарша сказала, что Ленина сейчас в Женеве нет. Он в Париже, где завтра читает реферат (доклад). И библиотекарша протянула Лизе афишку, где было написано, что «товарищ Ленин

читает 12 мая 1908 года публичный реферат в Зале Ученых Обществ». На следующий день Елизавета К. была уже в Париже. У входа в зал толпились русские эмигранты. Лиза взяла билет на балкон, не рискнув появиться в первых рядах партера. Доклад Ленина прошел с большим успехом.

Елизавета К. следующим образом описала это выступление: «Здесь его речь производит на меня не меньшее впечатление, чем та, что я слышала два года назад на «массовке» в лесу под Петербургом. Обстановка здесь не та — не так романтична. Ленин говорит, в сущности, хорошо, но нет в его стиле и манере никакой тонкости. Почти вульгарно. Десять раз повторяет одну и ту же вещь, чтобы вбить ее как следует в головы слушателей, о развитии которых он не должен быть очень высокого мнения. Во время речи он ходит по эстраде, держа руки под мышками, в разрезах жилета. Когда он говорит о кадетах, меньшевиках и пр., он по-прежнему полон презрения к «предателям» и «оппортунистам». Но сам он, оказывается, склонен к некоторому оппортунизму, ибо советует своим сторонникам «использовать все легальные возможности и не бойкотировать выборы в Думу, как это рекомендуют некоторые из его партийных товарищей».

Насчет «оппортунизма» Ленина Елизавета К., как кажется, подметила точно. В той же «Иллюстрированной России» другой мемуарист, укрывшийся под псевдонимом «Летописец», в 1933 году в статье «Ленин у власти» (мы к ней еще вернемся) утверждал: «Как всякий доктринер, Ленин больше думал

о будущем, чем о настоящем. Но будучи доктринером, и в этом было отличие Ленина от большинства других доктринеров, Ленин не переставал быть и величайшим оппортунистом, а оппортунизм его сторонниками принимался и выдавался за реализм. Ленин никогда не брезговал никакими средствами для достижения своих целей». В справедливости этого последнего вывода Елизавете К. впоследствии пришлось убедиться, что и привело к ее окончательному разрыву с Лениным.

Пока же Лиза внимательно слушала речь Ильича. Разные чувства вызвало у нее это выступление: «Я… испытывала двойственное чувство: притягивающее и отталкивающее. Он кажется мне отстраненным, духовно бедным, плоским… Но в то же время я с удовольствием слышу его картавящий голос, вижу лукавые маленькие калмыцкие глаза.

Во время перерыва я спускаюсь с балкона и иду за кулисы. Там, в комнате за сценой, я нахожу Ленина, окруженного целой толпой. Подхожу. Он вытаращивает глаза, но овладевает собою и произносит шутливо и иронически: «Вы здесь? Каким ветром вас сюда занесло?» «Я приехала послушать лекцию. А, кроме того, у

меня к вам поручение от одного лица». И я вручила Ленину конверт, куда вложена записка с моим именем, адресом отеля, где я остановилась, и номером телефона, с указанием часа, когда ко мне можно телефонировать.

На другой день в указанный час вместо телефонного звонка — стук в дверь. Виллиам Фрей — с немного сконфуженным видом. Вместо приветствия я слышу: «А я уж думал, что вас давно и в живых нет». Спокойствие, с которым он произносит эту фразу, пугает меня. Он пожимает мне руку, хочет взять другую руку. Я высвобождаюсь и говорю: «Нет, мой друг. Это… Это все прошлое» (опять многозначительное многоточие, доказывающее, что тогда, в мае 1908-го, любовь к Ленину для Лизы на самом деле отнюдь не была прошлым. — *Б. С.)*.

Он делает жест, как бы намереваясь взять шляпу и уйти. Потом раздумывает и говорит с громким смехом: «В сущности, вы правы. Это — прошлое… А все-таки вы — интересная женщина, жаль только вот, что вы не социал-демократка». «Вы тоже очень интересный человек. Жаль, что вы только социал-демократ».

Он разражается еще более громким смехом, и теперь мы — я и он — чувствуем себя вдруг свободно. Что-то новое есть между нами. Доброе и откровенное приятельство и ничего другого. Мы болтаем, как старые друзья, о России, о Петербурге, о не-удавшейся революции, о Стокгольме… Когда я вспоминаю о нашей прогулке по фиордам, он замечает: «Это тогда я и понял, что вы не социал-демократка, ни на копейку. Вы читали всего Гамсуна, кроме «Голода». Я тоже увидела тогда, что вы — только социал-демократ. Вы ничего не читали из Гамсуна, кроме «Голода», а это самая посредственная его вещь». «Что вы хотите? — отвечает Фрей. — У каждого своя судьба, или, как вы, добрые христиане, выражаетесь, каждому — свой крест». И к моему удивлению, он цитирует мне стихотворение Жуковского, где рассказывается о человеке, перепробовавшем всевозможные кресты, чтобы выбрать наконец один… — тот самый, который он нес раньше».

Здесь Ленин ссылался на сделанный Василием Жуковским перевод маленькой поэмы («повести») немецкого поэта Адельберта фон Шамиссо «Выбор креста», где есть, в частности, такие строки:

Ни одного креста не мог он выбрать,
Хотя и все пересмотрел. И снова
Уж начинать хотел он пересмотр;
Как вдруг увидел он простой, им прежде
Оставленный без замечанья крест;

Был нелегок он, правда, был из твердой
Сработан пальмы; но зато, как будто
По мерке для него был сделан, так
Ему пришелся по плечу он ловко.
И он воскликнул: «Господи! Позволь мне
Взять этот крест». И взял. Но что же? — Он
Был самый тот, который он уж нес…

Ленин свой крест — дело социалистической революции в России и во всем мире — выбрал уже давно и нес до последних мгновений жизни. Разделить с ним эту ношу могла лишь та женщина, которая не только любила и была любима, но и сама активно участвовала в борьбе.

Прощаясь, они с Елизаветой К. договорились встретиться в Швейцарии и писать друг другу. Поддразнивая своего друга, Лиза сказала: «Надеюсь, что Ваши письма ко мне будут не слишком марксистскими». «Не бойтесь — рассмеялся Ленин. «Я шучу, — призналась Елизавета. — Напротив, пишите мне побольше о ваших эсдековских делах, только не на марксистском языке. Он скучен и малопонятен для меня». И осенью 1908 года в письме, написанном после долгого перерыва, Ильич опять вернулся, как и в записке двухлетней давности, к обращению на «ты»: «Давно я уже собираюсь писать тебе о «делах». Именно, хочу тебе изложить, что следует тебе перестать жить, как «птица небесная». На «птичку божию» ты походишь, конечно, потому что она «не знает ни заботы, ни труда». Птицы небесные, как известно, «не сеют, не жнут и не собирают в житницу», и ты им вполне уподобляешься, по моему глубокому убеждению… По-моему, тебе нужно заниматься самообразованием и устраивать личную жизнь в здоровой и удобной обстановке, не погружаясь, конечно, в эту обстановку a la Чириков (имеется в виду Евгений Чириков, известный русский писатель, в своих произведениях много внимания уделявший подробностям быта. — *Б. С.*), но чтобы жизнь была нормальна, без недохваток, и чтобы двигаться вперед умственно и по возможности оставить по себе память». Видно, не только дружеские чувства продолжал испытывать Ленин к Лизе.

Она ответила, что «совсем не недовольна своей жизнью». Самообразованием же займется с удовольствием, но при условии, что ее не заставят читать «Капитал» Маркса и не закуют «морально и интеллектуально в оковы партийности, которая доходит до невыносимой нетерпимости. Социал-демократу не позволяется даже писать в непартийной прессе. Хорошие писатели выбрасываются за дверь газеты, под предлогом, что они

не марксисты и т. д.». Елизавета К. намекала на события 1905 года в Петербурге, когда «Ленин разгромил целую редакцию одной газеты и прогнал оттуда превосходных сотрудников за то, что они были «недостаточно ортодоксальные марксисты».

Реакция Ленина на ее письмо Елизавету очень удивила. Он писал: «На твой запрос о «партийности» я отвечаю — конечно, в свободной партии нельзя накладывать на всех одинаковую узду и вводить устав вроде монастырских общин, как, например, обязательство не писать в непартийных органах. Все дело в том, что писать, а не где писать. Описывать какой-нибудь конгресс, демонстрацию, ход выборной борьбы, излагать парламентские дебаты — можно в чем угодно, но при одном условии, что редакция «обрабатывать» не имеет права. Маркс, например, сотрудничал в буржуазной прессе. В наших (русских) подцензурных журналах писали самые страшные французы, вроде Реклю, и наши эмигранты, конечно, под псевдонимами, потому что иначе их не пропустили бы, писали по многу лет — и ничего, кроме хорошего, не выходило». Тогда же Ленин просвещал Лизу насчет разницы в стратегии и тактике партийной борьбы: «О программе и тактике можно резюмировать так: программа остается, тактика меняется. Параллель — различие между оппортунизмом (французское слово) и компромиссом (английское слово). Оппортунизм — это приложение к обстоятельствам, сделки с совестью, уступки из своей программы, из заветного существа ее, влияния со стороны и ходы назад для приближения к власти и пирогу. Компромисс — это сделка с силой и — с силой все-таки родственной — хотя в некоторых стремлениях, — которые побороть не может, и движение вперед на меньший шаг, чем бы хотелось, но в том же направлении вперед, имея в виду при первом улучшении положения двинуться дальше. Споры о тактике не должны поглощать массу времени и вестись страстно, потому что тактика в разные периоды может быть даже противуположна — это нельзя считать ужасным противоречием себе, каким можно назвать изменение программы. Но и при неизменности программы — всегда можно согласиться, если нельзя иначе, пройти по своей дороге, указанной своим компасом, не десять шагов, а только два — опять-таки, повторяю, если нельзя иначе. Но при этом движении по своему пути можно ехать и по рельсам, и по шоссе на курьерских, и по непролазной грязи, и на великорусских клячах, и на малорусских быках, и на кавказских скакунах, и на кавказских же ишаках. Эти параллели относятся к тактике. А вот на раках ехать уже не придется, — разве только перевернуть их, впрочем, задом наперед, — так что даже в этом положении нет абсолютной невозможности. И, все-

таки, уж лучше двигаться, хоть на куриный носочек, чем застыть на месте…»

Ильич «немарксистским» языком пытался растолковать Лизе марксистские догмы и свое собственное понимание того, как нужно вести политическую борьбу. Он надеялся сделать из своей возлюбленной настоящую социал-демократку. Тогда можно было бы полностью преодолеть разрыв между долгом, как его понимал Ленин, и чувством. Как знать, если бы Лиза оказалась прилежной ученицей, не решился бы Ленин оставить Крупскую и соединить с ней свою судьбу?

Кстати, Ленин пытался заинтересовать Лизу входившим в моду в ту пору новым международным языком эсперанто. В начале 1909 года он предлагал выслать ей специальные брошюры об этом языке, отмечая, что на нем говорит уже до 1 млн. человек. Владимир Ильич считал, что эсперанто очень удобно использовать на международных конгрессах. Он отмечал, что язык «благозвучен» и прост — «грамматику можно изучить в несколько часов». Ленин, очевидно, надеялся использовать эсперанто на международных социалистических конференциях, где было бы немало делегатов, особенно из России, не владеющих основными европейскими языками. Он стремился к упрощению сложного, чтобы сделать сложное, в том числе и марксизм, доступным массе. Но Лизе, похоже, это стремление не очень нравилось — из-за отсутствия тонкости, которое бросилось в глаза еще в парижском выступлении Ленина.

Следующая встреча Виллиама Фрея и Елизаветы К. произошла в Швейцарии уже во второй половине 1909 года. О ней я расскажу в следующей главе. К тому времени произошло знакомство Ленина с Инессой, и чувства вождя большевиков в какой-то момент оказались разделены уже между тремя женщинами: Надеждой Крупской, Елизаветой К. и Инессой Арманд.

Эмигрантские романы: Ильич, Крупская, Инесса Арманд и Елизавета К

Сохранился рассказ большевички Елены Власовой о встрече Ленина с Инессой Арманд. Власова, знавшая Инессу по совместной работе в Москве, была поражена происшедшей в ней перемене: «В мае 1909 года я ее снова встретила уже в Париже, в эмигрантской среде. Первое, что у меня вырвалось при встрече, это возглас: «Что с вами случилось, Инесса Федоровна?» Инесса грустно ответила: «У меня большое горе, я только что похоронила в Швейцарии очень близкого мне человека, умершего от туберкулеза». Глаза Инессы были печальны, она очень осунулась и была бледна. Я поняла, что об этом больше говорить не следует, — Инесса страдает… Встреча эта произошла в одном из парижских «кафэ», где собиралась наша группа. Началось собрание. Владимир Ильич делал доклад. Инесса уже всей душой была здесь». Вероятно, в тот момент и зародилось ее чувство к Ленину. Но долго встречаться им в тот раз не пришлось. Осенью Инесса уехала в Брюссель, где поступила в университет. Через год она получила диплом лиценциата экономических наук — что-то близкое нашей нынешней степени кандидата наук. Вернувшись из Брюсселя в Париж, Инесса посещала Сорбонну, а в Берне, в первые месяцы после начала Первой мировой войны, у нее даже возникла мысль написать докторскую диссертацию. Однако занятость революционной работой заставила забыть о научной карьере.

Когда в ноябре 1909 года в Брюссель на заседание Международного Социалистического Бюро прибыл Ленин, их знакомство с Инессой получило продолжение. По его рекомендации летом 1910 года Арманд переехала в Париж. Они вместе с Лениным преподавали в партийной школе в Лонжюмо летом 1911 года. И между Ильичом и Инессой постепенно возникает любовь.

Интересно, что, судя по донесениям полицейской агентуры, обильно представленной среди слушателей школы, лекции Инессы в Лонжюмо не пользовались успехом: «История социалистического движения в Бельгии — 3 лекции; читала их эмигрантка «Инесса», оказавшаяся очень слабой лекторшей и ничего не давшая своим слушателям.

Инесса (партийный псевдоним, специально присвоенный на

время преподавания в школе) — интеллигентка с высшим, полученным за границей образованием; хотя и говорит хорошо по-русски, но, должно думать, по национальности еврейка; свободно владеет европейскими языками; ее приметы: около 26–28 лет от роду, среднего роста, худощавая, продолговатое, чистое и белое лицо; темно-русая с рыжеватым оттенком; очень пышная растительность на голове, хотя коса и производит впечатление привязанной; замужняя, имеет сына 7 лет, жила в Лонжюмо в том же доме, где помещалась и школа; обладает весьма интересной наружностью».

Здесь перепутано очень многое. Инесса, как мы знаем, — это паспортное имя нашей героини, а не партийный псевдоним. Другое дело, что товарищи по партии Инессу-Елизавету Федоровну Арманд обычно называли просто Инессой. В ней не было ни капли еврейской крови. Очевидно, еврейкой агент назвал Арманд потому, что именно к евреям полиция относила обыкновенно большинство революционеров неустановленной национальности, памятуя, что евреи среди всех национальных меньшинств в наибольшей степени представлены в революционном движении. И что очень характерно — агент омолодил Инессу на целых 10 лет — так молодо и привлекательно она выглядела. Несомненно, Инесса обладала очень интересной внешностью и обратила на себя внимание как Владимира Ильича, так и слушателей школы. Обратила внимание именно как симпатичная женщина, а не как замечательный лектор. Лектором Инесса, вполне вероятно, была неважным. Да и тема ее лекций, социалистическое движение в Бельгии, вряд ли была так уж интересна русским рабочим.

Внешность Инессы была особенно выигрышной на фоне внешности жены Ленина. Она также описана одним из слушателей школы в Лонжюмо, по совместительству подрабатывавшим в Московском Охранном Отделении: «Вся без исключения переписка школьников с родными и знакомыми велась через «Надежду Константиновну», жену Ленина, тесно соприкасающуюся с ЦО (Центральным Органом, в то время — газетой «Социал-Демократ». — *Б. С.)* и исполняющую как бы обязанности секретаря редакции. Письма «Надеждой Константиновной» пересылались в Бельгию и Германию и оттуда уже направлялись по назначению в Россию. Письма из России также направлялись в указанные выше местности, пересылались оттуда к ней и здесь уже распределялись между адресатами учениками. Имеются основания думать, что корреспонденция негласно просматривалась, и таким образом осуществлялся контроль за сношениями школьников.

Приметы «Надежды Константиновны»: «около 36–38 лет от роду, выше среднего или даже высокого роста, худощавая, продолговатое бледное с морщинками лицо, темно-русая, интеллигентка, носит прическу и шляпу; детей не имеет; живет с мужем и старухой матерью в Лонжюмо».

Выходит, что в Лонжюмо Крупская занималась почти тем же, что и агенты-провокаторы Охранки: перлюстрировала письма слушателей. Как и в случае с Арманд, автор полицейского донесения посчитал, что имя и отчество жены Ленина — всего лишь партийная кличка. А вот в возрасте Надежды Константиновны ошибся гораздо меньше, чем в случае с Инессой Федоровной, — всего лишь на 5 лет. И портрет Крупской дал, прямо скажем, малопривлекательный. Это описание прямо как фельетон можно читать, особенно если игнорировать знаки препинания: «продолговатое бледное с морщинками лицо, темно-русая интеллигентка, носит прическу и шляпу, детей не имеет, живет с мужем и старухой матерью в Лонжюмо». Возможно, агент тяготился своей должностью. Подозревая, что Надежда Константиновна тоже выполняет осведомительные функции — только в интересах Ленина, а не полиции, — он подсознательно перенес на нее ненависть к собственному малодушию.

Не исключено, что это описание Крупской подготовил рабочий из Иванова-Вознесенска С. Искрянистов. В Лонжюмо он был известен под псевдонимом «Василий», а охранному отделению — как агент «Владимирец». Надежда Константиновна вспоминала о «Василии»: «Он был очень дельным работником. В течение ряда лет занимал ответственные посты (в партии. — *Б. С.)*. Бедовал здорово. На фабрики его, как «неблагонадежного», никуда не брали, ему никак не удавалось найти заработок, и он с женою и двумя детьми жил только на очень маленький заработок своей жены-ткачихи. Как потом выяснилось, Искрянистов не выдержал и стал провокатором. Стал здорово запивать. В Лонжюмо не пил. Вернувшись из Лонжюмо, не выдержал, покончил с собой. Раз вечером прогнал из дому жену и детей, затопил печку, закрыл трубу, наутро его нашли мертвым».

Крупская так описала начало своего с Лениным близкого знакомства с Арманд: «В 1910 году в Париж приехала из Брюсселя Инесса Арманд и сразу же стала одним из активных членов нашей парижской группы. Она жила с семьей, двумя девочками и сынишкой. Она была очень горячей большевичкой, и очень быстро около нее стала группироваться наша парижская публика». Инесса, свободно владевшая французским языком, занималась им с недавно прибывшими эмигрантами, помогала им устроиться в большом и незнакомом городе, первое время

служила им вроде гида-проводника. Но Ленин, похоже, каких-то серьезных чувств к ней тогда еще не питал. Он по-прежнему был увлечен Елизаветой К.

Ильич и Лиза встретились вновь в августе или сентябре 1910 года в окрестностях Женевы. Ленин приехал туда не из Парижа, а с острова Капри, где виделся с Горьким. По воспоминаниям Елизаветы К., Владимир Ильич отзывался о знаменитом писателе далеко не однозначно: «О Горьком Ленин говорил с симпатией, но, вместе с тем, и с нескрываемой иронией. Он рассказывал мне, как он ездил с Горьким на рыбную ловлю. Лодка с двумя матросами. Один гребет. Другой насаживает червяка на крючок и подает удочку Горькому, которому остается только забросить леску в воду. Когда попалась рыба, матрос снимает ее с крючка, и так все время… Ленин говорил, шутя, что именно так русские помещики в крепостное время ловили рыбу со своей челядью».

Любопытно, что точно таким же образом ловил рыбу один из позднейших наследников Ленина на посту главы советского правительства Алексей Николаевич Косыгин. Он к тому же ловил в заповедных водоемах, где рыба сама беспрерывно прыгала на крючок, и потому никакого спортивного интереса рыбалка не представляла. Советские премьеры по части «рыбалки с челядью» давали фору русским помещикам! Кстати, ирония Ленина по поводу рыбалки Горького могла быть вызвана и завистью. Ведь, как мы помним, в Шушенском удача в рыбной ловле не сопутствовала Владимиру Ильичу, а проигрывать даже в мелочах он не любил.

Елизавета К. почувствовала, что у ее любовника и «буревестника революции» есть какая-то общая тайна: «Ленин, должно быть, любил Горького. Но было, несомненно, что-то скрытое от непосвященных, что связывало их. (Позже я узнала, что Горький был хранителем некоторых сумм, принадлежавших партии, но происхождения темного: деньги, «добытые экспроприациями и пр.) Ленин был очень недоволен «идеологическим» окружением Горького, который, по его мнению, был слишком связан с «ревизионистами» ортодоксального марксизма, среди которых одни хотели исправить теорию Маркса, примешивая к ней «мелкобуржуазные» идеи каких-то немецких и австрийских философов, а другие (Луначарский) шли еще дальше и хотели превратить марксистский социализм в новую религию».

Денежные тайны у Ленина, безусловно, были, и не только в отношениях с Горьким, через которого, в частности, было получено 100 тыс. рублей из наследства Саввы Морозова. Это была страховая премия на случай смерти миллионера, застрелившегося в Каннах 26 мая 1907 года. Савва Тимофеевич

завещал эти деньги жене Горького М. Ф. Андреевой, которая и передала их большевикам Ленину, Красину и Богданову. Однако издание партийной литературы и содержание нигде не работающих профессиональных революционеров обходилось в копеечку. Деньги нужны были постоянно.

Вообще, ни одна политическая партия без достаточного финансирования не стоит на практике ничего, как бы не были привлекательны для масс ее лозунги. А для получения денег на революцию все средства были хороши. Например, большевикам удалось получить значительную часть наследства сочувствовавшего им мебельного фабриканта и племянника С. Т. Морозова Николая Павловича Шмита методами, которые больше пристали брачным аферистам. Сам Шмит был арестован по делу о декабрьском вооруженном восстании в Москве и покончил с собой в тюрьме в феврале 1907 года. Две его сестры-наследницы Екатерина и Елизавета вышли замуж за большевиков Андриканиса и Таратуту, которым Ленин поставил задачу передать шмитовские деньги в распоряжение партии,

Виктор Таратута образцово выполнил поручение. 21 февраля 1909 года его жена Елизавета передала большевикам все доставшиеся ей от брата деньги и акции, что и было оформлено специальным протоколом заседания расширенной редакции большевистской газеты «Пролетарий» в Париже под председательством Ленина. А вот Андриканис убедил свою несовершеннолетнюю жену Екатерину, что гораздо лучше шмитовский капитал оставить себе и безбедно жить на него в славном городе Париже. По этому поводу Ленин продиктовал Инессе Арманд письмо, где отмечалось, что «одна из сестер, Екатерина Шмит (замужем за господином Андриканисом), оспорила деньги у большевиков. Возникший из-за этого конфликт был урегулирован третейским решением, которое было вынесено в Париже в 1908 году при участии членов партии социалистов-революционеров… Этим решением было постановлено передать деньги Шмита большевикам». Но Андриканис в итоге передал партии Ленина только незначительную часть наследства, а когда ему стали грозить партийным судом, заявил о выходе из партии.

Однако и суммы, полученной через Таратуту, вполне хватило бы для безбедной жизни. Ленин получил более четверти миллионов франков, а по некоторым оценкам — даже значительно больше, чем полмиллиона. Однако в начале 1910 года под давлением Международного Социалистического Бюро была предпринята попытка объединения большевиков и меньшевиков. В результате деньги из шмитовского наследства поступили в распоряжение так называемых «держателей» —

авторитетных германских социал-демократов Карла Каутского, Франца Меринга и Клары Цеткин. Они должны были выдавать средства представителям обеих фракций российской социал-демократии. В дальнейшем Ленин пытался добиться права для большевиков единолично использовать наследство Шмита и привлек к решению этой задачи Инессу Арманд.

Но вернемся к рассказу Елизаветы К. Не только о философских проблемах говорил с ней Ленин. Влюбленные гуляли на роскошной альпийской природе. Ленин приезжал к своей возлюбленной на велосипеде. Будучи хорошим велосипедистом, хотел и ее обучить велосипедной езде, но Лиза отговорилась тем, что «дама на велосипеде имеет вид комичный и неграциозный». Они также играли в шахматы. Ильич эту игру очень любил, а Лизе она давалась с трудом. В связи с этим Ленин заметил: «До сих пор я еще не встречал ни одной женщины, которая умела бы делать три вещи: читать и понимать «Капитал» Маркса, играть в шахматы и разбираться в железнодорожном путеводителе». Лиза ответила: ««Капитал» и шахматы — вещи скучные, а женщины не любят скучных вещей. Что же касается железнодорожных указателей, то женщины превосходно могут в них разбираться, но часто притворяются, что не умеют, для того, чтобы иметь предлог завести разговор со спутником по купе». В память об этом разговоре у Елизаветы К. сохранились маленькие шахматы, в которые они тогда играли и которые Ленин ей подарил.

Однажды Владимир Ильич и Лиза остановились на берегу озера Леман. Елизавета К. вспоминала: «Была великолепная погода. Озеро было лазурным. Воздух — как бокал шампанского. Мы сидели на скале, над озером. Ленин вытащил вдруг из кармана книгу и принялся читать, изрекая по временам проклятья по адресу автора и делая пометки на полях и обложке. О моем присутствии он совершенно забыл. Я рассердилась и спросила: «Что вы читаете?» «Ну, это для вас не интересно». «А тогда зачем же вы берете с собой на нашу прогулку книги, которые для меня не интересны?» Я рассердилась до того, что вырвала у него книгу из рук. Обложка разорвалась, и кусок ее улетел в озеро. «Ты с ума сошла! — закричал он. — Эта книга не моя. Это книга А… Он дал мне ее на прочтение». «Оставьте мне ее. Я куплю другой экземпляр, и вы отдадите его вашему А…» Мы вернулись с прогулки, и книга осталась у меня на много лет. Еще и сейчас я сохранила кусок изодранной обложки».

В этой сцене бросается в глаза то обстоятельство, что Лиза обращается к Ленину на «вы», а он к ней — на «ты». Скорее всего, «вы» здесь вызвано раздражением, что охватило Елизавету К.,

когда она решила, что Ильич ею пренебрегает. Потому и обратилась к нему холодно и подчеркнуто официально. Но, может быть, у них так это было принято всегда, из-за разницы в возрасте, она его — на «вы», а он ее — на «ты».

Крупская об этих прогулках мужа с Елизаветой К., разумеется, ничего не знала. И вообще, судя по всему, находилась в то время в Париже, куда они с Ильичом переселились еще в декабре 1908 года. Инесса же тем временем становилась все более необходимым вождю человеком. Она переводила на французский его речи и рефераты. Арманд сделалась секретарем Комитета Заграничной организации РСДРП. Когда в августе 1910 года Ленин с немалым трудом достал два билета на Копенгагенский конгресс II Интернационала, один из них он отдал Инессе. Крупская в статье, посвященной памяти Инессы Арманд, вспоминала: «Зимой 1911 года она с детьми поселилась в доме рядом с домом, где мы жили тогда Мы виделись каждый день. Инесса стала близким нам человеком. Очень любила ее и моя старушка-мать. Инесса умела всегда ее разговорить; светлело в доме, когда Инесса приходила. Никогда ни к чему Инесса не относилась равнодушно, всегда все близко принимала к сердцу».

А в некрологе писала еще проникновеннее: «Эмиграция — тяжелая штука. Нужда, безработица, невозможность для большинства приспособиться к революционному движению чужой страны, оторванность, тоска по живой работе сломили не одну силу. Мне приходилось видеть, как удивительно быстро тускнели, выдыхались очень многие товарищи, приехавшие из России полными энергии… Инесса принадлежала к числу людей, которые не растворяются в среде, а сами влияют на нее. И Инесса внесла новую струю в нашу эмигрантскую жизнь. В ней не было и тени душевной усталости, она горячо относилась ко всему, всегда имела свое собственное мнение по тому или иному вопросу и горячо отстаивала его… Горячность Инессы, ее душевная бодрость вместе с замечательно хорошим отношением к людям делали ее душой группы большевиков…»

Тогда, в Париже, Инесса действительно еще не знала душевной усталости. Эта усталость появится позже, в России, уже после победы большевиков…

А пока что Инесса подает пример бодрости и оптимизма другим русским эмигрантам. Такой запомнил нашу героиню и старый большевик Г. Н. Котов: «Как сейчас вижу ее, вышедшую от наших Ильичей. Ее темперамент мне тогда бросился в глаза. Несмотря на свои достаточно солидные годы, она была с юношеской революционной душой. Казалось, жизни в этом человеке неисчерпаемый источник. Это был горящий костер

революции, и красные перья в ее шляпе являлись как бы языками этого пламени».

Об этих же днях оставил свидетельство А. С. Гречнев-Чернов: «В Париже, недалеко от улицы Толбияк, идущей прямо к парку Монсури, жила Инесса Федоровна Арманд, одна из активных работников партии. Она сняла комнату у находящегося в эмиграции уральского рабочего И. П. Мазанова. Я знал Мазанова по нелегальной работе в Донбассе. Посещая земляка, я довольно близко познакомился с И. Арманд. Этому помогли наши совместные занятия музыкой: я играл на скрипке, а она на рояле, который брала напрокат. Играла она много, хорошо владела техникой игры и обладала чувством настоящего музыканта.

Владимир Ильич охотно слушал нашу игру. Он часто приходил к И. П. Мазанову, которого знал по ссылке в Сибири. С Инессой Арманд, которую Владимир Ильич очень ценил как работника, его также связывали дружеские узы. Иногда с ним приходила и Надежда Константиновна. Играли мы самые разнообразные вещи: и ноктюрны Шопена, и сонаты Бетховена; играли Моцарта, Баха, Венявского, Шумана, Шуберта, вариации Берио.

Владимир Ильич усаживался в кресло позади рояля и молча слушал. Владимир Ильич очень любил музыку и понимал ее. Он восторгался отдельными местами из сонат Моцарта, где торжественно и величественно звучали аккорды, он увлекался сонатами Бетховена, любил бурного и темпераментного Баха, спокойную, душевную музыку Шопена, Шуберта, Шумана, высокую технику вариаций Берио. Некоторые вещи, такие, например, как ноктюрн Шопена в ми-бемоль или «Легенда» Венявского, он просил повторять».

Как и в случае с Елизаветой К., музыка сыграла большую роль и в отношениях Ленина с Инессой Арманд. Можно сказать, что его роман с Инессой, превосходной пианисткой, развивался под пленяющие звуки Моцарта и Бетховена, Шопена и Баха.

Летом 1912 года Инесса Федоровна Арманд вместе с другим партийцем, Георгием Ивановичем Сафаровым, отправилась нелегально в Петербург, чтобы активизировать работу местных большевиков в преддверии выборов в Государственную Думу. Ехала она с паспортом польской крестьянки Франциски Казимировны Янкевич. По дороге заехала в краковское предместье Звежинец, где с 22 июня 1912 года жили Ленин и Крупская. Там Инесса задержалась на два дня, получив от Ильича необходимые адреса и явки. В Питер Арманд и Сафаров прибыли благополучно, провели там больше двух месяцев, посетили несколько собраний рабочих, где агитировали за одобренных

Лениным кандидатов в Думу. Инесса установила связь и с Александром Армандом. От тех дней сохранилась ее записка бывшему мужу: «Спасибо за присланные деньги, они пришли как раз вовремя, а то я сидела совсем без гроша. Живу я хорошо, очень занята, очень много бегаю и мало сижу дома. Погода последние дни была очень холодная, и к тому же всюду здесь так сыро — одним словом, я здорово простудилась, и меня через день лихорадит. Принимаю хинин, и, вероятно, дня через два все обойдется». С малярией, действительно, все обошлось. А вот с полицией — нет.

О печальном финале их миссии Сафаров рассказал так: «12 сентября приехал в Питер бежавший из ссылки товарищ Сталин. 14 сентября я, Инесса и еще кое-кто из Петербургского Комитета были арестованы. Но организация уже стояла на крепких ногах, и провал наш не помешал провести т. Бадаева рабочим депутатом Красного Питера». Всего тогда арестовали 20 человек.

Думаю, соседство двух дат, 12 и 14 сентября, здесь не случайно. Сафаров во внутрипартийной борьбе поддерживал Троцкого против Сталина и сгинул в волнах террора 30-х годов. Вполне возможно, что в мемуарной статье 1926 года об Инессе Арманд он хотел намекнуть, что провал питерской организации был так или иначе связан с приездом Сталина. То ли Иосиф Виссарионович пренебрег конспирацией и привел на явку «хвост». То ли, вообще, Сталин был тайным агентом охранки, разговоры о чем не утихают уже несколько десятилетий. Крупская в 30-е годы о том же эпизоде писала куда осторожнее, чтобы у читателя не возникло никаких подозрений насчет Сталина: «В Петербурге выборы уполномоченных по рабочей курии были назначены на воскресенье 16 сентября. Полиция готовилась к выборам. 14-го были арестованы Инесса и Сафаров. Но не знала еще полиция, что 12-го приехал бежавший из ссылки Сталин».

Инесса снова оказалась за решеткой. 27 сентября на допросе она заявила, что, как записано в протоколе, «прибыла из-за границы с целью устроить своих детей в учебные заведения, принадлежности своей к РСДРП не признала и дать более подробные о себе сведения отказалась». Александр Евгеньевич Арманд внес за жену залог в 5400 рублей и за Сафарова — еще 500. Он прекрасно знал, что эти деньги — потерянные, поскольку обвиняемые наверняка до суда скроются за границей. Не строили никаких иллюзий на этот счет и в полиции. Просто там полагали не лишним пополнить государственную казну хотя бы такой суммой и считали, что Инесса Арманд и Георгий Сафаров настоящую опасность для власти представляют только здесь, в России, а не в Париже или Женеве. 20 марта 1913 года Инесса

вышла на свободу. Весну и лето она провела с детьми на Волге. Суд должен был состояться 27 августа 1913 года, но к тому времени Инессы и след простыл. Через Финляндию она въехала в Стокгольм, а оттуда направилась в Галицию к Ленину. Ее приезд в сентябре пришелся как раз на время работы социал-демократической конференции в Поронине. Крупская вспоминала: «В середине конференции приехала Инесса Арманд… Энергии у ней не убавлялось, с еще большей страстностью относилась она ко всем вопросам партийной жизни (только ли партийной? — *Б. С.)*. Ужасно рады были мы все, краковцы, ее приезду… После совещания мы прожили в Поронине еще около двух недель, много гуляли, ходили как-то на Черный Стан, горное озеро знаменитой красоты, еще куда-то в горы.

Осенью мы все, вся наша краковская группа, очень сблизились с Инессой. В ней много было какой-то жизнерадостности и горячности. Мы знали Инессу по Парижу, но там была большая колония, в Кракове жили небольшим товарищеским замкнутым кружком. Инесса наняла комнату у той же хозяйки, где жил Каменев. К Инессе очень привязалась моя мать, к которой Инесса заходила часто поговорить, посидеть с ней, покурить. Уютнее, веселее становилось, когда приходила Инесса. Вся наша жизнь была заполнена партийными заботами и делами, больше походила на студенческую, чем на семейную жизнь, и мы рады были Инессе. Она много рассказывала мне в этот приезд о своей жизни, о своих детях, показывала их письма, и каким-то теплом веяло от ее рассказов. Мы с Ильичом и Инессой много ходили гулять. Зиновьев и Каменев прозвали нас «партией прогулистов». Ходили на край города, на луг (по-польски — «блонь»). Инесса даже псевдоним себе с этих пор взяла — Блонина. Инесса была хорошим музыкантом, сагитировала сходить всех на концерты Бетховена, сама очень хорошо играла многие вещи Бетховена. Ильич особенно любил «Sonate pathetique», просил ее постоянно играть, — он любил музыку…

Сначала предполагалось, что Инесса останется жить в Кракове, выпишет к себе детей из России; я ходила с ней искать квартиру даже, но краковская жизнь была очень замкнутая, напоминала немного ссылку. Не на чем было в Кракове развернуть Инессе свою энергию, которой у ней в этот период было особенно много. Решила она объехать сначала наши заграничные группы, прочесть там ряд рефератов, а потом поселиться в Париже, там налаживать работу нашего комитета заграничных организаций. Перед отъездом ее мы много говорили о женской работе. Инесса горячо настаивала на широкой постановке пропаганды среди работниц, на создании в Париже

специального журнала для работниц, и Ильич писал Анне Ильиничне о необходимости издавать такой журнал, который вскоре и начал выходить».

Легко убедиться, что внезапный отъезд Инессы из Кракова Надежда Константиновна объясняет исключительно соображениями «революционной целесообразности». Мол, Арманд с ее колоссальной энергией и обширными планами было тесно в галицийском захолустье. Правда, сразу же возникает законный вопрос: почему же сам Ильич блестящему Парижу с большой колонией русских эмигрантов предпочел не столь блестящий Краков, где его окружала лишь небольшая группа единомышленников? Или энергии у Ленина было меньше, а замыслы не столь грандиозны?

Сам он объяснял переезд в Галицию (в Кракоз, а позднее — совсем уж крохотное Поронино) необходимостью быть ближе к России, поддерживать связь с товарищами на Родине. К тому же большинство парижской эмигрантской публики не принадлежало к большевикам, а общение с «ревизионистами» и «оппортунистами» Ленину никакого удовольствия не доставляло. Недаром Ильич их крыл чуть ли не матом и устно, и письменно. Вообще, как мы помним, он любил «безлюдье», а курортные места в Карпатах идеально подходили для отдыха.

Инесса была несколько другим человеком. Она сильнее, чем Ильич, тянулась к обществу, к большой компании. И, похоже, не отвергала более тесное сотрудничество с революционерами, не принадлежавшими к большевистской фракции. В Московском Охранном Отделении, например, имелись агентурные сведения, что Инесса после возвращения из России в 1913 году вступила в контакт с эсерами. Так ли это было на самом деле, мы достоверно не знаем и сегодня. Но вот в чем не приходится сомневаться, так это в том, что отъезд Инессы из Кракова ничего общего не имел с теми причинами, на которые ссылается Крупская. Всю свою энергию, всю свою страсть в тот момент Инесса готова была направить не на чтение рефератов и канцелярскую писанину, а исключительно на одного человека — мужа Крупской и вождя большевиков.

Теперь можно уже с уверенностью утверждать: в Кракове осенью 1913 года Инесса Арманд влюбилась во Владимира Ленина. Об этом свидетельствует ее письмо Ленину, написанное в декабре 1913 года. Похоже, это было вообще первое письмо Инессы Ильичу, положившее начало их многолетней переписке. Оно настолько важно, что должно быть приведено полностью:

«Дорогой, вот я и в ville Lumiere (светлый город (фр.). — *Б. С.),* и первое впечатление отвратительное. Все раздражает в нем

— и серый цвет улиц, и разодетые женщины, и случайно слышанные разговоры, и даже французский язык. А когда подъехала к boulevard St. Michel, к орлеанке, парижские воспоминания так и полезли изо всех углов, стало так грустно и даже жутко. Вспоминались былые настроения, чувства, мысли, и было жаль, потому что они уже никогда не возвратятся вновь. Многое казалось зелено-молодо — может быть, тут и пройденная ступень, а все-таки жаль, что так думать, так чувствовать, так воспринимать действительность уже больше никогда не сможешь — и пожалеешь, что жизнь уходит. Грустно было потому, что Ароза была чем-то временным, чем-то переходным, Ароза была еще совсем близко от Кракова, а Париж — это уже нечто окончательное. Расстались, расстались мы, дорогой, с тобой! И это так больно! Я знаю, я чувствую, никогда ты сюда не приедешь! Глядя на хорошо знакомые места, я ясно сознавала, что никогда раньше, какое большое место ты еще здесь, в Париже, занимал в моей жизни, что почти вся деятельность здесь, в Париже, была тысячью нитей связана с мыслью о тебе. Я тогда совсем не была влюблена в тебя, но и тогда я тебя очень любила. Я бы и сейчас обошлась без поцелуев, только бы видеть тебя, иногда говорить с тобой было бы радостью — и это никому бы не могло причинить боль. Зачем было меня этого лишать? Ты спрашиваешь, сержусь ли я за то, что ты «провел» расставание. Нет, я думаю, что ты это сделал не ради себя.

Много было хорошего в Париже и в отношениях с Н. К. В одной из наших последних бесед она мне сказала, что я ей стала дорога и близка лишь недавно. А я ее полюбила почти с первого знакомства. По отношению к товарищам в ней есть какая-то особая чарующая мягкость и надежность. В Париже я очень любила приходить к ней, сидеть у нее в комнате. Бывало, сядешь около ее стола — сначала говоришь о делах, а потом засиживаешься, говоришь о самых разнообразных материях, может быть, иногда и утомляешь ее. Тебя я в то время боялась пуще огня. Хочется увидеть тебя, но лучше, кажется, умерла бы на месте, чем войти к тебе, а когда ты почему-либо заходил в комнату Н. К., я сразу терялась и глупела. Всегда удивлялась и завидовала смелости других, которые прямо заходили к тебе, говорили с тобой. Только в Лонжюмо и затем следующую осень в связи с переводами и пр. я немного попривыкла к тебе. Я так любила не только слушать, но и смотреть на тебя, когда ты говорил. Во-первых, твое лицо так оживляется, и, во-вторых, удобно было смотреть, потому что ты в это время этого не замечал. Мне еще грустно и ужасно жутко потому, что я боюсь Тамары.

Да, я ужасно боюсь Тамары. Ее смерть — это ужас, который я не могу вполне преодолеть и который вместе с тем имеет что-то притягивающее. На некоторых людей идущие поезда действуют так же — и страшно, и тянет. А самое ужасное — это то, что мне иногда приходит в голову мысль, что я хотя и невольно, но немного виновата в ее смерти! Никак я не могу совсем отделаться от этого чувства, а сейчас так охвачена им, что не могу удержаться, хочу рассказать тебе, как было дело. Если тебе покажется скучно — ты не читай, c'est entendu (договорились (фр.). — *Б. С.)* (для удобства у начала и конца поставлены кресты), но сейчас очень хочется говорить об этом.

С Тамарой мы познакомились в Париже. И как-то сразу привязались друг к другу. Она бывала у нас каждый день, проводила целые дни с нами, стала членом нашей семьи, чем-то вроде старшей дочери или младшей, очень любимой сестры. Она была много моложе меня, и в моем чувстве к ней было, несомненно, много материнского. Она была очень одинока и любила мою ласку — помню, часто даже просила приласкать ее, и я ласкала ее так же, как ласкала своих детей. В ее привязанности ко мне, несомненно, был элемент восторженности. Мы очень любили проводить вечера вместе. Дети лягут спать, Савущка сидит у себя, в доме наступала полная тишина. Мы сидим в моей комнате — чаще она в моем кресле, а я на ковре, близко к ней, иногда наоборот, — и мы говорим, говорим о самых разнообразных вещах, иногда до поздней ночи. То наш разговор носил очень интимный характер — говорили о собственной жизни, то спорили или говорили о самых разнообразных вопросах. Она была умный и, пожалуй, даже талантливый человек. Не знаю, бывают ли такие разговоры между мужчинами, но уверяю тебя, это очень хорошо. Эти разговоры нас все больше сближали.

Но однажды гармония была нарушена. Прекрасно помню обстановку, при которой это произошло. Дети и Савушка были в гостях, мы с ней были одни в доме. Были зимние сумерки, топилась печка, и мы открыли дверцы печки, чтобы было теплее. Она сидела на корточках перед самым огнем, а я рядом с ней на корзине. Заговррили о том, какова должна быть жизнь социал-демократа. Она уверяла, что социал-демократ должен отказаться от всего — от любви, от семьи, должен знать только дело, жить только для него. Меня это очень взволновало. И не только потому, что я противница аскетизма и считаю его сейчас бесполезным для дела, но и потому, что мне казалось, что и в ее устах это только слова. У нашей русской интеллигенции слова и даже убеждения очень и очень часто расходятся с делами. Идеи, слова всегда великолепные и самые передовые, ну а дела часто мизерные, если не хуже. Этим,

пожалуй, в некоторой степени, в малой степени, допустим, страдает и наша социал-демократическая интеллигенция. Я знаю, что это исторически объяснимо, что это несчастье нашей интеллигенции и пр. Я знаю, но все же эта черта мне особенно противна. Мне было очень больно увидеть в Тамаре ненавистную черту. Для меня это было пятном, которое безобразило весь ее образ, которое очень хотелось поскорее стереть и уничтожить. С этого дня мир между нами кончился. Я не упускала случая попрекнуть ее, ловила ее на каждом слове, на каждом поступке, твердила: вот твои слова, а вот твои дела, говоришь, всем надо пожертвовать, а сама без нужды сидишь за границей. Я не жалела насмешек, я, кажется, право, была беспощадна. Конфликт следовал за конфликтом, и так как мы любили друг друга, нам было очень больно, но тем страстнее, тем раздражительнее становились наши споры. И Тамара искала все новые аргументы, пыталась все лучше обосновать свое мнение. Это мнение становилось все сознательнее, то, что, может быть, было лишь смутной девичьей мечтой, постепенно превращаясь в твердый принцип. Она теперь уже верила, что только так и можно жить. Она хотела доказать и мне, и себе, что она это проведет в жизнь.

И вот наступил решительный момент проверки, пробы сил, момент, когда слово должно было быть превращено в дело. Тамара решила ехать в Россию. Но в Париже жил человек, которого она любила, — поселенец, который не мог ехать в Россию вместе с ней. Возник тяжелый конфликт — или остаться с любимым человеком и потерять самоуважение, веру в себя, или потерять любимого человека. И, как мне кажется, этот конфликт и сломал Тамару. И как знать, если бы не я, если бы не мое вмешательство, смутная греза так бы и осталась смутной грезой, никогда бы не выросла в убеждение, никакого конфликта бы не было. Я не сумела понять, что Тамара была прекрасный, но нежный, хрупкий цветок, к которому жизнь и так была слишком сурова, который нужно было только лелеять и ласкать, нужно бережно взрастить. Тогда бы он, может быть, окреп и стал жизнеспособным. Я так боюсь, что лишь помогла жизни нанести удар. Ведь, уверяю тебя, я так любила ее. Когда мне эта мысль приходит в голову, а она приходила и в Кракове, меня охватывает ужас — я ненавижу себя.

Была сегодня у Ник. Вас. Застала там Камского с семьей и Иголкина, который только что вернулся из Америки и ругает ее на чем свет стоит. Рассказывает много интересного. Они меня здесь прозвали исчезнувшей Джокондой. И мнение обосновывают очень длинно и забавно. Завтра будет заседание КЗО. Я думаю здесь прочитать перед группой доклад о совещании и хочу у тебя попросить совет о конспирации, что можно говорить, чего нельзя.

Например, можно ли говорить об организациях и, указывая разнообразие организационных форм, прямо указать — в Москве так-то, а в Питере иначе, и можно ли, например, сказать, что организация держится на таких-то и таких-то легальных организациях (профессиональные союзы, певческие общества, кооперативы и пр.), или это неконспиративно и пр. Буду благодарна за всякие советы и указания, которые ты мне пришлешь по поводу доклада. Только ответь поскорее. Между прочим, они мне сказали, что в газетах появилось известие (или, может, этот слух идет от Рубанова), что во время конференции устраиваемой М. Б. (Международным Бюро II Интернационала. — *Б. С.),* какая-то комиссия, состоящая из Вандервелда и Гюисманса, будет играть роль третейского суда, что ли? Правда ли это? Еще вот что прошу тебя. Когда будешь писать мне о делах, то как-нибудь отмечай, о чем можно говорить и чего говорить нельзя. А то иногда хочется сказать что-нибудь и не знаешь, как ты на это смотришь. Иголкин, между прочем, занимает презабавную позицию. Он не находится ни в нашей группе, ни у примиренцев (последних очень не любит). Тебя лично, он, по-видимому, очень любит, но видит какую-то заслугу в том, что все-таки может противостоять тебе. Вот, мол, такой я силач, не поддаюсь самому Ленину. По-моему, в таком отношении есть много лестного, но все-таки это забавно.

Ну, дорогой, на сегодня довольно — хочу послать письмо. Вчера не было письма от тебя! Я так боюсь, что мои письма не попадают к тебе — я тебе послала три письма (это четвертое) и телеграмму. Неужели ты их не получил? По этому поводу приходят в голову самые невероятные мысли. Я написала также Н. К., брату (очевидно, Борису Арманду. — *Б. С.),* Зине (социал-демократке Зинаиде Лилиной, жене ближайшего друга и соратника Ленина Григория Зиновьева. — *Б. С.).*

Неужели никто ничего не получил? Крепко тебя целую. Твоя Инесса».

По прочтении этого письма становится совершенно очевидно: Инесса Арманд Ленина очень сильно любила. Он к влюбленной поклоннице тоже был неравнодушен. Но любил ли Ленин Инессу? Думаю, тогда, в 1913-м, еще нет. Иначе, почему настоял на расставании, не отвечал на письма? Ведь Инесса готова была оставаться если не в Кракове, то хотя бы в галицийском курорте Ароза, отнюдь не для революционной работы, а лишь затем, чтобы быть поблизости от предмета своей любви. Но Ильич был непреклонен и настоял на отъезде Инессы в Париж — туда, где произошла их первая встреча. Тогда, в 1909 году, и позднее в

Лонжюмо, Арманд еще не была влюблена в вождя большевиков. Вернее, так она думала. Но на самом-то деле уже в ту пору его любила. Ведь призналась же в письме: «Тебя я в ту пору боялась больше огня… Лучше, кажется, умерла бы на месте, чем войти к тебе».

Вообще говоря, можно установить точную дату единственного сохранившегося письма Инессы Ленину. Она отмечает, что писала письмо в декабре 1913 года, в субботу и воскресенье. Поскольку новогодних поздравлений в письме нет, можно предположить, что писалось оно не в последние предновогодние субботу и воскресенье, 29-го и 30-го числа (по новому стилю — григорианскому календарю). Между тем, из трех упоминаемых Инессой писем и одной телеграммы, по крайней мере, телеграмму Владимир Ильич получил. И даже на нее ответил телеграммой же:

> «Сейчас получил телеграмму и переменил конверт, назначенный было в А., (несомненно, в Арозу. — *Б. С.)*
>
> Что же с ЦО?? Ведь это позор и скандал!! До сих пор нет и нет даже корректур. Запроси и добейся толку, пожалуйста.
>
> № «Vorwärts», где Каутский сказал поганую фразу, что партии нет… — № 333, 18. XII. 1913. Надо его достать… и организовать кампанию протеста».

Не вызывает сомнений, что ответную телеграмму Ленин отправил вскоре после 18 декабря 1913 года — дня, когда вышел номер газеты с вызвавшей его гнев речью Карла Каутского на сессии Международного Социалистического Бюро. Во время работы над письмом Инесса ленинской телеграммы еще не получила. Значит, письмо она писала в те субботу и воскресенье, которые приходятся на промежуток времени между 18 и 29 декабря, т. е. 22 и 23 декабря. И именно на это письмо сохранился (правда, не полностью) ответ Ленина, составителями Полного собрания сочинений датируемый концом декабря 1913 года:

> «Глупы идиотски те люди, которые «испугались» доверенных лиц (речь идет о революционно настроенных рабочих, которые, по мысли Ленина, должны были осуществлять связь между ЦК и социал-демократическими группами в России. — *Б. С.*), как вещи якобы «обидной» для ячеек. Значит-де, ячеек нет, если хотят доверенных лиц!
>
> Комики! Гонятся за словом, не вдумываясь, как

дьявольски сложна и хитра жизнь, дающая совсем новые формы, лишь частью «уцепленные» нами.

Люди большей частью (99 % из буржуазии, 98 % из ликвидаторов, около 60–70 % из большевиков) не умеют думать, а только заучивают слова. Заучили слово: «подполье». Твердо. Повторить могут. Наизусть знают.

А как надо изменить его формы в новой обстановке, как для этого заново учиться и думать надо, этого мы не понимаем.

Летнее совещание 1913 г. (за границей) — решено: побороть 7-ку. Кампания рабочих масс осенью 1913 г. — большинство за нас!! «Кружок» «доверенных лиц» (без выбора от ячеек!! Караул!! — кричат Антонов, Исаак & К) постановил — массы выполнили.

Как это сделать? А вот учиться надо понимать эту «хитрую» механику. Этого бы нельзя было сделать, не будь подполья и ячеек. И этого бы нельзя было сделать, если бы не было новых и хитрых форм подполья и ячеек.

Очень интересуюсь, сумеешь ли ты это втолковать публике. Пиши поподробнее.

Получили 1 экз. «Спутника рабочего». 5000 экз. уже разошлись!! Ура!! Беритесь архиэнергично за женский журнал!»

Жаль, что не сохранилось ни начала, ни конца письма. И вряд ли мы когда-нибудь узнаем, кто изъял страницы: то ли дети Инессы при передаче письма в архив, то ли уже сами бдительные сотрудники архива, дабы избежать возможных пересудов. Ясно одно: сохранившаяся часть письма — это ответ на вопросы Инессы, связанные с нелегальной работой и конспирацией. А вот более интересные для нас ленинские откровения насчет поцелуев и расставания и, вполне вероятно, комментарии по поводу трагической истории безвестной русской социал-демократки Тамары, боюсь, утрачены навсегда. Характерно, что женщине, к которой был неравнодушен, Владимир Ильич писал письма весьма деловые. По предположению Валентинова, любовь Ленина к Арманд могла свестись к поцелую «между разговором о предательстве меньшевиков и резолюцией, клеймящей капиталистических акул и империализм». Судя по письмам, в 1913 году так и было. И даже, скорее всего, тогда Ильич и Инесса вообще обходились без поцелуев. Инесса Ленина уже любила. Ее письмо — это письмо страстно, впервые по-настоящему влюбленной девушки, вроде письма пушкинской Татьяны. Читая его, забываешь, что Инессе уже под сорок, что она дважды была

замужем и мужей своих любила. И не сразу обращаешь внимание на некоторые детали, как будто доказывающие, что у нашей героини незадолго до первого серьезного выяснения отношений с Лениным был короткий, но оставивший свой след роман.

Мне кажется, что и к революции Инесса испытывала те же чувства, какие испытывала к своей подруге Тамаре и какие люди испытывают к мчащимся навстречу поездам — «и страшно, и тянет». И похожее отношение, возможно, было у нее и к вождю революции. Ленин, как магнитом, притягивал Инессу. Но что-то, подсознательно, и отталкивало ее от Ильича. Как тогда, в Париже, когда, по собственному признанию, Инесса боялась Ленина «пуще огня».

Повторю, что кто такая была покончившая с собой Тамара, мы, к сожалению, не знаем. Не знаем даже, подлинное ли это имя или партийная кличка. А вот личность проживавшего в Париже в одной квартире с Инессой Савушки установлена точно. Это русский социал-демократ Яков Давидович Зевин, имевший партийную кличку Савва. Он был среди учеников школы в Лонжюмо и тогда еще стоял на меньшевистских позициях. Позднее, на Пражской партийной конференции в январе 1912 года он бурно дискутировал с Лениным, отстаивая правоту Плеханова, но, убежденный аргументами и личностью вождя большевиков, после конференции перешел на большевистские позиции. Подлинную фамилию Саввы полиция так и не установила. Но сохранилось лолицейское описание его внешности, сделанное одним из агентов в партийной школе в Лонжюмо: ««Савва», по убеждениям меньшевик-партиец плехановского толка; работал на одном из крупных заводов под Екатеринославом; еврей по национальности, но не похож на такового по своей наружности; сын лавочника или торговца, совершенно отбившийся от своей среды; уроженец одного из маленьких городков близ Екатеринослава (в действительности — в Могилевской губернии. — *Б. С.*); перед поездкой в школу успел отбыть срок административной высылки в районе Вологодской губернии; хорошо говорит по-русски и напоминает собою по наружности коммивояжера». А вот портрет, нарисованный другим агентом, уже на Пражской конференции: «От Екатеринослава (т. е. делегат от Екатеринославской губернии. — *Б. С.*) — «Савва», он же «Савка», эсдек-меньшевик, около 21–23 лет от роду, выше среднего роста, полный, весьма красивой наружности, полное румяное лицо без растительности (в дальнейшем, по возвращении в Россию, Зевин отпустил усы и бороду. — *Б. С.),* светлый блондин; рабочий, но без определенной профессии, ученик последней школы партийных пропагандистов и агитаторов в

местечке Лонжюмо, бойко владеет пером; русский по национальности, в зависимости от костюма его можно принять и за рабочего, и за интеллигентного человека (внешность Саввы действительно была обманчива — его, чистокровного еврея, часто принимали за русского, тем более что и по-русски он говорил без акцента. — *Б. С.);* ярый поклонник Плеханова, с коим находится в непосредственной переписке; делегирован местной группой».

На конференции разногласия с Лениным довели Зевина буквально до слез. Тот же агент сообщал: «Голосуя в первые дни за все выносившиеся резолюции (отражавшие точку зрения большевиков. — *Б. С.),* он получил какое-то личное письмо от Плеханова и тотчас же подал заявление о том, что не считает настоящей конференции общепартийной, слагает с себя ответственность за характер и результат ее работ и намерен дальше присутствовать лишь как уполномоченный организацией делегат, дабы иметь впоследствии право сделать у себя на месте соответствующий доклад.

Так как «Савва», в дополнение к своему заявлению, просил еще и права голоса по существу такового, то «Лениным» был поставлен на голосование вопрос, разрешить ли говорить «Савве», и признает ли вообще конференция допустимость подобного рода заявлений. Большинством конференции в праве голоса «Савве» было отказано, заявление его лишь принято к сведению, и признана принципиальная недопустимость подобного характера выступлений вообще. «Савва», не ожидавший подобного решения, не выдержал и здесь же расплакался».

Яков Давидович, несомненно, был искренней и чувствительной натурой. И кончил трагически. По возвращении в Россию работал в большевистской организации Баку. Здесь сошелся с социал-демократкой Надеждой Николаевной Колесниковой, ставшей его женой. Был арестован, сослан, после февраля 1917 года переехал в Москву, работал в Моссовете, в августе вернулся в Баку, был наркомом труда Бакинской коммуны. 20 сентября 1918 года Зевина расстреляли в составе 26 бакинских комиссаров. Жену с двумя детьми он успел отправить в Астрахань последним пароходом.

Причудливо переплетаются людские судьбы. Уже после гибели мужа Колесникова подружилась с Крупской, и от нее Надежда Константиновна и Владимир Ильич узнали о гибели хорошо знакомого им по школе в Лонжюмо и Пражской конференции Саввы. Впоследствии Надежда Николаевна какое-то время возглавляла педагогическую Академию имени Крупской. А сын Зевина Владимир стал одним из биографов Ленина.

Надежда Константиновна тепло вспоминала о Савве: «В

памяти осталось взволнованное лицо Саввы (на конференции в Праге. — *Б. С.)*… В Лонжюмо

Савва всегда был веселым, очень уравновешенным, и потому так поразило меня его волнение». Хотя, замечу, в Лонжюмо Зевин болел тифом, но все равно не впадал в уныние. Иное дело — Прага, где Якова потрясла обструкция, устроенная товарищами по партии. И Надежда Колесникова свидетельствовала: «Зевин впоследствии всегда с восхищением рассказывал о своем пребывании в партийной школе. Он говорил, что это были счастливейшие дни в его жизни: возможность в течение 4-х месяцев почти ежедневного общения с Владимиром Ильичом, его лекции о практике партийной работы — все это оставило неизгладимое впечатление». Думаю, что все-таки не лекции Ленина, с которым еще предстояло острое столкновение на Пражской конференции, а встреча с Инессой Арманд сделало пребывание в Лонжюмо самым счастливым временем в жизни Саввы. Высокий, румяный блондин, «весьма красивой наружности», молодой, да еще выглядевший моложе своих лет (в Праге Якову было не 23 года, а полных 27), влюбился в признанную красавицу Инессу. Она на 10 лет его старше, но тоже кажется моложе своего возраста. И человек Инесса очень добрый. Ухаживает за больным тифом товарищем, помогает не знающему французского языка Савве вписаться в местную жизнь. И возникает любовь. То, как Инесса пишет о Савушке в письме Ильичу, доказывает, что Яков стал близким ей человеком и о детях ее заботился. Да и само имя Зевина упоминается здесь в контексте споров с Тамарой о том, должен ли революционер отказаться ради дела от любви, от семьи. А в этом споре Инесса выступала как убежденная противница аскетизма. Скорее всего, в этот момент любовное чувство не было ей чуждо. Только любила она тогда не Ленина, а Савву. Не исключено, что из-за разницы в возрасте любовь Инессы к Зевину, как и к Тамаре, приобрела материнский оттенок.

Любовь же к Ленину, подсознательно возникшая еще в Париже, захватила Инессу позднее, уже в Польше. Однако сердце Владимира Ильича в ту пору, похоже, было занято другой. Но не Надеждой Константиновной. И не из-за опасения, что банальная любовная интрижка подорвет его авторитет в партии, Ленин «провел расставание» с Арманд. Тем более что для самих основоположников марксизма, равно как и для их видных последователей, адюльтер был делом вполне обычным. В феврале 1929 года немецкая коммунистка и соратница Арманд и Крупской по международному женскому социалистическому движению Клара Цеткин писала директору Института Маркса и Энгельса

Давиду Борисовичу Рязанову:

> «О существовании сына Карла Маркса и Елены Демут я узнала в качестве неоспоримого факта не от кого иного, как от самого Карла Каутского. Он рассказывал мне, что Эде (Эдуард Бернштейн. — *Б. С.)* сообщил ему, что из переписки с несомненностью выяснилось, что Маркс является отцом незаконного сына… В одном из писем Маркс горячо благодарил Энгельса за дружескую услугу, которую тот ему оказал, признав перед его женой себя отцом. Каутский с сыном Маркса познакомился во время своего пребывания в Лондоне. По его мнению, это простой молодой рабочий, по-видимому, не унаследовавший и тени гения своего отца. Он, по словам Каутского, необразован и неодарен… Энгельс не интересовался своим мнимым сыном, он воспитывался у чужих людей. Ни Маркс, ни Энгельс не уделили ему никакого внимания. Об этом рассказывал и Парвус. Во время бурной сцены со своей женой он сослался в виде «оправдания», как мне сообщила возмущенная Таня Гельфанд, на то, что вот даже и у Маркса был незаконный сын. Ленхен Демут была служанкой в семье Маркса… «Пересуды» по поводу того, кто был отцом первой дочери Луизы Фрейбергер — Виктор Адлер, Бебель или Энгельс, — я прошу сохранять в строгом секрете. Еще жива семья Фрейбергеров, так же как и сын Адлера и дочь Бебеля, и я знаю, что они тогда сильно страдали от пересудов… Для исследователей Маркса и Энгельса существуют более серьезные вопросы…»

У Ленина незаконных детей, равно как и законных, насколько известно, не было. Правда, существует легенда, будто у Инессы Арманд был еще шестой ребенок — от Ильича, и что якобы даже могила его в Швейцарии сохранилась до наших дней. По этому поводу писательница Лариса Васильева резонно заметила: «Неужели на могиле написано, что он — от Ленина?» Легенда легендой и останется. А вот пофантазировать на тему, кого бы из друзей Ленин попросил выступить перед Крупской в качестве мнимого отца своего незаконного ребенка, конечно, можно. Ближайшим другом Ильича, как известно, был Григорий Зиновьев. Но он сам имел жену. Холостяков же в ленинском окружении я что-то не припомню…

Неизвестно, знал ли Владимир Ильич о незаконнорожденном сыне Маркса. Если знал, то мог бы сослаться на пример творца

«Капитала» в случае, если Крупская устраивала ему сцены по поводу Инессы Арманд или Елизаветы К. Впрочем, о К. Надежда Константиновна наверняка ничего не знала. Да и были ли объяснения между супругами насчет Инессы, нам достоверно неизвестно…

Несомненно, вождь большевиков испытывал к Арманд теплые чувства. Но тогда еще не был в нее влюблен. Потому что продолжал любить Елизавету К. И по-прежнему писал ей письма.

Лиза вспоминала, что ленинские письма из Парижа «всегда были очень дружескими, но часто имели наставительный тон. Видно было, что они писались человеком, привыкшим «руководить» другими». Даже в отношениях с любимыми женщинами Ильич не мог избавиться от менторства. Неистребимая потребность руководить, воспитывать из своих корреспонденток настоящих социал-демократок проявилась в ленинских письмах как Инессе Арманд, так и Елизавете К. В ноябре 1910 года он писал Лизе: «По поводу Льва Толстого скажу тебе мое мнение. Я всегда держался мнения не застаиваться на угнетающих мыслях, но усилием воли отстранять их на время, когда должен действовать, какого бы важного значения и непосредственного личного значения они не были, и мне кажется, что можно такого навыка достигнуть…

«Исход» Толстого замечательно украсил и завершил его жизнь, как удачный последний штрих, потому что это был единственный предъявляемый ему укор, что он живет вопреки своей проповеди. А «графинюшка», все-таки, втащила-таки насильно в дом его тело, а не согласилась поставить под «дер-вом бедным»; дама настойчивая! Вместе с тем нахожу, что стремиться подражать Толстому в своей жизни никому не следует; у него — своя судьба, каждому из нас — свой жребий. Как у Жуковского в стихотворении о крестах: пробовал-пробовал человек всякие кресты — большие и малые, дорогие и дешевые — все не по плечу; нашел, наконец, такой, что ловко нести: оказался свой же собственный крест, который раньше носил и от которого думал избавиться. Как ни жалко, но пора уже было умирать Толстому — и как он удачно этот финал проделал…»

Мысль о том, что каждый должен нести свой крест, постоянно преследовала Ленина, когда он общался с Лизой. Ему очень надо было, чтобы любимая женщина готова была этот крест с ним разделить. Чувство и долг должны были находиться в состоянии гармонии. И от возлюбленной Ленина требовалось принять его полностью, таким как есть, с этими немного жутковатыми рассуждениями о смерти гения, «замечательно украсившей» его жизнь!

Рассуждениями, кстати сказать, созвучными мысли Фридриха Ницше: «В вашей смерти должны еще гореть ваш дух и ваша добродетель, как вечерняя заря на земле, — или смерть плохо удалась вам»,

Елизавета К. явно не принимала ленинского цинизма. Письмо о Толстом она прокомментировала следующим образом: «Не надо толковать это письмо Ленина в фаталистическом смысле. Ленин абсолютно не был фаталистом. Он хотел только сказать, что индивидуальные судьбы людей не похожи одна на другую и что, раз человек сам выбрал свой «крест», надо уметь нести его до конца, т. е. упорствовать в начатом усилии, без устали». Поэтому в другом письме Лизе Ленин писал, покончивших с собой в декабре 1911 года марксистах супругах Поле и Лауре Лафарг (Лаура была дочерью Карла Маркса): «Скажу тебе, что самоубийства их не одобряю, потому что он мог еще писать и действовать (Лафарги покончили с собой, придя к выводу, что старость уже не позволяет им продолжать трудиться для дела революции. — *Б. С.*); имел средства к жизни и никого своим существованием не тяготил; и, если не мог активно действовать, то мог быть еще зрителем жизни и подавать советы мудреца, умудренного жизнью. В этом отношении у них были не так давно предшественники — Гумплович (известный австрийский социолог. — *Б. С.)* с женою; но у тех более обоснованно, потому что страдали неизлечимыми и мучительными болезнями (раком и слепотою, кажется)». Столь расчетливое, рациональное отношение к вопросам жизни и смерти Елизавете К. не нравилось. Можно уверенно предположить, что и Инесса Арманд от подобных-рассуждений любимого Ильича была не в восторге. Ведь мир чувств для нее много значил, и смерть близких она переживала очень тяжело.

Елизавета К. очень хорошо чувствовала изъяны в духовном мире Ленина. И к ее словам стоит прислушаться. Ведь так, как она, Владимира Ильича знала, наверное, только Инесса Арманд. Даже Крупской, боюсь, душа мужа до такой степени не была доступна. Лиза смело разрушала иконописный образ бывшего любовника: «Официальные биографы Ленина ткут вокруг его личности «позолоченную легенду» и приписывают ему самые редкие и тонкие духовные черты. Я знала его хорошо и имею основания думать, что со мной он бывал откровенен и искренен (поскольку вообще этот человек — азиат не только по внешности, но и по характеру, полному хитрости, — мог быть искренен). Я никогда не замечала у Ленина ни капли увлечения чем-нибудь, что выходило за строгие рамки его политических интересов. Он интересовался философией, но исключительно как своего рода

духовный жандарм, имеющий поручение ловить и изобличать нарушителей и преступников, позволяющих себе протаскивать в партию псевдомарксистскую контрабанду. Когда он прислал мне свою книгу об «эмпириомонизме и эмпириокритицизме» (имеется в виду единственная философская работа Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». — *Б. С.),* книга эта меня не заинтересовала. Я дала ее на прочтение одному знакомому специалисту по истории философии. Он очень веселился; читая книгу, и говорил: «Этот забавный автор объясняет «заблуждения» такого-то (речь шла о каком-то известном философе, не могу вспомнить, о ком именно) его социальным происхождением и профессией — философ был, кажется, епископ (несомненно, имелся в виду епископ Джордж Беркли, которого Ильич подверг уничтожающей и несправедливой критике. — *Б. С.),* — и в то же время он восторгается одним материалистом. Он не знает, что этот последний прославился, между прочим, тем, что предложил избрать кронпринца доктором «гонорис кауза» (почетным доктором. — *Б. С.)* одного из университетов Германии, мотивируя свое предложение тем, что самый факт рождения в семье Гогенцоллернов уже дает кронпринцу естественное право на высшую степень в науке и философии». Я не преминула рассказать это Ленину. «Это не важно!» — ответил он».

Ленин, по утверждению Елизаветы К., читал много, но достаточно поверхностно, прежде всего, с точки зрения политических пристрастий и нужд. Из Гамсуна прочел только «Голод», Чехова любил, но читал почти исключительно его юмористические рассказы, «для развлечения и отдыха», а гораздо более серьезные и глубокие повести и пьесы не читал. Иногда невежество Ленина в некоторых областях культуры Елизавету просто потрясало. Однажды она послало ему открытку с репродукцией леонардовской Джиоконды. В ответном письме Владимир Ильич попросил: «Напиши, кто такая была Джиоконда? По виду ее и костюму не могу понять. Знаю, что есть опера такая и, кажется, произведение Д'Аннунцио? Но что это за штука, не знаю». Лиза решила, что Виллиам Фрей ее разыгрывает. Однако в одном из следующих писем он напомнил: «Несмотря на мою просьбу, ты мне ничего не написала о Джиоконде. Напиши, кто такая она была. Не забудь».

Свидетельства Лизы очень созвучны воспоминаниям уже знакомого нам В. А. Оболенского, который писал о Ленине: «Он был настолько поглощен социально-политическими вопросами, что никогда на другие темы не разговаривал с нами. Я даже представить себе не могу его разговаривающим о поэзии, живописи, музыке, еще меньше — о любви, о сложных духовных

переживаниях человека, а тем более о каких-либо житейских мелочах, не связанных с конспирацией».

Как мы убедились, с любимой женщиной Ильич мог беседовать и о поэзии, и на другие отвлеченные темы, но разговор все равно, в конечном счете, возвращался к проблемам революции и марксизма.

Вот и любовь к музыке у Ленина оказалась с революционным подтекстом. Однажды Елизавета К. узнала, почему ее любовник был так неравнодушен к 3-й части Патетической сонаты Бетховена, которую она по его просьбе часто играла. Оказывается, в начале 3-й части Ильич находил сходство с революционной песней — гимном еврейской социал-демократической партии «Бунд». У Елизаветы К. даже сохранились ноты бетховенской сонаты, где Ленин карандашом пометил понравившееся ему место.

Когда Лиза собиралась поступать в Сорбонну и писать работу об эстетике человеческой речи, Ленин написал ей: «Что это ты — никак в искусство удариться хочешь! Эстетика — это вроде «идеализма»! Не очень ты на нее налегай». Хотя Ленин все-таки был против того, чтобы все явления жизни связывать с классовой борьбой. Весной 1911 года он писал Елизавете К. по поводу одной статьи Богданова: «Вот пример опошления марксизма с притаскиванием за уши классовой борьбы к чему бы то ни было. Это вроде того, как когда-то издевались «Московские Ведомости» над съездами земских врачей: читается доклад о высоком камнечесании, а в заключительных выводах докладчик произносит: итак, России необходима Конституция. Если так будут всюду совать классовую борьбу, как Богданов в сказания о вурдалаках, а Луначарский в эстетику и литературную критику, — так он всем в зубах навязнет и опротивеет до тошноты». Слова абсолютно правильные. Беда только в том, что после прихода к власти Ленин и его соратники ни одну сферу деятельности не оставили без надзора с точки зрения «полезности делу пролетариата».

Как-то раз Елизавета К. слегка кокетливо спросила Виллиама Фрея: «Сознайтесь, вы не совсем уверены во мне. Да и, в самом деле, почему бы я не могла оказаться «охранницей»? Признайтесь, вы меня даже подозревали. Пэ-Пэ рассказывал мне, что вы спрашивали у него, не шпионка ли я…» Собеседник в ответ рассмеялся: «Всякому свое. Есть женщины, которым подходит заниматься политикой. А другим — совсем нет. И о таких именно Чехов говорил: «Женщина, занимающаяся политикой, подобна бешеной канарейке».

В связи с этой сентенцией Лиза обоснованно заподозрила, что

в душе Ленин вовсе не был феминистом, хотя в интересах революционной борьбы пропагандировал полное равноправие женщин, в том числе и в области политики. Из трех близких ему женщин Крупскую и Арманд Владимир Ильич явно относил к тем, кто может заниматься политикой. А Елизавету К. считал чеховской «бешеной канарейкой». В мемуарах Лиза следующим образом суммировала отношение Ильича к женскому вопросу: «Я не думаю, чтобы Ленин был феминистом в обычном смысле слова. Теоретически он, конечно, был ортодоксальный марксист, за равноправие. Но он был слишком мужчина, чтобы искренне верить в это. Во всяком случае, он всегда говорил о женщинах с нескрываемой иронией. Правда, с такой же иронией он говорил и о мужчинах. У него, несомненно, была мания величия, и все, что он видел вокруг себя, казалось ему недостаточно крупным… по сравнению с его социал-демократическим идеалом или с ним самим? Право, не знаю».

Однажды на почве женского вопроса Ленин и Елизавета К. даже поссорились. Произошло это при обсуждении конфликта, возникшего на острове Капри. Там Горький, Луначарский и Богданов организовали школу для рабочих. И жены руководителей школы переругались между собой «на идейной почве» и втянули в свару и лекторов, и слушателей. По словам Лизы, Ленин «обнаружил большую непочтительность к «супругам», которые вмешиваются в партийные дела. Меня это задело, и несколько времени спустя я написала ему письмо, где изливала свое глубокое удивление по поводу того, что он, социал-демократ, отказывает «супругам» в праве заниматься делами, которыми занимаются их мужья». Ответ Ленина был снисходительно-ироническим и немного раздраженным: «С немалыми усилиями поборол я свое нерасположение полемизировать по поводу «выеденного яйца» — из-за мелочных принципов и из-за шуток заводить дрязговые препирательства. Но уже так и быть: в первый и последний раз «поднимаю перчатку». Смысла и цели вашего задорного послания не понимаю. Разве от заграничной скуки… Странно мне, что вы пишете так торжественно: «в нашей среде», «у нас»… Да, ведь этими же правилами руководствовалась почтеннейшая Василиса Егоровна, комендантша Белогорской крепости из «Капитанской дочки», когда за своего Ивана Кузьмича распоряжалась разобрать Прохорова с Устиньей да обоих и наказать, и всякие прочие дела делала. Значит, тут нового «у нас» ничего нет. Я, впрочем, по существу не возражаю и, напротив, считаю похвальным такое возвращение к традиционному взгляду. Несколько времени раньше мне, напротив, приходилось спорить неоднократно с

несколькими «нами» — «лицами женского происхождения», по изящному выражению депутата Тимошкина, который мне утверждал, что вступление в брак нисколько не меняет их положения и отношений, как к прочим, так и к своей не дражайшей «половине». Все, впрочем, горячо споривше на эту тему, очень скоро перешли к древнейшему воззрению, резюмируемому кратко, но ярко народною поговоркою: «муж да жена — одна сатана», — и это я со своей стороны нахожу весьма поощрения заслуживающим — с маленькою только разницей от простодушной комендантши: можно и отвечать за мужа и «являться на собрания» и «голос подавать» даже, но с одной оговоркой: с его ведома и согласия, по его поручению и за его ответственностью — так же, как и за дело, порученное адвокату и им проигранное, платится его доверитель. Что же касается «чиновничьих регламентов и ограничений», то не понимаю, зачем они тут попали, разве только для хлесткости выражений и шпилечного укола. Но меня этим не проберешь! — шкура моя достаточно выдубленная, принимаю равнодушно и спокойно всякий «фасон де парлэ» (стиль речи (фр.). — *Б. С.)*. Кстати, упомяну, что всеми пишется через «ять», а не через «е», вот как вы горячились, когда писали боевое послание. А затем желаю успокоиться и не заводить «бурь в стакане воды». Не стоит на это времени тратить и нервной энергии расходовать».

Прочитав это письмо, Лиза сразу поняла, что на роль женщины в семье и обществе Ленин смотрит вполне традиционно и к самостоятельности «слабого пола» относится с подозрением. Женщина и в революции может участвовать, но только под его, Ленина, и других мужчин-большевиков чутким руководством. Сегодняшние феминистки, наверное, назвали бы Владимира Ильича «мужским шовинистом».

Ленин и Елизавету К. пытался втянуть в конспиративную работу. Несколько раз она выполняла поручения Ильича. Пока не произошел следующий казус. Однажды Ленин поинтересовался, нет ли у Лизы в Петербурге знакомых с детьми, которым можно было бы отправить из-за границы посылку с игрушками. Получив утвердительный ответ, он дал ей адрес в Швейцарии. Там Лиза получила детские картонные кубики, из которых надо было складывать альпийские пейзажи. Случайно она обнаружила внутри одного кубика три экземпляра нелегальной «Рабочей газеты» и поняла, почему вдруг Ильич воспылал любовью к детям. «Когда я вновь увиделась с Лениным, — вспоминала Лиза, — я рассказала ему о своем открытии и заметила, что он должен был бы предупредить меня, о каких «игрушках» шла речь, потому что если бы такое же открытие было бы сделано царскими

таможенниками или полицейскими, то у друзей, которым я должна была послать «кубики», могли бы быть крупные неприятности. Это не важно, — ответил Ленин. — «Это даже полезно. В тюрьме-то и становишься настоящим революционером». «Возможно, но все-таки надо было меня предупредить». «Но ведь ты же сама просила меня дать вам возможность быть полезной партии. А теперь вы недовольны! Вот трусиха!» И с этого дня Ленин не обращался больше ко мне ни по каким «конспиративным» делам».

Возлюбленная дала понять Виллиаму Фрею, что не хочет жить по принципу: цель оправдывает средства. Лиза вспоминала: «Его две черты были… необъятная гордость и большое недоверие к людям. Был ли он «аморалист»? Я думаю, что обыкновенное — скажем, «буржуазное», — понятие о морали не применимо в данном случае, потому что самое это понятие было ему чуждо. «Революция» и «партия» были единственной большой страстью его жизни, но он смотрел на себя как на вождя этой революции и этой партии. Чтобы добиться триумфа партии, который он инстинктивно смешивал со своим собственным триумфом; чтобы прийти к победе революции, которую он смешивал со своей личной победой, все средства казались ему хороши. И этой революционной и, вместе, личной деятельности он подчинял беспощадно все остальное. Все те, кто были в чем-нибудь не согласны с ним, были в его глазах врагами «дела», и он ненавидел их не только как личных противников, но и как существ, вредных для революции и подлежащих уничтожению. Отсюда его неистовая и грубая полемика, и его столь легкие и окончательные разрывы с теми из его друзей и товарищей, которые осмеливались позволить себе не всегда быть согласным с ним, хотя бы в какой-нибудь мелочи. Я сама испытала это на себе — опыт был довольно обескураживающим». Она имела в виду потрясший ее ответ Ленина насчет того, могут ли женщины участвовать в партийной борьбе.

По свидетельству Елизаветы К., особой чувствительностью ее знаменитый любовник не отличался: «Ленин был отнюдь не сентиментален. Даже в наиболее личных письмах он не давал волю никакому интимному чувству, и, признаюсь, я была скорее удивлена, когда — довольно редко — его письма принимали иной характер, более чувствительный и личный». В самом начале 1910 года на такое письмо Владимир Ильич сподобился по случаю наводнения, обрушившегося на французскую провинцию, где в тот момент жила Лиза:

«Ты очень хорошо сделала, что поторопилась

написать о наводнении, а то я уже вчера начал приходить в отчаянье. И хотел посылать телеграмму к тебе… Вообще, имей в виду, если случится поблизости от тебя, т. е. не дальше 1000 миль в окружности какая-нибудь катастрофа, то немедленно отправляй письмо о благополучии… Я остался доволен тем, что ты живешь на холме, это и в смысле гигиены выгоднее, и в смысле эстетики и настроения: виды лучше и горизонты шире (уже не говоря о наводнениях)».

Это — письмо не товарищу по партии и не просто хорошей знакомой. Это — письмо человеку, которого Ленин очень боялся потерять. А вот — самое интимное из всех ленинских писем Елизавете К., отправленное в июне 1913 года и объясняющее, почему Ленин предпочел обосноваться в этой австрийской провинции, а не в гораздо более близких к Петербургу и, следовательно, к Лизе Швеции или Финляндии. Это письмо, как признает сама К., «полно грусти и ностальгии»: «Иногда, признаюсь, раздумываю, нельзя ли перебраться поближе к тебе. Но рок судил иное. Занимаюсь я все прежними делами: чтением, писанием да перепиской специально-практического свойства. Атмосфера мерзейшая. Вернулся в Россию Бальмонт; пишет, что Горький скоро тоже гуда приедет, хотя он написал, что ему об этом ничего неизвестно. Может быть, за него хлопочет Андреева, вернувшаяся в Художественный театр… До свидания, милая. Будем ждать, когда можно будет опять свидеться. Твой…»

Положительно, тогда Владимир Ильич был влюблен в Лизу. Потому-то страстное чувство Инессы не вызывало у него ответа. А вот любила ли Лиза Ленина, мы не знаем. Когда писала свои мемуары — уже не любила! В этом можно не сомневаться. А раньше… Ничего с уверенностью сказать нельзя. Ведь письма Елизаветы К. к Виллиаму Фрею не сохранились (если не пылятся по сей день в каких-нибудь еще не рассекреченных партийных архивах). Наверное, все-таки любила. Иначе не поехала бы искать Ильича в Париже. Не мчалась бы через многие границы на короткие свидания с любимым. Последнее такое свидание произошло незадолго до начала Первой мировой войны. Лиза прямо об этом не пишет, но у меня создалось впечатление, что именно в эту последнюю встречу между ними произошло что-то, предопределившее последующий разрыв.

Ранней весной 1914 года Елизавета К. в Швейцарии получила от Ленина письмо. Он спрашивал, не сможет ли она летом «прокатиться» в Карпаты, где можно было бы повидаться. Лиза согласилась. Ленин прислал другое письмо, где просил приехать

уже не в Карпаты, а в Татры, причем остановиться не в деревне, а в «небольшом городке» (был указан адрес), где ее приезд не привлек бы к себе излишнего внимания. Когда Лиза прибыла в указанный городок, там ее встретил товарищ Ленина Яков Ганецкий и сообщил, что Ильич приедет только завтра и поручил ему, Ганецкому, устроить ее в гостиницу и всячески опекать. Опекун чем-то не понравился Лизе. На следующий день появился Ленин. Все втроем они пообедали. Затем Владимир Ильич и Елизавета К. провели вместе несколько часов, и Ленин уехал из города вместе с Ганецким. Лиза отправилась в Швейцарию на следующий день. Ее удивило, что в ее паспорте не было проставлено никаких отметок о прибытии и убытии, и заподозрила, что эту любезность устроил Ганецкий, возможно, как-то связанный с австрийской полицией. Кстати сказать, паспорт у Елизаветы К. был не русский. В свое время, еще до встречи с Лениным, она вышла замуж за иностранного подданного и приобрела соответствующее гражданство. Лиза, носившая фамилию мужа, прямо не указывает, какое именно гражданство, но по ряду признаков можно догадаться, что французское. Они с мужем давно уже разошлись, но официально развод не оформили.

Город, где произошла последняя встреча влюбленных, — это, скорее всего, Закопане — известное курортное местечко в Татрах. Приезд туда двух туристов-иностранцев в разгар сезона не мог вызвать никаких подозрений. Именно Закопане упоминал Ленин еще в конце апреля в письме социал-демократу Г. Л. Шкловскому в качестве одного из мест, где он может провести лето. Но в конце концов они с Крупской остановились в Поронине. Поездка же в Закопане (или какой-то другой город) для свидания с Елизаветой К. делалось под предлогом встречи с тем же Ганецким, чтобы Надежда Константиновна ничего не заподозрила. А через несколько дней после свидания, 28 июня 1914 года, прозвучали выстрелы в Сараево, поразившие наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда. Вскоре разразилась Первая мировая война. Связь между Лениным и Елизаветой К. оборвалась.

Лиза переехала во Францию, а вернуться в Россию смогла только в 1916 году. До нее доходили слухи, что после начала войны Ленин был арестован австрийскими властями, но потом его отпустили в Швейцарию. Как-то раз в парижском кафе на Монпарнасе Елизавета К. случайно увидела Ганецкого. Вот как она запомнила эту встречу: «Он делает вид, что не узнает меня и, по-видимому, даже не очень доволен встречей. Но я подхожу к нему без всякого стеснения и говорю: «Вы здесь?» «А почему бы

нет?» «Да ведь вы же были в Австрии и, кажется, в дружбе с австрийскими властями. Как же это вы попали сюда? А где Ленин?» «Как я попал в Париж? Это мое дело. А что касается Ильича, то он поживает превосходно. Он в Цюрихе. Могу вам дать его адрес, т. е. адрес, по которому ваше письмо дойдет до него». «Правда ли, что он был арестован в Галиции?» «Совершеннейшая истина. Только благодаря мне он смог выскочить невредимым из этой грязной истории». И «товарищ Ганецкий» рассказывает мне, что, узнав, что Ленин арестован как «русский шпион» в небольшом местечке в Карпатах, он отправился туда, — к счастью, вовремя, чтобы вырвать Ильича из рук полицейских. «Я приехал как раз, когда бедного Ильича допрашивали. Я прервал допрос и добился освобождения Ленина. Мне удалось его спасти». «Но позвольте, как же это вы, польский социал-демократ из русской Польши, могли вмешаться в дела австрийской полиции, да вдобавок во время войны?» «У меня в Австрии есть очень влиятельные друзья. Они вмешались в Вене, и правительство дало приказ не тревожить больше Ленина и дать ему выехать в Швейцарию». «Странно!» «Ничего удивительного. В Вене знали, что Ленин — против царизма. А враги наших врагов — наши друзья. Ленин делает то, что всякий русский революционер и интернационалист обязан делать: он пользуется случаем, чтобы раздавить царизм». «Да, но победа Германии может раздавить также Россию, Францию и Бельгию». «Что же делать? Приходится выбирать. Германия выше всех других во всех отношениях, и ее рабочее движение неизмеримо выше всех других»: И «спаситель» Ленина спешит откланяться».

Конечно, трудно сказать, насколько точно двадцать лет спустя Лиза передала свой разговор с Ганецким. На нее могли повлиять позднейшие публикации о финансировании большевиков со стороны Германии и Австро-Венгрии, беседы на эту тему с Алексинским — одним из инициаторов обвинений против Ленина в шпионаже в пользу Германии. Елизавета К. сама отмечает, что когда в 1916 году вернулась в Петроград, то рассказала о разговоре с Ганецким одному своему приятелю (уж не Алексинскому ли?). Тот в ответ указал ей на одну немецкую журнальную статью о «пораженческой пропаганде», организуемой германским генеральным штабом среди русских и украинских социалистов, и об аресте Ленина в Австрии. Однако вместо этого последнего сюжета в журнале было белое пятно цензурной вымарки.

А уже после войны в одном французском сборнике документов Елизавета натолкнулась на секретный доклад германского Генштаба, составленный еще в 1911 году. Там

излагался план организации беспорядков в стане потенциальных противников — в России и во французской Северной Африке, причем эти беспорядки должны были быть подготовлены заранее и иметь «руководящую голову», чтобы сковать часть неприятельских сил в период войны. После знакомства с этим документом Лиза, по ее утверждению, прозрела. Ей все стало ясно: «Приготовляясь к войне, Германия и Австрия готовились не только в военной области, но и в политической. Для этого германское и австрийское правительства поощряли деятельность русских революционеров. Чтобы держать их под своим контролем, австрийское правительство (по соглашению, разумеется, с Берлином) пригласило через посредников (Ганецкий!!) Ленина переехать в 1912 году в Австрию — «работать против царизма». Арест Ленина в ноябре 1914 года (в действительности — в августе. — *Б. С.)* был произведен только для того, чтобы вынудить у него письменное заявление и формальное обязательство сделать все от него зависящее, в целях «военного поражения царизма». С этой минуты Ленин больше не был свободен в выборе направления. Имя Ганецкого во всем этом более важно, чем все те имена, которые упоминались до сих пор в связи с этим, доныне столь таинственным делом…»

Елизавета К. была убеждена, что именно из переезда Ильича в Австрию «вытекают, с роковою логикой, все последующие события: арест Ленина австрийцами, его вступление в контакт и сотрудничество с правительством Вильгельма II, его возвращение в Россию в знаменитом пломбированном вагоне, захват им власти, самая абсолютная диктатура, которую знал мир и которой Ленин обладал в течение коротких лет, чтобы перейти затем с кремлевского трона на колясочку для паралитика и до самой смерти остаться неизлечимым душевным больным».

Ну, насчет «письменного заявления» и «формального обязательства» — это, я думаю, чисто женские фантазии. Лиза наверняка была очень огорчена, что любовник так и не перебрался поближе к ней, в Финляндию или Скандинавию, а на два года засел в далеком галицийском захолустье. Вот и придумала, что пригласила его туда австрийская разведка, дабы вредить России. А потом арестом даже вынудила у Ленина своего рода подписку об агентурном сотрудничестве в целях «военного поражения» его родины.

Все это мало похоже на правду. Во-первых, Ленин был слишком осторожный и умный человек, чтобы оставлять столь серьезную улику против себя. Ведь в случае, если бы «письменное обязательство» попало в прессу, его репутации и в международном, и в российском социал-демократическом

движении был бы нанесен смертельный удар. Неслучайно даже во время разразившегося в 1917 году скандала в связи с обвинениями Ленина и большевиков в шпионаже в пользу Германии ни одного документа, прямо уличающего Владимира Ильича и им подписанного, так и не было обнародовано. Во-вторых, и это главное, австрийским, равно как и германским властям совсем не нужно было от Ленина и других революционеров каких-либо формальных обязательств, какие обычно требуют все разведки мира от своих агентов. Агент, да еще работающий исключительно за денежный интерес, всегда ненадежен. Его в любой момент могут перекупить конкурирующие разведывательные службы. Иное дело — люди, действующие в соответствии со своими убеждениями. На них, по крайней мере, на какой-то период, пока обстоятельства не вынудят к смене убеждений или основных противников, можно положиться с большей надежностью. Австрийские власти прекрасно знали, что главным врагом Ленина и его партии является не австрийский кайзер и венгерский король Франц Иосиф I, а русский царь Николай II. И в искренности этой части программы большевиков никто не сомневался. Австрийцы вполне благожелательно смотрели на деятельность на своей территории организаций, боровшихся с царским правительством. Например, в той же Галиции нашла приют польская Боевая организация во главе с Юзефом Пилсудским, свершавшая террористические акты и экспроприации в Королевстве Польском, которое тогда было частью Российской империи. Самым нашумевшим делом польских боевиков стало ограбление почтового поезда на станции Безданы в сентябре 1908 года, которое возглавлял сам Пилсудский. Прямо же финансировать польскую «боевку» правительство Франца Иосифа стало только с началом мировой войны, когда Пилсудскому было позволено сформировать польские легионы в составе австрийской армии.

Если уж австрийцы не боялись терпеть у себя людей Пилсудского, прямо считавшего себя в состоянии войны с царской Россией, то по видимости более мирным большевикам обосноваться в пограничной австрийской Галиции, как говорится, сам Бог велел. Хотя люди Ленина и экспроприациями, т. е. ограблениями с целью получения денег для нужд политической борьбы, не брезговали. Можно взять как пример нашумевшее тифлисское ограбление почтовой кареты в июне 1907 года. Тогда было убито и ранено бомбами десять человек. Руководил акцией Симон Тер-Петросян, по кличке Камо. Кстати сказать, однажды с Камо довелось свидеться и Елизавете К., и веселый армянин подарил молодой женщине роскошный арбуз. Бомбы же для

террористов из Финляндии прислал сам Ленин. И для выбора Галиции он не нуждался в приглашении ни австрийского правительства, ни австрийского Генерального штаба. Просто вождь большевиков прекрасно понимал одну вещь. Из Швеции и тем более из Финляндии его и его товарищей под давлением царского правительства в любой момент могут если и не вернуть обратно в Россию, то, по крайней мере, выслать в любую другую страну. В Австрии же такой угрозы не было, поскольку австрийское правительство никогда бы не уступило российским требованиям.

Арест же Ленина был произведен по инициативе местных властей, не посвященных в дальние расчеты австрийского Генштаба. Здесь сыграла роль шпиономания, возникшая после начала войны во всех государствах-участниках, включая Австро-Венгрию. Правительство в Вене к аресту не было причастно. Хлопотали же об освобождении Ленина отнюдь не австрийские военные, а все тот же Ганецкий и депутаты австрийского парламента социал-демократы

Виктор Адлер и Герман Диаманд, поручившиеся за Владимира Ильича. Двух последних к хлопотам за Ленина привлекла Крупская. Она писала Виктору Адлеру: «Уважаемый товарищ! Мой муж, Владимир Ульянов (Ленин) арестован в Поронине (Галиции) по подозрению в шпионаже. Здесь население очень возбуждено и в каждом иностранце видит шпиона. Само собою разумеется, что при обыске ничего не нашли, но тетради статистическими выписками об аграрном вопросе в Австрии произвели на здешнего жандарма впечатление. Он арестовал моего мужа и препроводил его в Ней-Маркт. Там его допросили, и нелепость всех подозрений сейчас стала очевидной для гражданских властей, но они не хотели взять на себя ответственность освободить его… арест может продолжаться несколько недель. Во время войны не будет времени быстро разобрать это дело. Поэтому очень прошу Вас, уважаемый товарищ, помочь моему мужу. Вы знаете его лично; он был, как Вы знаете, долгое время членом Международного Бюро и хорошо известен Интернационалу. Я настоятельно просила бы Вас отправить телеграмму прокурору в Ней-Зандец, что хорошо знаете моего мужа и можете ручаться, что это — недоразумение. Просите также прокурора, в случае, если бумаги уже переданы немецким властям, переадресовать последним Вашу телеграмму… Я уверена, что Вы и еще другие австрийские товарищи сделаете все возможное, чтобы содействовать освобождению моего мужа».

И товарищи помогли. Об этом вспоминал Виктор Адлер: «Это

были первые недели войны, момент, когда все были сильно возбуждены, в особенности в районах военных действий, всем мерещились шпионы. Я был озадачен не столько продолжительностью ареста, которого я не опасался, сколько возможностью сокращенного военного судопроизводства. Я немедленно отправился к министру внутренних дел барону Гейнольду, рассказал ему все, что знал, и охарактеризовал ему личность товарища Ленина… Подчеркнул, что товарищ Ленин — старый непримиримый враг царизма и что, независимо от своего отношения к Австрии (как видно — не слишком восторженного. — *Б. С.*), он никак не мог заниматься шпионажем в интересах царского правительства… Мне удалось убедить министра, что нечего опасаться Ленина и что происшедшее — роковое недоразумение. Насколько я помню, он еще в моем присутствии вызвал к телефону краковское полицейское управление. Как в этот раз, так и при втором свидании с ним в связи с делом Ленина министр интересовался только тем, действительно ли Ленин подлинный враг царизма, в чем я мог его уверить со спокойной совестью».

Владимиру Ильичу, безусловно, повезло, что он избежал военного судопроизводства. Очень точно сказал об австрийском военном суде еще в середине XIX века (а с тех пор мало что изменилось) чешский поэт Карел Гавличек-Боровский:

Суд военный — с ним не шутят,
судит по приказу,
он содержит в патронташе
все законы сразу.

Суд военный на штафирок
смотрит строгим оком,
не вдаваясь в дебри права,
судит на глазок он.

У него желудок щучий,
он решает скоро:
невиновного с виновным
съест без разговора.

Именно так судили после прихода Ленина к власти ЧК и революционные трибуналы. Но в 14-м году австрийские власти оказались гуманнее, чем революционная юстиция. Разобрались, что никаким шпионом Ленин не является, наоборот — убежденный враг царского правительства, не стали подвергать

«ускоренному военному судопроизводству» и, более того, отпустили Ильича на свободу. По этому поводу русский писатель-эмигрант Марк Алданов позднее иронизировал: «…За него хлопотали влиятельные социалисты, которых он прежде ругал крепкими словами. Вдобавок власти, услышав об его взглядах, естественно, признали, что такого человека совершенно не нужно держать в тюрьме во время войны с Россией». Когда 23 августа 1914 года австрийское МВД направило письмо по поводу Ленина в краковскую полицию, то специально подчеркнуло в нем, что, «по мнению д-ра Адлера, Ульянов смог бы оказать большие услуги при настоящих условиях». «Услуг», как и всего обещанного, пришлось ждать три года.

В воюющей Австрии делать Ленину было больше нечего. Формировать там интернациональные легионы для борьбы с царизмом он явно не собирался, а связь с Россией через линию фронта была абсолютно невозможна. Теперь Швейцария становилась гораздо более удобным местом для революционной работы. Сердечно поблагодарив Адлера и Диаманда за хлопоты, Ленин с Крупской двинулись к швейцарской границе. 5 сентября 1914 года они прибыли в Цюрих, а оттуда отправились в Берн.

Владимир Ильич действительно основные надежды на пролетарскую революцию в России и во всем мире связывал с грядущим военным столкновением блока Центральных держав — Германии и Австро-Венгрии с блоком Антанты — Англии, Франции и России. В январе 1913 года он писал Горькому: «Война Австрии с Россией была бы очень полезной для революции (во всей Восточной Европе) штукой, но мало вероятия, чтобы Франц Иозеф и Николаша доставили нам сие удовольствие». Тут Ленин ошибся: это удовольствие ему доставили и очень скоро — всего через полтора года.

Елизавете К. Ильич иногда писал и о международной политике. Одно из писем, посвященное нападению Италии на Турцию, очень ярко характеризует подход вождя большевиков к этим деликатным проблемам. Здесь Ленина не волновали нормы международного права, а только интересы мировой революции вообще и национальные интересы российских революционеров в частности. Это письмо было написано в октябре 1911 года и представляло собой ответ на письмо Лизы, по ее собственным словам, с «туркофильскими чувствами».

Ленин писал:

«Ты не согласна с тем, что я «одобряю» Италию. Дело не в «одобрении» Италии, а в том, что когда стали ахать: Ах! какая бедная Турция! И какие бяки — итальянцы! — то я высказался,

что Турция сочувствия не заслуживает. Во-первых, они лет 200 мучили, грабили и резали славян и др. Во-вторых, от конституции ихней тем же славянам и прочим толку нет, потому что младотурки — турецкие националисты и для других их конституция ничего не дала; и также продолжают сажать в тюрьмы и казнить, и «четы» (славянские партизанские отряды в Македонии. — *Б. С.)* продолжают действовать не от добра же, и желают они всех под себя подобрать, что, конечно, также не удается, как и прежде. Что касается, в частности, самого Триполи (Италия стремилась захватить турецкие владения в Северной Африке — территорию современной Ливии. — *Б. С.),* то ему хуже не будет, во всяком случае, чем при турках. Все-таки больше будут законность соблюдать и будут строить на основании законов, а не драть шерсть вместе со шкурой и с живым мясом. А затем, в итальянском парламенте все партии равноправны, и самые крайние со своим королем приятно беседуют и рукопожатия удостаиваются, поэтому имеют возможность обличать африканские гадости. Полагаю, что «гадости» итальянские все-таки будут менее гадки, чем турецкие. И если триполитанские (которых какой-то итальянский поэт предложил уже назвать «триполиталианскими») туземцы будут терпеливо сносить, а итальянские «искатели правды» помалкивать, то так тому и быть и некого винить (под влиянием итальянского поэта Ильич вдруг сам перешел с прозы на стихи. — *Б. С.)*. Что же касается итальянского «жульничества», то, когда действуют под девизом: «ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать», — так уж лучше без лишних экивоков и «божественную правду» лучше отставить в сторону. Триполи же итальянцам, действительно, к рукам, потому что лежит в ближайшем расстоянии от Италии. И колонии итальянцам нужны, потому что массы их отправляются на заработки в американские страны и оттуда привозят много денег и новые взгляды, и, под влиянием последних, видоизменяются воззрения сельского населения и вводятся новые порядки в сельскохозяйственной политике…

Будь здорова, умна, пригожа и весела. Твой…

P.S. Вот сегодня уже я прочел, что итальянцы отменили рабство в Триполи. Значит, младотурецкая конституция, 3 года просуществовав, не мешала оставаться крепостному рабству в Триполи; значит, вот уже и выиграли туземцы, потому что если их и будут бить по «свободе», то уже не такх «до бесчувствия», как при рабстве, когда и убить можно, да и вообще при турецких порядках «секим башка» совершалось свободнее, чем будет при итальянцах. Затем еще общеполитическое соображение. 1) Я не прочь, чтобы итальянцам их «аннексия» подороже досталась,

чтобы и Турция, и Италия поистощились. Это «нам» на руку, потому что, что ни говори, — проливы-то «нам» нужны; они много дадут и в политике, и в торговле, и в мореплавании (и мне лично было бы желательно побыть земским статистиком в Константинополе или в каком-нибудь Буюк-Даре и т. д.). 2) Когда Италия захватит Триполи (Триполитанию тож), то она больше должна бояться Франции, которая в случае «конфликта» может эту самую «Триполиталию» забрать в свои лапы. Теперь Италии останется только заграбастывать свою «ирредету» (населенные итальянцами территории. — *Б. С.)* от Австрии. Эти два обстоятельства могут заставить ее отпасть от «Тройственного Союза» (с Германией и Австро-Венгрией. — *Б. С.)* и перейти на сторону «Тройственного Соглашения» (т. е. Антанты, в которую входили Англия, Франция и Россия. — *Б. С.*), а это «нам» на руку в будущей великой европейской драке, во время которой я мечтаю объединить всеславянскую федерацию. Очень желаю Славянскую империю устроить! — и успеть переселиться в подтропические страны, пока еще не умер, и пожить с тобой на каких-нибудь каникулах под пальмами и поесть собственных апельсинов, попить «московского» чайку с собственными «алемончиками» и т. д., и т. д. Поздравляю тебя пока, в ожидании грядущих благ… Ну, до свидания! Будь здорова, весела и счастлива. Твой…»

Писал Ленин Лизе и по поводу Балканской войны. Вот его письмо конца 1912 года: «Что касается твоих опасений насчет войны, то я их теперь не разделяю. Как только начались конференции в Лондоне, я стал думать, что на них дело кончится благополучно: у сербов убавят для Австрии, у болгар и греков для Турции — и все помирятся, т. е. не будет европейской войны, а турки-то с балканцами, может быть, еще и возобновят, если турок кто-нибудь подуськает. Во всяком случае, результаты войны будут выгодны для балканских государств и для России (имея, конечно, в виду официальную политику и дипломатию), а для Австрии невозградимые убытки. В случае войны с Россией турки мало могут помочь австрийцам, против же них новая сила в виде балканского союза, и ход их через Ново-Базарский Санджак по ту сторону Митровицы закрыт навсегда. Когда же балканцы оправятся от войны в финансах и армиях, то Австрия, в случае европейской войны, может рассыпаться…»

Некоторые прогнозы Ленина оказались точны, другие — абсолютно неверны. В чем-то он угадал, в чем-то ошибся. Что ж, так случается со всеми политическими прогнозами, которые никогда не бывают полностью правильны или полностью

ошибочными. Отмечу, что Ленин очень точно предсказал состав коалиций, столкнувшихся друг с другом в Первой мировой войне. В частности, он предвидел переход Италии на сторону Антанты, распад Австро-Венгрии в результате поражения в мировой войне. Не ошибся Ленин и в том, что за 1-й Балканской войной вскоре последует 2-я. Вот только состав ее участников определил неверно. Не Турция и балканский союз столкнулись во 2-й Балканской войне, а два главных участника балканского союза — Сербия и Болгария. Так что балканский союз, вопреки ленинскому прогнозу, никакой роли в будущей европейской войне не сыграл. В сроках начала этой войны Ильич тоже сильно ошибся. Он отнюдь не рассматривал Балканскую войну как пролог к мировой войне, каким она фактически стала.

Весьма интересно следующее обстоятельство. Из ленинских писем Елизавете К. совершенно очевидно, что никаким сторонником Центральных держав вождь большевиков никогда не был. Не меньше чем краха России, он желал краха в результате войны Австро-Венгрии и Турции. И чтобы еще перед поражением русская армия успела бы захватить Константинополь (Стамбул) и Черноморские проливы. Очевидно, Ленин не слишком-то верил в наступление мировой революции в Европе. И рассчитывал, что революционная Россия сможет завоевать обширный плацдарм в Восточной Европе и Турции, а затем начать распространение пожара революции в Германии, Англии, Франции, в странах Востока.

Внешнеполитическая программа Ленина на удивление совпадала с программой царской России. Гегемония в славянском мире, контроль над Проливами… И никакое международное право не должно было ограничивать революцию, которую должна была нести другим народам на своих штыках русская революционная армия. По сути — то же стремление к мировому господству, которое толкнуло руководителей Германии к развязыванию двух мировых войн. Только лозунги разные. В одном случае — «приобретение жизненного пространства». В другом — «торжество пролетарской революции во всем мире». Потому-то Ленин отнюдь не собирался осуждать агрессию Италии против Турции и как будто ничего не имел против того, чтобы внешнеполитические акции проводились по принципу, отраженному в строках крыловской басни: «Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать!» Цинизм в политике он одобрял и чувствовал, что в случае прихода к власти в России большевикам придется действовать так же, как действовали итальянцы по отношению к туркам. А для оправдания любой агрессии достаточно только выставить жертву агрессии чудовищем. Что

Ленин и делает в письме на примере Турции. Потом, когда в 1920 году Красная Армия будет двигаться на Варшаву, имея «в уме» марш дальше — на Берлин, объяснения будут очень простые: ответ на польскую агрессию, прорыв капиталистического окружения, — сокрушение международного империализма, торжество передового общественного строя над отсталым, несущим страдания и смерть миллионам трудящихся, подавляющему большинству населения.

Однако и в случае с Турцией и Италией дело обстояло совсем не так просто, как казалось Владимиру Ильичу. Жители Триполитании почему-то не оценили прелестей «цивилизованного» итальянского колониализма и с началом Первой мировой войны под руководством турецких агентов подняли восстание, продолжавшееся вплоть до окончания боевых действий в Европе. Видно, прежние турецкие «гадости» после «гадостей» итальянских вспоминались чуть ли не как благодеяния. А «красный террор», которым Ленин удивил страну и мир после прихода к власти, по масштабу оказался сравним с резней армян, осуществленной младотурками в годы Первой мировой войны и после.

Все казалось Ильичу отдаленным и туманным будущим. Потому и излагал он свои внешнеполитические прожекты Лизе в несколько шутливой манере. И грядущий земной рай для человечества неожиданно превратился в мечту о рае для двоих на тропическом островке. Под пальмой, с цитрусовыми и с «московским» чаем… Любил-таки Виллиам Фрей Лизу, раз только с ней мыслил себе «каникулы» на экзотическом островке где-то в Южных морях. Если письма Инессе Ленин Крупской показывал, то письма Елизавете К. совсем не случайно так и остались для Надежды Константиновны тайной за семью печатями.

Нет, не в интересах германского или австрийского Генштаба действовал Ленин, а прежде всего в своих собственных. Его главный интерес был — взять власть в России, а потом, если повезет и хватит времени, то и во всем мире. Разумеется, как и Великому Инквизитору у Достоевского, власть Ленину была нужна только затем, чтобы облагодетельствовать человечество, всех накормить, все разделить по справедливости, всех сделать счастливыми, устроить царство небесное на земле. Помните, как Великий Инквизитор признавался Христу, что пожертвовал любовью к Богу ради любви к людям? «…И я благословлял свободу, которою Ты благословил людей, и я готовился стать в число избран ников твоих, в число могучих и сильных… Но я очнулся и не захотел служить безумию… Я ушел от гордых и воротился к смиренным для счастья этих смиренных. То, что я

говорю Тебе, сбудется, и царство наше созиждется… Завтра же Ты увидишь это послушное стадо, которое по первому мановению моему бросится подгребать горячие угли к костру Твоему, на котором сожгу тебя за то, что пришел нам мешать».

Ленин-то давно Бога отринул. Но не только Бога. Он и любовью к женщине без колебания готов был пожертвовать ради революции. Так и произошло в случае с Елизаветой К. Но в конечном счете то, на что рассчитывал Ленин, не получилось. Да, власть захватить и удержать удалось. Удалось подавить всю оппозицию, в том числе и разномыслие в самой партии (это — уже при Сталине). Удалось уничтожить частную собственность и лишить подавляющее большинство народа собственности, сделав ее государственной. Т. е. принадлежащей как бы и всем, и в то же время — никому конкретно. А фактически — узкому слою чиновников, позднее названному номенклатурой (ныне — словом явно ругательным). Удалось, опять-таки при Сталине, вернуть почти все территории Российской империи и поставить под свой контроль всю Восточную Европу и часть Германии — наследство Австро-Венгерской и Германской империй, о котором мечтал Ильич. Не удалось только убедить большинство людей в том, что свобода — это полное и искреннее принятие догм марксизма, а справедливость — это равенство в нищете, когда каждый удовлетворен тем, что сосед живет не богаче его самого, а те, кто живут действительно не бедно, свое богатство перед народом не слишком афишируют, сохраняя миф о партийцах-бессребренниках, горящих на работе. Потому и пришлось содержать самый мощный репрессивный аппарат в мире и самую мощную армию, чтобы можно было остальному миру противостоять.

Ленин физически не мог дожить до краха социализма в России. Но в историческом смысле этот крах последовал очень быстро — через семьдесят с небольшим лет после Октябрьской революции. Ленин такой исход не мог предвидеть и в страшном сне.

Можно предположить, что при последнем свидании Лиза окончательно убедилась, что Виллиам Фрей для дела готов пойти на такое, что для нее неприемлемо. Может быть, уже тогда любовница Ленина почувствовала, что он готов принять даже помощь австрийских властей, лишь бы сокрушить царский режим — главное препятствие на пути к власти. А что вместе с царем могут рухнуть Россия и Франция — страны, судьба которых была Лизе совсем не безразлична, — Ленина ничуть не волновало. И он, в свою очередь, во время последней беседы с Елизаветой до

конца осознал, что не примет она его таким, как есть, не сможет поставить революцию превыше всего. Не сможет видеть в нем неразрывно революционера и мужчину. И уже тогда, в Галиции, фактически произошел разрыв. Ведь после этого Ленин ни разу не написал Лизе, хотя знал, вероятно, и швейцарский, и парижский ее адреса. И Елизавета К. больше не разыскивала Виллиама Фрея. И даже не взяла цюрихский адрес, предложенный Ганецким. Кстати сказать, раз цюрихский, значит, встреча в парижском кафе произошла не раньше февраля 1916 года, когда Ленин перебрался из Берна в Цюрих. Думают Ганецкий не знал, что тогда, в июне 1914-го, Ленин приезжал для любовного свидания. Полагал, что встреча Лизы с Ильичом носит сугубо деловой характер. Что К. — одна из многих, кто оказывает партии те или иные услуги. Потому и позаботился, чтобы в ее паспорте не осталось никаких полицейских отметок. И, не зная о том, что между Лениным и Лизой все кончено, без опасений готов был вручить ей адрес, по которому можно установить связь с большевистским вождем.

Разумеется, свет на многое мог бы пролить сам Ганецкий. Если бы написал откровенные мемуары. Но до откровенных мемуаров Яков Станиславович Фюрстенберг, больше известный под псевдонимом Ганецкий, не дожил. Успел только опубликовать в 1933 году вполне невинные «отрывки воспоминаний» «О Ленине». В 1937 году Якова Станиславовича расстреляли, как человека, который слишком много знал. Чтобы не успел написать другие «отрывки», о немецком золоте для диктатуры пролетариата.

И сегодня мы не можем определенно сказать, сколь тесны были отношения Ленина и большевиков с властями Германии и Австро-Венгрии. Здесь не место разбирать вопрос о «германском золоте», сделавшем русскую революцию. Скажу только о том, что известно совершенно бесспорно. Ленин и его партия получали значительные денежные средства, имевшие своим первоисточником германское казначейство. Средства эти предназначались, прежде всего, для пропагандистской работы в России, издания легальных и нелегальных журналов и газет. Одним из промежуточных звеньев в цепи, по которой шли деньги, выступал российский и германский социал-демократ Парвус (Гельфанд), тот самый, который, оправдывая перед женой супружескую неверность, приводил в пример Карла Маркса. А другим звеном, с которым уже непосредственно связывался Ленин, и был Ганецкий. Впрочем, есть сведения, что и с Парвусом Ленин встречался — в Берне в 1915 году. Хотя сам Ильич не раз клеймил его как мошенника, оппортуниста и предателя и никакой симпатии к социал-демократу, превратившемуся в

удачливого коммерсанта, не испытывал. Прямо Ленин не давал расписок, что получал немецкие деньги. На пути к большевикам марки проходили несколько фирм и банков в нескольких странах и обезличивались. Отмывать деньги тогда умели не хуже, чем теперь. Однако о первоисточнике средств Ленин не мог не знать. Но деньги, что приходится брать на святое дело революции хоть от черта, хоть от дьявола, не пахнут. В этом вождь большевиков был убежден.

И, конечно же, никаких расписок и обязательств германский Генеральный штаб не требовал. Ведь не для шантажа давал он деньги. Для дела. Немцы нисколько не сомневались, что большевики будут потихоньку разлагать русский тыл и фронт. Дай Бог, эта работа приблизит революцию, а с ней — и победу Центральных держав. Предвидеть, что даже отпадения России от Антанты окажется недостаточным для германской победы, даже и в 1917 году было невозможно. Ленин же, заключая в 1918 году «похабный» Брестский мир, скорое поражение Германии и Австро-Венгрии просчитал весьма точно. И остался в выигрыше.

Исследователи давно заметили, что в переписке с Инессой Арманд Ленин в середине 1914 года с интимно-дружеского «ты» вдруг перешел на более официальное «вы». Иногда утверждают, что впервые обращение «вы» Ильич употребил в письме, написанном около 28 сентября 1914 года. Это утверждение неверно. Дело в том, что указанное письмо написано на английском языке. А этот язык допускает только одну форму — «вы» (you). Обращение на «ты» здесь в принципе невозможно. Если же взять первое письмо на русском языке, в котором Ильич обратился к Инессе на «вы», то оно датировано 17 января 1915 года. Причем, хотя написано письмо по-русски, начинается оно с английского обращения: «Dear friend!» (дорогой друг). А содержание письма просто удивительно! Ленин пишет Инессе по поводу свободы любви! Не больше и не меньше.

Арманд прислала Ильичу план брошюры, которую она собиралась писать на эту тему. Ленин этот план раскритиковал:

> «§ 3 — «требование (женское) свободы любви» советую вовсе выкинуть. Это выходит действительно не пролетарское, а буржуазное требование. В самом деле, что Вы под ним понимаете? Что можно понимать под этим?
>
> 1. Свободу от материальных (финансовых) расчетов в деле любви?
>
> 2. То же от материальных забот?
>
> 3. от предрассудков религиозных?

4. от запрета папаши etc.?

5. от предрассудков «общества»?

6. от узкой обстановки (крестьянской или мещанской или интеллигентски-буржуазной) среды?

7. от уз закона, суда и полиции?

8. от серьезного в любви?

9. от деторождения?

10. свободу адюльтера? и т. д.

Я перечислил много (не все, конечно) оттенков. Вы понимаете, конечно, не №№ 8–10, а или №№ 1–7, или вроде №№ 1–7.

Но для №№ 1–7 надо выбрать иное обозначение, ибо свобода любви не выражает точно этой мысли. А публика, читатели брошюры неизбежно поймут под «свободой любви» вообще нечто вроде №№ 8–10, даже вопреки Вашей воле.

Именно потому, что в современном обществе классы, наиболее говорливые, шумливые и «вверху-видные», понимают под «свободой любви» №№ 8–10, именно поэтому сие есть не пролетарское, а буржуазное требование. Пролетариату важнее всего №№ 1–2, а затем №№ 1–7, а это собственно не «свобода любви».

Дело не в том, что Вы субъективно «хотите понимать» под этим. Дело в объективной логике классовых отношений в делах любви».

Завершает письмо подпись по-английски: «Friendly shake hands! W. I.» (Дружески жму руку! В. И.). Думаю, что английскими оборотами в начале и в конце письма Ленин давал понять Инессе: переход на «вы» в их переписке — вынужденный. Как в английском языке, где местоимения «ты» просто нет.

Аргументы против «свободы любви» Инессу не убедили, о чем она и написала Ленину. Поэтому в следующем письме, от 24 января 1915 года, Владимир Ильич решил продолжить спор: «Чтобы неясное сделать ясным, я перечислил примерно десяток возможных (и неизбежных в обстановке классовой розни) различных толкований… Если это опровергать, то надо показать: (1) что эти толкования неверны (тогда заменить их другими или отметить неверные), или (2) неполны (тогда добавить недостающее), или (3) не так делятся на пролетарские и буржуазные.

Ни того, ни другого, ни третьего Вы не делаете. Пунктов 1–7 Вы вовсе не касаетесь. Значит, признаете их (в общем)

правильность? (То, что Вы пишете о проституции пролетарок и их зависимости: «невозможности сказать нет» — вполне подходит под пп. 1–7. Несогласия у нас здесь нельзя усмотреть ни в чем.) Не оспариваете Вы и того, что это пролетарское токование.

Остаются пп. 8–10. Их Вы «немного не понимаете» и «возражаете»: «не понимаю, как можно (так и написано!) *отождествлять (!!??) свободу любви с» п. 10… Выходит, что я «отождествляю», а Вы меня разносить и разбивать собрались? Как это? что это? Буржуазки понимают под свободой любви пп. 8–10 — вот мой тезис. Опровергаете Вы его? Скажите, что буржуазные дамы понимают под свободой любви?*

Вы этого не говорите. Неужели литература и жизнь не доказывают, что буржуазки именно это понимают? Вполне доказывают! Вы молча признаете это. А раз так, дело тут в их классовом положении, и опровергнуть и х едва ли можно и едва ли не наивно.

Надо ясно отделить от них, противопоставить им пролетарскую точку зрения. Надо учесть тот объективный факт, что иначе они выхватят соответствующие места из вашей брошюры, истолкуют их по-своему, сделают из вашей брошюры воду на свою мельницу, извратят ваши мысли перед рабочими, «смутят» рабочих (посеяв в них опасение, не чужие ли идеи Вы им несете). А в их руках тьма газет и т. д.

А Вы, совершенно забыв объективную и классовую точку зрения, переходите в «атаку» на меня, будто я «отождествляю» свободу любви с пп. 8–10… Чудно, ей-ей, чудно…

«Даже мимолетная страсть и связь» «поэтичнее и чище», чем «поцелуи без любви» (пошлых и пошленьких) супругов. Так Вы пишете. И так собираетесь писать в брошюре. Прекрасно.

Логичное ли противопоставление? Поцелуи без любви у пошлых супругов грязны. Согласен. Им надо противопоставить… что?… Казалось бы: поцелуи с любовью? А Вы противопоставляете «мимолетную» (почему мимолетную?) «страсть» (почему не любовь?) — выходит, по логике, будто поцелуи без любви (мимолетные) противопоставляются поцелуям без любви супружеским… Странно. Для популярной брошюры не лучше ли противопоставить мещански-интеллигентски-крестьянский (кажись, п. 6 или п. 5 у меня) пошлый и грязный брак без любви — пролетарскому гражданскому браку с любовью (с добавлением, если уж непременно хотите, что и мимолетная связь-страсть может быть грязная, может быть и чистая). У Вас вышло противопоставление не классовых типов, а что-то вроде «казуса», который возможен, конечно. Но разве в казусах дело? Если брать тему: казус, индивидуальный случай грязных поцелуев в браке и чистых в мимолетной связи, — эту тему надо разработать в романе (ибо тут весь гвоздь в *индивидуальной* обстановке, в анализе *характеров* и психики *данных* типов). А в брошюре?…

Право же, мне вовсе не полемики хочется. Я бы охотно отбросил это свое письмо и отложил дело до беседы. Но мне хочется, чтобы брошюра была хороша, чтобы из нее никто не мог вырвать неприятных для Вас фраз (иногда одной фразы довольно, чтобы была ложка дегтю…), не мог Вас перетолковывать. Я уверен, что Вы и здесь «против воли» написали, и посылаю это письмо только потому, что, может быть, Вы обстоятельнее разберете план в связи с письмами, чем по поводу бесед, а ведь план вещь очень важная.

Нет ли у Вас знакомой француженки-социалистки? Переведите ей (якобы с английского) мои пп. 1–10 и Ваши замечания о «мимолетной» и т. д. и посмотрите на нее, послушайте ее внимательнее: маленький опыт, что скажут люди со стороны, каковы их впечатления, их ожидания от брошюры?»

Бедный Ильич! Даже в столь деликатной сфере, как Любовь, он не мог отрешиться от вопросов классовой борьбы. Разбирая то, что собиралась писать на эту тему любящая его и любимая им женщина, Ленин не в последнюю очередь был озабочен тем, чтобы не лить воду на мельницу классовому врагу. Вдруг слова Инессы супостат перетолкует как-нибудь в свою пользу да еще дезориентирует рабочих в столь жизненно важном вопросе. Пролетарский брак вождь большевиков представлял себе чем-то идеальным, неземным, в реальной жизни почти не встречающимся. Да и то сказать, с пролетариатом Ильич никогда не сталкивался, его жизнь знал в лучшем случае по литературе, художественной и публицистической. Инесса же с заоблачных высей, судя по приводимым в ленинском письме цитатам из ее послания, спустилась на грешную землю. Она-то ведь хорошо знала быт рабочих на пушкинской фабрике Армандов, знала, что их отношения друг с другом совсем не идеальные и по сравнению с отношениями в среде крестьян или интеллигенции ничем не отличаются в лучшую сторону. Потому и писала о пролетарской проституции, о зависимости пролетарок от хозяев и управляющих, невозможности противостоять сексуальным домогательствам тех, кто на фабрике власть имеет.

Ленин, похоже, никогда не испытывал «мимолетной страсти» и плохо понимая, что же это такое. Идеалом он, наверное, считал любовь в браке. Но сам это прекрасное чувство, если и переживал, то, думается, не с Надей, а только с Лизой и Инессой. Для Ильича «мимолетная страсть» — скорее нечто «грязное», а не «чистое». У Инессы любовного опыта и опыта полноценной семейной жизни, с воспитанием детей, было гораздо больше. Она знала, что настоящая любовь может быть и на всю жизнь, и на краткие мгновения. Ленин писал о «свободной любви» казенно-

юридическим языком (сказывалось полученное им юридическое образование). Составленный Инессой план брошюры и ее письма к Ленину до нас не дошли. Но даже по немногим цитатам можно судить, что писала она на эту тему страстно, стараясь дойти до сердца будущих читательниц — работниц.

Уже после Октябрьской революции, в 1919 году, Инесса Арманд частично реализовала замысел брошюры о проблемах любви и брака в статье «Маркс и Энгельс по вопросу семьи и брака», опубликованной в сборнике «Коммунистическая партия и организация работниц». Она писала: «Осуществили ли мы уже полностью новые формы семьи? Превращены ли «отношения между обоими полами в чисто частные отношения… в которые обществу нечего вмешиваться»? Уничтожена ли проституция? Проведено ли общественное воспитание детей? Нет, еще не вполне. Мы переживаем переходное время, когда еще сохранилось немало обломков старого капиталистического здания. Одним ударом, сразу мы не в силах были смести все тяжедые пережитки буржуазных семейных отношений. Но мы сейчас уже можем и должны делать шаги к полному уничтожению «общности жен», т. е. официальной и неофициальной проституции — этого наиболее яркого проявления владычества капитала, который при условии пролетарской власти не может быть терпим. Мы должны и мы уже начали вводить общественное воспитание детей и уничтожать власть родителей над детьми. Мы можем и должны уже сейчас свести до минимума — необходимое пока еще для будущих детей — вмешательство государства в дело расторжения и заключения браков и в этом смысле пересмотреть декрет о браках, который, устранив совершенно необходимость вмешательства церкви, сохранил еще вмешательство государства при заключении и расторжении браков и власть родителей над детьми (например, право родителей определять, с кем из них при разводе будет жить ребенок). Если освобождение женщины немыслимо без коммунизма, то и коммунизм немыслим без полного освобождения женщины».

Может быть, Инесса верила, что «новые формы» и превращение половых отношений в «чисто частные» поможет и им с Ильичом наконец соединиться? Ленинскую критику она учла, лозунг «свободной любви» не выдвигала и «мимолетную страсть» «буржуазному браку» не противопоставляла. Зато проводила мысль о необходимости общественного воспитания детей и, в идеале, их полного освобождения от власти родителей, хотя в своих детях души не чаяла и даже в эмиграции старалась найти возможность пусть недолго, но побыть вместе с ними. Инесса прекрасно понимала, что значит для детей материнская

ласка, которую никакое «общественное воспитание» не заменит. Но считала себя обязанной следовать марксистским догмам. И бессмысленный лозунг повторила: о коммунизме как условии полного освобождения женщин и о полном освобождении женщин как необходимом условии коммунизма. Если вдуматься, получается, что ни того, ни другого достигнуть в принципе невозможно. Ведь прежде чем коммунизма достичь, надо женщин освободить. А чтобы их освободить, надо сперва коммунизм построить. Замкнутый круг получается. Не думаю, чтобы Ленин и Арманд всерьез размышляли, как из него можно выйти. Когда брошюры для народа писали, не очень-то над логикой аргументов задумывались. Главное, чтобы простым языком было написано и правоту большевизма подтверждало.

Историки, доказывающие, что никакого адюльтера (или № 10, если использовать замечательную ленинскую терминологию) не было, утверждают, что переходом на более официальное «вы» Ленин давал понять Арманд, что ее надежды на взаимность безосновательны, что дальше дружбы их отношения никогда не продвинутся и в любовь, тем более серьезную, не перейдут. Я думаю, что в действительности дело обстояло совсем наоборот. Когда отношения были только дружескими, Ленин совершенно свободно обращался к Инессе на «ты». А вот когда Ильич понял, что влюбился в свою корреспондентку, когда появилось то, что надо было скрывать от окружающих, он почувствовал необходимость в письмах перейти на «вы». Чтобы Надежду Константиновну, которая письма могла прочесть, без нужды не волновать и не огорчать. И произошла эта перемена в отношениях с Инессой, подчеркну, вскоре после того, как Владимир Ильич навсегда расстался с Елизаветой К.

Еще в самом начале июня 1914 года, вероятно, еще до свидания с Лизой, Ленин подробно раскритиковал присланный Инессой роман украинского социал-демократа писателя Владимира Винниченко «Заветы отцов»:

> «Прочел сейчас, my dear friend (мои дорогой друг), новый роман Винниченко, что ты прислала. Вот ахинея и глупость! Соединить вместе побольше всяких «ужасов», собрать воедино и «порок», и «сифилис», и романтическое злодейство с вымогательством денег за тайну (и с превращением сестры обираемого субъекта в любовницу), и суд над доктором! Все это с истериками, с вывертами, с претензиями на «свою» теорию организации проституток. Сия организация ровно из себя ничего худого не представляет, но именно автор,

сам Винниченко, делает из нее нелепость, смакует ее, превращает в «конька».

В «Речи» про роман сказано, что подражание Достоевскому и что есть хорошее. Подражание есть, по-моему, и архискверное подражание архискверному Достоевскому (Легенды о Великом Инквизиторе и «Бесов» Владимир Ильич Федору Михайловичу ни в коем случае не мог простить. — *Б. С.)*. Поодиночке бывает, конечно, в жизни все то из ужасов, что описывает Винниченко. Но соединить их все вместе и таким образом — значит, малевать ужасы, пужать и свое воображение и читателя, «забивать» себя и его.

Мне пришлось однажды провести ночь с больным (белой горячкой) товарищем — и однажды «уговаривать» товарища, покушавшегося на самоубийство (после покушения) и впоследствии, через несколько лет, кончившего-таки самоубийством. Оба воспоминания — a la Винниченко. Но в обоих случаях это были маленькие кусочки жизни обоих товарищей. А этот претенциозный махровый дурак Винниченко, любующийся собой, сделал отсюда коллекцию сплошь ужасов — своего рода «на 2 пенса ужасов». Бррр… Муть, ерунда, досадно, что тратил время на чтение.

P. S. Как идет дело с устройством на лето у тебя?

Твой В. И.

Franchemeni, continuez vous a vous facher ou non?» (Скажи откровенно, продолжаешь ли сердиться на себя или нет? (фр.). — *Б. С.)*.

Это — письмо друга, а не любовника. Даже само слово «любовница» употреблено здесь в явно негативном контексте. Вероятно, роман Винниченко Инессе в целом понравился. Иначе не стала бы она отнимать драгоценное ленинское время, рекомендуя Владимиру Ильичу прочесть «Заветы отцов». Возможно, Инессу привлекла тема «организации проституток», избавления их от порочного ремесла. Ведь когда-то и сама пыталась перевоспитывать «жриц любви». Но Ленина, по всей видимости, оттолкнуло чересчур подробное, на его взгляд, описание «порока». В ту пору произведения Винниченко называли чуть ли не «порнографией». Сегодня-то эти романы воспринимаются как вещи вполне невинные. Но Ильич, похоже, придерживался в этих вопросах крайне консервативных, если не сказать — ханжеских взглядов. И «ужасы» не переносил, даже в

литературе. Правда, после 17-го года ужасов в России было с большим избытком, и ко многим из них Ленин имел прямое касательство. Но это — другое дело. Он только отдавал приказы, устные и письменные, будь то об убийстве царской семьи или о казнях тысяч и тысяч заложников и заподозренных в контрреволюции. Никого из своих жертв Ильич в лицо никогда не видел. И их страдания мог вообразить только по литературе, по романам того же Достоевского.

Предложение, написанное по-французски, несомненно, относится к проведенному им «расставанию». Очевидно, в одном из писем Инесса ругала себя за излишнюю страстность в том послании, что отправила Ильичу в конце 1913 года. И тот ее утешал.

Но вот другое письмо. Ленин писал его Инессе в начале июля 1914 года, вскоре после расставания с Елизаветой К.: «Никогда, никогда я не писал, что я ценю только трех женщин. Никогда!!! Я писал, что самая моя безграничная дружба, абсолютное уважение и доверие посвящены только 2–3 женщинам. Это совсем другая, совсем-совсем другая вещь.

Надеюсь, мы увидимся здесь после съезда и поговорим об этом. Пожалуйста, привези, когда приедешь (т. е. привези с собой), все наши письма (посылать их заказным сюда неудобно: заказное письмо может быть весьма легко вскрыто друзьями. — И так далее…) Пожалуйста, привези все письма, приезжай сама и поговорим об этом».

Из-за начавшейся войны Инессе не удалось приехать в Поронино. И мы не знаем, вернула ли она когда-нибудь Ленину его письма. А те три женщины, которых упоминает Ильич, это, скорее всего, — Надежда Крупская, Елизавета К. и Инесса Арманд. Но почему Ленин на этот раз говорил неопределенно и неуверенно: две-три? Возможно, потому, что к тому моменту уже кто-то из женщин утратил безграничную дружбу, абсолютное уважение и доверие, а быть может, и любовь вождя. Это могла быть либо Крупская, либо Елизавета К.

И уже в середине июля во вполне деловом, на первый взгляд, письме к Инессе, где речь идет о докладе ЦК, который Арманд должна была огласить в Брюсселе перед Международным Социалистическим Бюро, Ильич вдруг переходит к совсем лирическим рассуждениям (по-английски): «О, мне хотелось бы поцеловать Вас тысячи раз, приветствовать Вас и пожедать успехов: я вполне уверен, что Вы одержите победу». Это слишком уж походит на признание влюбленного. Хотя дальше, тоже на английском, опять чисто деловые вопросы — что все расходы будут оплачены из партийной кассы, когда нужно прибыть в

Брюссель и т. п.

Инесса должна была убедить Международное Социалистическое Бюро, что только большевики представляют собой российскую социал-демократию, а другие фракции не пользуются никакой

поддержкой со стороны рабочих и не заслуживают никакого доверия. Ленину необходимо было международное признание своего лидерства. Но не только. От признания большевиков единственными представителями российской социал-демократии зависела передача только им всех «держательских» денег из наследства Шмита, находившихся в распоряжении МСБ. И докладу Инессы Ильич придавал большое значение. Очень надеялся, что та, кто его любит и кого он любил, не подведет. В том же письме Ленин особо подчеркивал: «Я уверен, что ты из числа тех людей, кои развертываются, крепнут, становятся сильнее и смелее, когда они одни на ответственном посту».

Теперь Владимир Ильич не возражал, чтобы Инесса находилась рядом с ним и Крупской. Тем более, что с Надеждой Константиновной у Инессы сохранялись прекрасные отношения. Так, весной 1914 года Арманд шутливо корила Крупскую: «Как ты давно не писала мне, дорогая! Как тебе не стыдно забывать меня и не писать! Пиши поскорее!»

Осенью 1914 года все трое опять встретились в Берне. Надежда Константиновна вспоминала об этом совершенно спокойно, в идиллическом описании швейцарской природы никак не обнажая внутренний драматизм ситуации: «Жили на Дистельвег — маленькой, чистенькой, тихой улочке, примыкавшей к бернскому лесу, тянувшемуся на несколько километров. Наискосок от нас жила Инесса, в пяти минутах ходьбы — Зиновьевы, в десяти минутах — Шкловские. Мы часами бродили по лесным дорогам, усеянным осыпавшимися желтыми листьями. Большею частью ходили втроем — Владимир Ильич и мы с Инессой. Владимир Ильич развивал свои планы борьбы по международной линии. Инесса все это горячо принимала к сердцу. В этой развертывавшейся борьбе она стала принимать самое непосредственное участие: вела переписку, переводила на французский и английский языки разные наши документы, подбирала материалы, говорила с людьми и пр. Иногда мы часами сидели на солнечном откосе горы, покрытой кустарниками. Ильич набрасывал конспекты своих речей и статей, оттачивал формулировки, я изучала по Туссену итальянский язык. Инесса шила какую-то юбку и грелась с наслаждением на осеннем солнышке…»

Подозреваю, что частенько Ильич и Инесса гуляли вдвоем,

без Крупской. И тогда речь наверняка шла не только о международном положении и перспективах российской социал-демократии. Хотя и об этом тоже. Как мы уже убедились на примере Елизаветы К., даже беседуя с любимой женщиной, Ленин не мог обойтись без проблем классовой борьбы. Правда, фиаско с Лизой могло чему-то научить Ильича. Не исключено, что их «тет-а-теты» с Инессой проходили иначе. Говорили о вещах отвлеченных, о любви, целовались, обнимались…

В марте 1915 года Крупскую постигло горе. У нее умерла мать. Надежда Константиновна со светлой грустью вспоминала о Елизавете Васильевне: «Была она близким товарищем, помогавшим во всей работе… Вела хозяйство, охаживала приезжавших и приходящих к нам товарищей… Товарищи ее любили. Последняя зима была для нее очень тяжелой. Все силы ушли. Тянуло ее в Россию, но там не было у нас никого, кто бы о ней заботился. Они часто спорили с Владимиром Ильичом, но мама всегда заботилась о нем, Владимир был к ней тоже внимателен. Раз как-то сидит мать унылая. Была она отчаянной курильщицей, а тут забыла купить папирос, а был праздник, нигде нельзя было достать табаку. Увидал это Ильич: «Эка беда, сейчас я достану», — и пошел разыскивать папиросы по кафе, отыскал, принес матери. Как-то незадолго уже до смерти говорит мне мать: «Нет, уж что, одна я в Россию не поеду, вместе с вами уж поеду». Другой раз заговорила о религии. Она считала себя верующей, но в церковь не ходила годами, не постилась, не молилась, и вообще никакой роли религия в ее жизни не играла; но не любила она разговоров на эту тему, а тут говорит: «Верила я в молодости, а как пожила, узнала жизнь, увидела: такие это все пустяки». Не раз заказывала она, чтобы, когда она умрет, ее сожгли. Домишко, где мы жили, был около самого бернского леса. И когда стало греть весеннее солнце, потянуло мать в лес. Пошли мы с ней, посидели на лавочке с полчаса, а потом еле дошла она домой, и на другой день началась у нее агония. Мы так и сделали, как она хотела, сожгли ее в бернском крематории. Сидели мы с Владимиром Ильичом на кладбище, часа через два принес нам сторож жестяную кружку с пеплом и указал, где зарыть пепел в землю». Мать Крупской умерла 11/24 марта 1915 года Может быть, потому и просила сжечь ее после смерти, что надеялась: когда-нибудь перенесут ее останки на родину. Урну-то перевозить за тридевять земель все же легче, чем гроб. И действительно, в 1969 году по постановлению ЦК КПСС ее прах был перенесен из Берна в Ленинград.

Из рассказа Крупской может создаться впечатление, будто Елизавета Васильевна умерла чуть ли не атеисткой. Но вряд ли

так было на самом деле. Сама Надежда Константиновна, как и Владимир Ильич, в Бога не верила и к религии относилась весьма негативно. И в мемуарах, предназначенных в том числе и для воспитания подрастающего поколения, вольно или невольно стремилась всячески приуменьшить религиозность матери. Мать же очень не хотела огорчать дочь и зятя. Наверное, и молилась, и в церковь ходила (не знаю, была ли в Берне православная церковь, возможно, приходилось посещать лютеранскую). Только не афишировала это и старалась, чтобы об ее молитвах не узнали Надя и Ильич. Да и слова Елизаветы Васильевны, сказанные незадолго до смерти, можно истолковать так, что она лишь убедилась: религия играет в жизни людей не столь значительную роль, как казалось когда-то юной девушке. Бог не предотвращает страдания, не облегчает жизнь.

То, что мать все же была верующей, подтверждает и следующий инцидент, описанный Крупской: «Еще более студенческой стала наша жизнь. Квартирная хозяйка — религиозно-верующая старуха-гладильщица — попросила нас подыскать себе другую комнату, она-де желает, чтобы у ней комнату снимали люди верующие. Переехали в другую комнату». Значит, квартирная хозяйка не сомневалась в том, что Елизавета Васильевна верила в Бога. Студенческой же жизнь четы Ульяновых стала потому, что вести домашнее хозяйство Надежда Константиновна так толком и не научилась. После смерти матери пришлось отказаться от домашней пищи в пользу дешевых столовых.

Полагаю, что в последние месяцы своей жизни Елизавета Васильевна почувствовала, что у дочери появилась опасная соперница, все больше завоевывавшая сердце Владимира Ильича. Не знаю, были ли на эту тему разговоры у Ленина с тещей. Скорее всего, нет. Елизавета Васильевна была женщиной умной и понимала, что тут она бессильна. Словами все равно ничего не сделаешь. Сердцу ведь не прикажешь. Остается только ждать и надеяться: может быть, со временем любовь Ильича к Наде возродится. Но до развязки этой истории матери Крупской не суждено было дожить.

После смерти матери у Надежды Константиновны от нервного потрясения обострилась базедова болезнь. Владимир Ильич отправился с женой в санаторий, расположенный в местечке Зёрёнберг у отрогов Альп. Крупской здесь понравилось. Она писала одному из друзей: «У нас тут очень недурно, такие же горки, как в Поронине, есть и более далекие прогулки. Довольно красиво и достаточно пустынно, так как Sorenberg — 16 километров от железной дороги. Мы живем в пансионе, тут

человек 30 швейцарцев еще живет, но мы имеем особую столовую и живем как дома.

Приезжайте-ка, будем очень рады. Я теперь почти совсем здорова, нервы приходят в порядок окончательно, вообще с этой стороны благополучно. Дождь тут льет, как в Поронине, но работы порядочно, так что скучать некогда…»

Вскоре к ним присоединилась Инесса. Надежда Константиновна вспоминала: «В Зёренберге заниматься было очень хорошо. Через некоторое время к нам туда приехала Инесса. Вставали рано и до обеда, который давался, как и во всей Швейцарии, в 12 часов, занимался каждый из нас в своем углу в саду. Инесса часто играла в эти часы на рояле, и особенно хорошо занималось под звуки доносившейся музыки. После обеда уходили иногда на весь день в горы. Ильич очень любил горы, любил под вечер забираться на отроги Ротхорна, когда наверху чудесный вид, а под ногами розовеющий туман, или бродить на Штраттенфлу — такая гора была километрах в двух от нас, «проклятые шаги» — переводили мы. Нельзя было никак взобраться на ее плоскую вершину — гора была покрыта какими-то изъеденными весенними ручьями камнями. На Ротхорн взбирались редко, хотя оттуда открывался чудесный вид на Альпы. Ложились спать с петухами, набирали альпийских роз, ягод, все были отчаянными грибниками — грибов белых была уйма, но наряду с ними много всякой другой грибной поросли, и мы так азартно спорили, определяя сорта, что можно было подумать — дело идет о какой-то принципиальной резолюции».

Совершенно идиллическая картинка! Только есть основания полагать, что не так уж в порядке были нервы у Крупской в Зёренберге. Ведь не могла она не видеть, что муж все больше прикипает душой к Инессе.

Впрочем, и Арманд пребывала далеко не в идиллическом настроении, сильно тосковала по детям, по России. Из Зёренберга писала дочери Инессе: «На чужбине нет корней и живешь как бы в безвоздушном пространстве — и потому становится душно». И в том же письме признавалась: «Я очень люблю на Вас смотреть. Вы обе (дочери Инесса и Варя. — *Б. С.*) у меня такие красивые. В чувстве материнства еще очень много инстинктивного, очень многое, что к женщинам перешло от матерей-самок, — между прочим, это стремление видеть в своих детях что-то лучшее, чем все остальные дети, но все-таки неправда, что матери слепы, они, наоборот, болезненно переживают все недостатки, все изъяны в своих детях, видят их в увеличительное стекло. И вы мне никогда не причиняли этой боли».

Инесса любила своих детей не меньше, чем Ленина. И может

быть, любовь к детям даже мешала ей соединиться с Ильичом? Из-за подсознательного страха, что когда Ленин всегда будет рядом, то заберет уже всю ее любовь, и на детей не останется.

Александр Солженицын в документальной повести «Ленин в Цюрихе» так передает внутренние переживания Крупской во время последней эмиграции: «Воспитывала в себе последовательность: не отклонять с пути Володю ни на волосок — так ни на волосок. Всегда облегчать его жизнь — и никогда не стеснять. Всегда присутствовать — и в каждую минуту как нет ее, если не нужно… О сопернице не разрешать себе дурного слова, когда и есть что сказать. Встречать ее радостно как подругу — чтобы не повредить ни настроению Володи, ни положению среди товарищей…» Другой русский писатель, Марк Алданов, в романе «Самоубийство» увидел ситуацию глазами Ленина: «Он думал об Инессе — и неприятности как рукой снимало. Все заливалось светом.

Теперь ему иногда (очень редко) казалось, будто он прежде чего-то не понимал в жизни. Тотчас гнал от себя эту вздорную мысль: какое отношение к делу могла иметь любовь! Был очень оживлен и весел… Лорд Китченер сделал свое нашумевшее предсказание: война продлится три года. В Швейцарии оно, разумеется, стало Ленину известным и произвело на него впечатление. Он ненавидел генералов почти так же, как ненавидел членов Второго Интернационала, но хороших специалистов ценил и к их мнениям прислушивался. Чувства у него были двойственные. Чем дольше продлится война, тем больше шансы революции. Но неужто три года ждать? Он мог умереть до этого, так революции и не дождавшись! Ненависть, всегда занимавшая огромное место в его жизни, теперь просто переполняла его душу. Люди, даже самые преданные сторонники, становились ему все противнее — почти все, кроме Инессы и жены».

А вот как рисует взаимоотношения в треугольнике Ленин — Арманд — Крупская Марсель Боди, бывший сотрудник советского посла в Норвегии Александры Коллонтай (она была подругой Инессы Арманд). Боди служил в посольстве первым секретарем, и они часто вместе с Коллонтай гуляли в окрестностях Осло. Однажды речь зашла о ранней смерти Ленина. «Он не мог пережить Инессу Арманд», — заявила Александра Михайловна. И добавила: «Смерть Инессы ускорила его болезнь, ставшую роковой. «Инессы?» — удивился Боди, никогда прежде не слышавший этого имени. «Да, — подтвердила Коллонтай. — Когда в 1921 году (в действительности — в 1920-м. — *Б. С.)* ее тело привезли с Кавказа, где она умерла от тифа, мы шли за

гробом, и Ленина невозможно было узнать. Он шел с закрытыми глазами, и казалось, что вот-вот упадет». Александра Михайловна добавила, что Крупская была полностью в курсе отношений Ленина и Арманд, знала, что Ильич сильно привязан к Инессе, и выразила готовность уйти, чтобы освободить место удачливой сопернице. Но Ленин удержал Надю от этого шага.

Сообщение Боди прокомментировал английский историк Луис Фишер: «Крупская осталась бы с Лениным по тем же причинам, по каким многие другие жены в подобных обстоятельствах. Но, кроме того, он был не только ее мужем, а может быть, и не в первую очередь мужем, а политическим руководителем, и она жертвовала собой ради его потребностей, даже если одной из потребностей была Инесса. Остаться с Лениным значило служить коммунистическому движению, ее сильнейшей страсти. Жены часто подчиняют свою личную жизнь карьере мужа, даже если он — человек куда менее значительный, чем Ленин. В конце концов, он попросил ее не уходить. Но если бы попросил уйти, она бы ушла, не сказав ни слова, не проронив ни слезы, просто в порядке партийной дисциплины».

А уже знакомый нам Николай Валентинов роман Ленина с Инессой охарактеризовал так: «Ленин был глубоко увлечен, скажем, влюблен в Инессу Арманд — его компаньонку по большевистской партии. Влюблен, разумеется, по-своему, т. с., вероятно, поцелуй между разговором о предательстве меньшевиков и резолюцией, клеймящей капиталистических акул и империализм… Наружность Инессы, ее интеллектуальное развитие, характер делали из нее фигуру, бесспорно, более яркую и интересную, чем довольно-таки бесцветная Крупская. Ленин ценил в Инессе пламенность, энергию, очень твердый характер, упорность…

Знала ли Крупская об отношениях между Лениным и Инессой? Не могла не знать, трудно было не заметить. Со слов… Коллонтай… Марсель Боди сообщает, что Крупская хотела «отстраниться», но Ленин не шел, не мог идти на такой разрыв. «Оставайся», — просил он… Ленин не хотел расстаться с прошлым, он любил Крупскую и вместе с тем Инессу — налицо два параллельных чувства. Жизнь оказалась не влезающей ни в так называемые «революционные» декларации Колосова (имеется в виду главный герой понравившегося Ленину одноименного рассказа Тургенева — тот уходит от девушки, которую разлюбил, — и его декларация о необходимости вовремя порвать с прошлой любовью: «О, господа, человек, который расстается с женщиной, некогда любимой, в тот горький и великий миг, когда он невольно сознает, что его сердце не все, не вполне проникнуто

ею, этот человек, поверьте мне, лучше и глубже понимает святость любви, чем те малодушные люди, которые от скуки, от слабости продолжают играть на полупорванных струнах своих вялых и чувствительных сердец». — *Б. С.*), ни в чепуху о «пролетарском браке» и «классовой точке зрения в любви». Нельзя не отметить проявленное потом Крупской, совершенно особое, мужество самозабвения. Под ее редакцией вышел сборник статей, посвященных «Памяти Инессы Арманд», и ее портрет и теплые строки о ней она поместила в своих воспоминаниях. Это требовала память о Ленине. Далеко не всякая женщина могла бы так забыть себя…»

Последний директор Центрального музея Ленина Владимир Мельниченко, движимый заботой доказать, что на адюльтер Ильич был не способен и что между ним и Инессой ничего предосудительного, даже поцелуев, не было, свидетельство Коллонтай подвергает самому серьезному сомнению: «Вряд ли стоит доверять этим сведениям буквально. Не было той осенью рядом с троими ни Коллонтай, ни Боди. То, что он написал через сорок лет после происходивших событий с чужих слов, естественно, должно подвергаться сомнению, тем более, в таком деликатном вопросе. Ильич вряд ли мог сказать жене именно так: «Оставайся». Не ленинский это слог.

Придумано сие, казалось бы, сообразно ситуации. Но на самом деле ситуация-то как раз была иной. Ленину даже в голову не приходило расставаться с женой, поэтому коли Крупская и затеяла разговор на эту тему, то Ленину не с руки было просить ее остаться, скорее всего, муж мог сказать, что расстаться придется с Инессой. По крайней мере, так именно он и поступил, чтобы не ранить жену…»

Ну, насчет того, сказал ли Ленин Крупской: «Оставайся», или выбрал какие-то другие слова, Мы знать, конечно, не можем. Ведь Боди опубликовал свой рассказ о встречах с Коллонтай в 1952 году во французском журнале «Preuves». В обратном же переводе с французского ленинские слова почти наверняка были переданы не так, как они буквально звучали на русском. Кроме того, Коллонтай рассказывала Боди об истории Арманд и Ленина несколько десятилетий спустя после их смерти и вряд ли могла помнить детали. Действительно, ни она, ни Марсель Боди рядом с Лениным ни во Франции, ни в Швейцарии не были, свечи, как говорится, при его встречах с Арманд не держали. А слышала всю историю Александра Михайловна наверняка от самой Инессы. Той же о несостоявшемся разводе рассказала, конечно же, не Крупская, а Ленин. И уже одно то, что он ей рассказал такое, доказывает, что после «расставания» в Польше Инесса и Ильич

вновь соединились в Швейцарии уже не просто как товарищи по борьбе и даже не как близкие друзья, а как друзья интимные, иначе сказать — любовники. Боди-то ничего не говорит, где именно и когда Крупская предлагала Ленину уйти, в Париже и Кракове, еще до мировой войны, или в Берне, уже после ее начала. Я-таки уверен, что именно в Берне Надежда Константиновна предложила Владимиру Ильичу освободить место для Инессы. И ни о какой «отставке» для Инессы, понятное дело, на этот раз речи не шло. Просто Ленину не хотелось огорчать Надю, с которой прожил полтора десятка лет. Как женщина она, видно, давно уже не волновала Ильича. Но теплые товарищеские чувства он к Крупской, без сомнения, сохранил. Да и помощником Надежда Константиновна стала почти незаменимым, выполняя функции секретаря и референта. Очевидно, сложившееся положение тогда устраивало всех. Крупская никак не препятствовала встречам Ленина и Инессы. Ильич, в свою очередь, щадя самолюбие жены, не афишировал своей связи с Арманд. А Крупская была достаточно умна, чтобы не устраивать сцен Арманд и не рвать с ней сложившиеся еще в Париже, при других обстоятельствах, дружеские отношения.

Да, права была Надежда Константиновна, когда говорила о Ленине: «Никогда не мог бы он полюбить женщину, с которой бы он расходился во взглядах, которая не была бы товарищем по работе». Так и не стала единомышленницей и товарищем по работе Елизавета К., и ее связь с Виллиамом Фреем угасла. Сама Надежда Константиновна никаких политических разногласий с мужем никогда не имела. Дело Ленина всегда было и ее делом. Положение жены вождя партии до некоторой степени удовлетворяло честолюбею Крупской. Тем более, что и она, и Ленин верили: рано или поздно большевики придут к власти. А быть женой руководителя одного из крупнейших государств мира неизмеримо почетней, чем роль супруги лидера оппозиционной партии, вынужденного ютиться в эмиграции. К тому же Крупская знала: для Ленина она давно уже не любимая женщина, а только ближайший товарищ по работе. И чувствовала: стоит ей только высказать по какому-нибудь важному политическому вопросу точку зрения, отличную от точки зрения мужа, и их союз может очень скоро распасться.

Инесса Арманд, по крайней мере однажды, подвергла испытанию свои отношения с Владимиром Ильичом. И, как и в случае с Лизой, дело касалось выдвинутого Лениным лозунга поражения «своего» правительства в мировой войне. Еще 17 октября 1914 года он писал в Стокгольм А. Г. Шляпникову, выполнявшему роль связного между Заграничным и Русским

бюро ЦК РСДРП: «Неверен лозунг «мира» — лозунгом должно быть превращение национальной войны в гражданскую войну… Чтобы борьба шла по точной и ясной линии, нужен обобщающий ее лозунг. Этот лозунг: для нас, русских, с точки зрения интересов трудящихся масс и рабочего класса России, не может подлежать ни малейшему, абсолютно никакому сомнению, что наименьшим злом было бы теперь и тотчас — поражение царизма в данной войне. Ибо царизм во сто раз хуже кайзеризма».

Ильичу все было совершенно ясно: поражение царской армии может привести к падению самодержавия и тем облегчит задачу русских революционеров. То, что при этом поражении погибнут сотни тысяч и даже миллионы русских солдат, Ленина волновало мало. Что могут значить какие угодно жертвы в сравнении с грядущим торжеством революции! Инесса же придерживалась иной точки зрения. Француженка Арманд давно уже ощущала себя русской. И страдания русских людей были ей далеко не безразличны. Вообще, женщины воспринимают любую войну гораздо трагичнее, чем мужчины. В гибнущих на «фронтах, кровью пьяных» солдатах они видят сыновей, братьев, мужей… А Инесса к тому же не могла не понимать, что поражение России может вызвать и поражение ее родины — Франции. Близко знавший Арманд в то время большевик Иван Федорович Попов, после 1917 года из партии вышедший, но зато ставший автором одной из самых популярных советских пьес о семействе Ульяновых со скромным названием «Семья», рассказывал много лет спустя писательнице Ларисе Васильевой: «Моя жизнь была связана с Инессой очень сильно, я бы сказал, кровно, насмерть. В определенный период нашей жизни, в тысяча девятьсот шестнадцатом году, мы вместе с ней решили: наши взгляды на революцию требуют пересмотра.

Мы ни с кем не говорили, только друг с другом, но оба пришли к тому, что Ленин слишком категоричен в суждениях, слишком далеко идет. Оба считали, что отечество нужно защищать. Тогда Инесса напомнила мне про ленинскую месть Романовым за брата и предположила, что в его отношении к самодержавию много личного.

А я вспомнил, как Ленин, когда был у меня в Брюсселе, однажды рассказал, что уезжал на лодке по Волге с братом Сашей, и над рекой стелилась песня. Он вспомнил казненного Сашу, помолчал и вдруг, как бы про себя, не обращаясь ко мне, прочитал строфу из пушкинской оды «Вольность»:

Самовластительный злодей,
Тебя, твой род я ненавижу,

Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостью увижу.

Инесса шесть раз рожала (в действительности пять, но Лариса Васильева точно запомнила, что Попов сказал именно «шесть раз»; возможно, от таких оговорок идут легенды о шестом ребенке Инессы, якобы от Ленина. — *Б. С.),* ей, как матери, вдруг страшны показались и пушкинские строки, и то, что Ленин их процитировал в связи с воспоминанием о Саше.

Мы долго говорили с ней. Она решила, что напишет Ленину о своих сомнениях. Написала, получила ответ, после которого сказала мне: «Уходи, Жан, уходи и не оглядывайся. Ты молод, слабоват характером, поэтичен. Вся эта жизнь не для тебя. Пиши книги и люби жизнь, если сможешь. А мне отступать некуда. Я под его гипнозом навсегда. Мне нельзя иначе. Если отступлюсь, значит, все мои жертвы были напрасны и жизнь прошла зря».

Стоит указать, что в переписке с Арманд Ленин неоднократно выражал недовольство Поповым, причем в самой резкой форме. Сам Иван Федорович так рассказал об этом Ларисе Васильевой: «Тогда у меня был полный любовный крах — дочь моей квартирной хозяйки Жанна, по которой я помирал, собралась замуж за другого. Приличного, добропорядочного бельгийца. Тогда я не понимал, как это она предпочла меня кому-то. Меня! Жалкого эмигранта, политического ссыльного! А ведь правда я, дурак, думал — меня можно любить просто так. Ни за что. И Ленин в этот день (25 января 1914 года, когда навестил Попова в Брюсселе. — *Б. С.)* почувствовал — у меня неприятности: «Вы что-то немножко не тот стали? Вы чем-то расстроены? Где причина?» «Никакой причины нет». «Если верно, что не знаете причины, тем хуже. Всегда нужно найти причину. И быстро ее устранить. Да вы и сами это знаете, но что-то скрываете и хитрите».

Мне не хотелось рассказывать ему о своих любовных неприятностях. И я замял разговор. Лишь накануне своего отъезда Ленин вдруг спросил меня: «Почему я в этот приезд ни разу не встречал дочь мадам Артц? Где Жанна? Уехала куда-нибудь?» «Разве я сторож Жанны, Владимир Ильич? Да и не будем об этом говорить. Это не стоит вашего внимания».

В дверях квартиры мы неожиданно столкнулись с хозяйкой и Жанной. Обе провожали гостя. Когда поднялись наверх в мою комнату, я сказал: «Ну вот вы и встретили Жанну. Это был ее жених, она выходит замуж». Я стал искать спички, чтобы зажечь газовую лампочку, и у меня вырвалось: «Как бы я хотел убежать отсюда, чтобы ничего не видеть, не слышать!» Владимир Ильич

никак на это не отозвался. Раскрыв чемодан, он сказал: «Не опоздать бы к поезду. Вы спуститесь-ка, расплатитесь за меня с хозяйкой, а я чай приготовлю. И не поднимайтесь, а я погашу газ, закрою комнату, и мы сойдемся внизу».

Я проводил его на вокзал, посадил в поезд, вернулся, войдя в комнату и зажегши свет, увидел посреди стола записку. На записке деньги. «Вам надо уехать отсюда, — писал Ленин. Слово «надо» было дважды подчеркнуто. — Поезжайте немедленно к семье Инессы Арманд, они уехали на западное побережье (Франции. — *Б. С.)* в Сан-Жан-де-Мон. Рассейтесь там, отдохните. Я телеграфирую о вашем приезде. Зная, что у вас, как всегда, нет денег, оставляю вам двести франков». А за подписью еще приписка, почерком помельче — на бумаге оставалось мало места: «И советую вам утопить ваши неприятности в океане»… Утопил. Мы с Инессой занялись работой».

Совершеннейшая идиллия, в которой Ленин предстает добрым волшебником из детской сказки. Вот только в письмах к Арманд о любовной истории Попова Ильич отзывался совсем не так деликатно, поскольку тот все никак не мог перевести доклад для брюссельского совещания с Международным Социалистическим Бюро. «Не знаешь ли, что с Поповым в Брюсселе? — писал Ленин 2 марта 1914 года. — Он не отвечает мне 2–3 недели (!!) на спешные и важные письма. А он мне нужен! Не заболел ли? Или его «история», love-story, что-либо с ним сделала, выгнала его из Брюсселя и т. п.? Если ничего не знаешь, то, пожалуйста, сделай так: подожди два дня; если за это время не будет от меня иной вести, напиши в Брюссель через других знакомых ему и об нем, чтобы я наверное узнал, в чем дело. Нечто невероятное и невозможное! Если знаешь что-нибудь о нем, черкни мне тотчас». А 8 марта уже метал гром и молнии: «Вчера взбесило меня нахальнейшее письмо Гюисманса (одного из лидеров бельгийских социалистов и председателя Международного Социалистического Бюро II Интернационала. — *Б. С.),* коему Попов до сих пор не доставил доклада!! А обещал сделать это 4/II (2/II я уезжал из Брюсселя и из кафе — помнишь? Не знаешь ли названия кафе? Около Gare du Nord (Северного вокзала (фр.). — *Б. С.)* — писал об этом Гюисмансу.

Послал бешеное заказное с обратной распиской письмо этому мерзавцу Попову: занимайся, дьявол тебя бери, какими хочешь любвями и болезнями, но если взял партийное обязательство, то выполняй или вовремя передай другому. Написал также Карлсону (латышскому большевику, работавшему в Брюсселе наборщиком в типографии; Ленин надеялся, что тот сможет найти Попова и побудить его взяться за перевод злосчастного доклада. — *Б. С.).* А

Гюисмансу ответил, что его выражения оскорбительны, что он не имеет никакого права их употреблять и если он не откажется формально от них, то это будет последнее письмо, которое я ему пишу!

Сволочь Попов — выставил меня обманщиком перед Гюисмансом…»

Кстати сказать, то, что пишет Ленин Инессе, как будто опровергает воспоминания Попова. Судя по письмам, ни в какую Францию отдохнуть и встретиться с Арманд Владимир Ильич Ивана Федоровича не отправлял ни запиской, ни в разговоре. По крайней мере, Инессе он об этом явно ничего не сообщил. Может быть, конечно, Ленин имел в виду, чтобы Попов поехал во Францию после того, как закончит перевод доклада. Но тогда совершенно непонятно, зачем было поручать столь ответственное задание, да еще в кратчайший срок (за два дня!) человеку, который был морально подавлен и нуждался в отдыхе. Что Ленин был в курсе «любовной истории» Попова, сомнений не вызывает.

Так или иначе, к 15 марта доклад был Поповым переведен и отослан Гюисмансу. Ленин очень просил Инессу поехать в Брюссель вместе с Иваном Федоровичем. Он полагал, что ее безукоризненное знание французского будет там весьма полезно. В начале июля Ильич писал Арманд в курортный городок Ловран на Адриатике, где она отдыхала вместе с детьми:

> «Dear friend! Я ужасно боюсь, что ты откажешься ехать в Брюссель, чем поставишь нас в совершенно невозможное положение. И вот я придумал еще один «компромисс», чтобы ты уже никак не могла отказаться.
>
> Надя думает, что твои старшие дети уже приехали и ты легко сможешь на 3 дня оставить их (или взять Андрюшу с собой).
>
> На случай, что старшие не приехали и что оставить детей на 3 дня *абсолютно* невозможно, я предлагаю: поехать тебе на *один день* (16-ое, даже на *полдня*, для прочтения доклада), либо оставив детей на день, либо даже выписав на этот день Константинович (родную сестру Александра и Владимира Армандов. — *Б. С.),* ежели крайность требует. (Расходы оплатим.)
>
> Дело, видишь ли, в том, что *крайне* важно, чтобы основной доклад был прочтен *действительно* с толком. Для сего безусловно необходим прекрасный французский язык — прекрасный, ибо иначе впечатление будет ноль, — *французский*, ибо иначе 9/10 при переводе

пропадет как раз для Исполнительного комитета, на который и надо повлиять (немцы безнадежны и они могут не быть).

Конечно, кроме прекрасного французского нужно *понимание сути дела* и такт. Кроме тебя *никого нет*. Посему прошу, изо всех сил прошу согласиться хотя бы на день (прочтешь доклад, извинишься, что больна семья, уедешь, передав Попову)…

Доклад ЦК мы напишем (имелся в виду доклад для зачтения на совещании, а не тот информационный доклад о разногласиях между большевиками и меньшевиками, который больше месяца переводил Попов. — *Б. С.)*. Твое дело будет перевести и прочесть с *комментариями*, о коих мы условимся…

Я волнуюсь сильно из-за Брюсселя. *Только ты* провела бы чудесно… Я не *гожусь тут*».

Положительно, Ильич пустил в ход все свое красноречие. Создается впечатление, что он любимую женщину уговаривает принять брачное предложение, а не товарища по партии убеждает поехать в другой город прочесть доклад. А впрочем, может, здесь и было скрытое признание в любви. Убедить руководство II Интернационала в том, что только большевики реально представляют российскую социал-демократию было, конечно, очень важно. Это и представительство в международных социалистических организациях, и возможность получения шмитовских денег. И Ленин самокритично понимал, что он сам для дипломатической по своей сути миссии не годится. Понимание сути дела у Ильича, разумеется, было, а вот такта, да и достаточно свободного владения французским языком — нет. Оппонентов и просто тех, кто чем-либо его прогневал, Ленин и в письмах, и в статьях, и в публичных выступлениях, ни мало не стесняясь, крыл непарламентскими выражениями. И в письмах Инессе свободно употреблял непечатные обороты: «Я лично очень рад, что эта сука отказалась идти в наш журнал»; «На такое говно, как Мергейм, не стоит тратить много времени…» и т. п. Инесса не без оснований казалась ему самой подходящей фигурой для участия в совещании. Но все-таки уж слишком страстно вождь уламывал Арманд. Ведь не был же вопрос о ее выступлении в Брюсселе для Ленина и партии вопросом жизни и смерти, тем более что в дальнейшем Ильич благополучно порвал все отношения со II Интернационалом. Да и тогда, в июле 1914 года, на успех в Брюсселе, чувствуется, особо не рассчитывал.

Инесса не могла не откликнуться на ленинскую просьбу. Ради

этого и горячо любимых детей можно было на день оставить под присмотром золовки. В одном из следующих писем Ленин инструктирует Инессу: «Уверен, что ты чудесно расшибешь и Плеханова (едет!!), и Каутского (едет). Мы их проучим сволочей великолепно!» Хотя убедить Гюисманса, Вандервельде и других лидеров II Интернационала иметь дело только с большевиками все же не удалось, Ленин одобрил поведение Арманд на Брюссельском совещании. 19 июля 1924 года он писал Инессе: «Ты лучше провела дело, чем это мог бы сделать я. Помимо языка, я бы взорвался, наверное. Не стерпел бы комедиантства и обозвал бы их подлецами. А им *только того и надо было* — на это они и провоцировали. У вас же и у тебя вышло спокойно и твердо».

Свидетельство Попова о спорах Арманд с Лениным находит подтверждение в ленинских письмах Инессе. Возможно, Инесса истолковала некоторые действия Ленина как признак охлаждения их отношений в связи с разногласиями по вопросу, надо ли защищать «буржуазное отечество». Ильич спешит ее успокоить. В самом конце 1915 года Инесса отправилась в Париж для контактов с русскими и французскими социалистами и работы в местных библиотеках. 15 января 1916 года Ленин писал ей из Берна: «Сегодня великолепный солнечный день со снежком. После инфлюэнцы мы с женой первый раз гуляли по той дороге в Frauen-Kapellen, по которой — помните? — мы так чудесно прогулялись однажды втроем. Я все вспоминал и жалел, что Вас нет. Кстати. Дивлюсь немного, что нет от Вас вестей. Покаюсь уже заодно: у меня, грешным делом, мелькает мысль — не «обиделись» ли уже Вы, чего доброго, на то, что я не пришел Вас проводить в день отъезда? Каюсь, каюсь и отрекаюсь от этих мыслей, я уже прогнал их прочь».

В шутливом тоне Ильич дает понять своей возлюбленной: повода для беспокойства нет, проводить тебя (или Вас — не знаю, право, как они обращались друг другу при личных встречах) не пришел, потому что еще не вполне оправился от проклятой инфлюэнцы. А вот 26 февраля 1916 года он уже выражал некоторое неудовольствие занятой Инессой позицией, хотя на этот раз облек недовольство в шутливо-дружескую форму: «Дорогой друг! Я знаю, что Вы интересуетесь наукой, а не политикой. Но все же симпатии Ваши, я не сомневаюсь в этом, на стороне Франции… Наука для Вас все, но немножко симпатии к Франции, даже много симпатии — у Вас, конечно, есть!» Более сердитым был ответ Ленина, датированный 19 марта 1916 года, на какое-то неласковое послание Инессы: «Дорогой друг! Сегодня получили Вашу сердитейшую открытку и на нее ответили (вернее,

не только на нее) длинным письмом. Не следует все же, даже и в сердцах, писать грубые слова вроде «нагорожено» (в письмах): это не располагает к продолжению переписки». 31 марта повторил, но уже без всякого раздражения: «Политикой Вы не интересуетесь, но все же сочувствуете Франции…»

Забавный все-таки был человек Ильич. Свято верил, что только он имеет право поносить других в письмах и статьях последними словами. На Инессу же обиделся всего лишь за адресованное ему довольно невинное слово «нагорожено». А ранее, как мы помним, очень обижался, что она осмеливалась возражать — кому? ему(!) — в дискуссии о «свободной любви». Ленин просто не мог смотреть на других иначе, чем сверху вниз. Ему было совершенно непереносимо, что кто-то осмеливается спорить с ним на равных. Ильич верил в собственную гениальность. Оттого и обильно употреблял отборные ругательства в адрес всех тех, кто хоть в чем-нибудь посмел с ним не согласиться. Даже если потом и приходилось признавать правоту оппонента (но такое случалось крайне редко).

Вернемся к спору Ленина и Арманд по поводу защиты отечества. 25 ноября 1916 года Владимир Ильич писал Инессе из Цюриха в Зёренберг: «Насчет отечества. Вы установить хотите, видимо, противоречие между моими писаниями прежде… и теперь. Не думаю, чтобы были противоречия. Найдите точные тексты, тогда посмотрим еще… Что защита отечества допустима (когда допустима) лишь как защита демократии (в соответственную эпоху), это и мое тоже мнение». И тут же разъяснил свое понимание демократии» как явления для большевиков преходящего и временного, хотя на определенном этапе и полезного: «За демократию мы, социал-демократы, стоим всегда не «во имя капитализма», а во имя расчистки пути нашему движению, каковая расчистка невозможна без развития капитализма». Но Инесса все не соглашалась с Лениным. И в письме от 23 декабря проведенного ими в разлуке несчастливого високосного 1916 года Ильич еще раз попробовал убедить ее:

> «Насчет защиты отечества. Мне было бы архинеприятно, если бы мы разошлись. Попробуем еще спеваться. Вот некоторый «материал» для размышлений:
>
> Война есть продолжение политики. Все дело в системе политических отношений перед войной и во время войны.
>
> Главные типы этих систем: (а) отношение угнетенной нации к угнетающей, (б) отношение между 2-мя угнетающими нациями из-за добычи, ее дележа и

т. п., (в) отношение не угнетающего других национального государства к угнетающему, к особо реакционному.

Подумайте об этом.

Цезаризм во Франции + царизм в России против не империалистической Германии в 1891 году — вот историческая обстановка 1891 года. Подумайте об этом!»

Ленин продолжает отстаивать свой тезис о том, что «царизм во сто раз хуже кайзеризма». И чтобы обосновать его применительно к 1891 году — году образования Антанты, — вынужден был слегка передернуть широко известные факты. Конечно, и Франция, и Россия уже были империалистическими государствами, если использовать существовавшую тогда терминологию. Сам Владимир Ильич настаивал, что империализм возник в мире не ранее 1898 года. Ну, тогда можно использовать другое его любимое словечко — «реакционный». Были ли указанные государства «реакционными»?

Никто не будет спорить, что и Россия, и Франция обладали колониями, а в Европейской части России нерусские народы — поляки, евреи, украинцы, латыши, эстонцы, литовцы и др. — находились в угнетенном положении и их права многократно нарушались. Но ведь и Германия уже имела колониальную империю, хотя и не столь обширную, как французская и, тем более, британская. И многие народы, жившие в Рейхе, стремились отделиться, будь то жители Эльзаса и Лотарингии, поляки Познани, датчане Северного Шлезвига. И понять, почему одни государства следовало тогда считать «империалистическими», а другие нет, с помощью каких-либо объективных критериев вряд ли возможно. Дело было в революционной конъюнктуре, но так прямо объявить об этом Инессе в письме Ленин не решился.

В следующем письме, отправленном 25 декабря, он разъяснял: «Война Франции + России против Германии в 1891 году. Вы берете «мой критерий» и прилагаете его только к Франции и России!!!! Помилуйте, где же тут логика? Я же и говорю, что со стороны Франции и России это была бы реакционная война (война из-за того, чтобы повернуть назад развитие Германии, вернуть ее от национального единства к раздроблению). А *со стороны Германии*? Вы молчите. Это же главное. Со стороны Германии в 1891 году не было и быть не могло империалистского характера войны.

Вы забыли главное: в 1891 году не было империализма вообще (я старался доказать в своей брошюре, что он родился в 1898–1900 году, не раньше) и не было империалистической

войны, не могло быть со стороны Германии. (Между прочим, не было тогда и революционной России; это очень важно.)

Далее: «возможность» раздробления Германии не исключена и в войну 1914–1917 годов», пишете Вы, именно сходя с оценки того, что есть, на возможное.

Это не исторично. Это не политика.

Что есть сейчас, это империалистская война с *обеих* сторон. Это мы 1000 раз говорили. Это суть. А «возможное»!!?? Мало ли что «возможно»!

Смешно отрицать *«возможность»* превращения империалистской войны в национальную… Что только не «возможно» на свете! Но пока она не превратилась. Марксизм опирает политику на действительное, а не на «возможное». Возможно, что одно, явление превратится в другое — и наша тактика не закостенелая».

Можно предположить, что Инесса считала войну, которую ведет Франция, справедливой, национальной. И доказывала, что ленинское положение насчет возможного раздробления Германии формально вполне применимо не только к политической ситуации 1891 года, но и к войне 1914 года. Следовательно, сам тезис об империалистическом характере войны для всех ее участников искусственен. Ильич же, хотя и отстаивал лозунг поражения «своего» правительства, все же утешал ее, в будущем война действительно может превратиться для тех или иных государств в национальную.

И уже в следующем письме, 6 января 1917 года, Ленин предлагал Арманд издавать брошюры и листовки, как «для массы», так и «для социалистов», направленные «против защиты отечества». Можно сделать вывод, что Инесса, в конце концов, «наступила на горло собственной песне» и, скрепя сердце, перешла на ленинские позиции. Это, вероятно, далось ей нелегко. 13 января Ильич просил Инессу «съездить куда-либо хоть на время, хоть с рефератами или иначе, чтобы встряхнуться и уйти в занятие, захватывающее и полезное для новых и свежих людей. Ей-ей, работа среди французов архинужна и архиполезна». Ленин чувствовал, что его подруга тяжело переносит и разлуку с ним, и вынужденное эмигрантское безделье. И рассчитывал, что поездка на родину ее оживит. Тот же совет Ленин повторил

15 января: «Надеюсь, что Вы мне не отвечаете на мое предложение поездки с французским рефератом не потому, что абсолютно против этого, а лишь потому, что обдумываете лучше сей план, желая согласиться с ним. Не тороплю Вас и не буду повторять убеждений, но ужасно мне хотелось бы, чтобы Вы получше встряхнулись, переменили воздух, побывали среди

новых и старых друзей, ужасно бы хотелось сказать Вам побольше дружеских слов, чтобы Вам полегче было, пока не наладитесь на работу, захватывающую целиком».

Но во Францию Инесса так и не собралась. Внезапно возникла опасность, что, наоборот, французские войска скоро могут прийти в Швейцарию.

16 января Ленин со смешанными чувствами тревоги и надежды писал Арманд: «Если Швейцария будет втянута в войну, французы тотчас займут Женеву. Тогда быть в Женеве — значит быть во Франции и оттуда иметь сношения с Россией. Поэтому партийную кассу я думаю сдать Вам (чтобы Вы носили ее на себе, в мешочке, сшитом для сего, ибо из банка не выдадут во время войны)… Это только планы, пока между нами. Я думаю, что мы останемся в Цюрихе, что война невероятна». Намерение сделать Инессу хранительницей партийной казны свидетельствовало о высшей степени доверия со стороны вождя. Арманд должна была это оценить. Но Швейцария, как известно, в войну не вступила, и вопрос о том, чтобы Инесса на своей груди прятала «золото партии», отпал сам собой.

И опять Ленин в переписке с Арманд вернулся к больному вопросу о защите отечества. 19 января 1917 года он писал: «Насчет «защиты отечества». Вы, по-моему, впадаете в абстрактность и неисторичность. Повторяю… защита отечества = оправдание участия в войне…

(I) Три главных типа: отношение угнетенной нации к угнетающей… По общему правилу, война законна со стороны угнетенной (все равно, оборонительная или наступательная в военном смысле).

(II) Отношение между 2-мя угнетающими нациями. Борьба за колонии, за рынки и т. п. (Рим и Карфаген; Англия и Германия 1914–1917). По общему правилу, война такого рода с обеих сторон есть грабеж; и отношение демократии (и социализма) к ней подпадает под правило: «2 вора дерутся, пусть оба гибнут»…

(III) Третий тип. Система равноправных наций. Вопрос куда *сложнее*!!!! Особенно, если рядом с цивилизованными, сравнительно демократическими нациями стоит царизм. Так было (приблизительно) в Европе с 1815 до 1905 года.

1891-й год. Колониальная политика Франции и Германии ничтожна. У Италии, Японии, С. Штатов вовсе нет колоний (теперь есть). В Западной Европе сложилась… система государств, в общем конституционных, национальных. Рядом с ними могучий, непоколебленный, дореволюционный царизм, грабящий и угнетающий всех сотни лет, подавивший революции 1849, 1863 годов.

Германия (1891 года) — страна передового социализма. И этой стране грозит царизм в союзе с буланжизмом!

Ситуация совсем, совсем не та, что в 1914–1917 годах, когда царизм подорван 1905-м годом, а Германия ведет войну ради господства над миром. Иной коленкор!!

Отождествить, даже уподобить международные ситуации 1891 и 1914 годов — *верх* неисторичности…

В империалистской войне 1914–1917 годов, между 2-мя империалистскими коалициями, мы должны быть против «защиты отечества», ибо (1) империализм есть канун социализма; (2) империалистская война есть война воров за добычу; (3) в обеих коалициях есть передовой пролетариат; (4) в обеих назрела социалистическая революция. Только поэтому мы против «защиты отечества», только поэтому!!»

Ленин старался добиться того, чтобы Инесса приняла его взгляды не только умом, но и сердцем. Поэтому и не подчеркивал, как в свое время в письме Шляпникову, что царская власть гораздо хуже кайзеровской. Инесса указывала на германофильство Энгельса, проявившееся при оценке им международной ситуации 1891 года. Ленин же в одном из писем Инессе признался: «Я все еще «влюблен» в Маркса и Энгельса и никакой хулы на них выносить не могу спокойно». И возражал: Энгельс-де тогда был прав. Для доказательства этой правоты опять приходится передергивать факты. В частности, представлять царскую Россию мощным, «непоколебленным» государством, играющим роль европейского жандарма. Между тем, эту роль Россия действительно играла в период своей гегемонии при Александре I и, в какой-то мере, по инерции, при Николае I. Однако уже с Крымской войны начавшийся еще в последние годы царствования Александра I экономический и военный упадок Российской империи стал очевиден для всего мира. К 1891 году Россия в промышленном отношении и по уровню боеспособности армии значительно уступала и Германии, и Франции и самостоятельно не способна была осуществить крупномасштабную агрессию.

По мнению Энгельса и Ленина, Германия в ту пору была самой «социалистической» страной Европы, а потому война против нее должна была считаться несправедливой для Франции и России. Но даже если, подобно Ленину, Энгельсу, Крупской и Арманд, считать социализм самым благодатным для человечества учением и общественным строем (с чем, я думаю, большинство моих читателей не согласится), только в насмешку можно назвать Германию 1891 года «страной передового социализма». Да,

германская социал-демократия была весьма влиятельна и располагала многочисленной фракцией в рейхстаге. Но в правительство их включать никто не собирался. Только-только был отменен введенный Бисмарком исключительный закон против социалистов. И о революции ни в 1891-м, ни в 1914-м подавляющее большинство германских социал-демократов не помышляло. Да и воевать Россия и Франция все равно должны были не против социал-демократов, а против кайзеровского правительства, от марксизма весьма далекого. При чем же здесь «защита отечества» для немцев как защита «самой социалистической» страны в Европе?

Ленин словно оправдывался перед Инессой: мы только потому выступаем за поражение «своего» правительства, потому что это ускорит наступление уже назревшей социалистической революции в России. И даже как будто готов был признать, что Германия — самая империалистическая из всех держав, поскольку только она стремится к мировому господству. Действительно, ни одно из государств Антанты, из-за соперничества Англии, Франции и России, не могло претендовать на единоличное господство над миром (тем более, после вступления в войну США). Также Ильич допускал возможность, что в какой-то момент для отдельных государств (в том числе, и для России, и для Франции) мировая война может превратиться в национальную, т. е. справедливую.

Саму концепцию справедливых и несправедливых войн Ленин разрабатывал с дальним прицелом на период, когда в России и других странах грянут революции. Тогда все войны революционных государств, естественно, можно будет считать справедливыми, даже если они будут представлять собой нападение на соседние государства. Справедливой войной считал Ленин начавшийся в 1920 году поход Красной Армии на Варшаву, Берлин, а если повезет — то и на Париж. А его преемник Сталин нисколько не сомневался в справедливости готовившегося в 1940–1941 годах вторжения в Западную Европу, «освободительного похода» на те же Варшаву и Берлин.

Арманд при переводе на французский одной из ленинских статей купировала место, где одобрялись взгляды Энгельса на возможное франко-германское военное столкновение. В письме от 22 января 1917 года Ленин возмущался этим: «Насчет цензуры, которой Вы подвергли мою французскую статью, удивлен, ей-ей. Так как Вы не прислали оригинала (работы Энгельса «Социализм в Германии». — *Б. С.),* да я и вообще едва ли взялся бы переводить сам на французский, то послал, конечно, по-Вашему, с пропуском места об Энгельсе (французский Ленин знал плохо, в

письме к одному из своих корреспондентов прямо признавался: «На французском языке я не в состоянии читать». — *Б. С.)*.

«При одной мысли, что я защищаю точку зрения Энгельса на войну и на позицию тогдашних немцев, у Вас кипит кровь и Вы не можете этого переводить…»

Дда! Не ожидал! Ведь мы, и я, и Григорий (Зиновьев. — *Б. С.),* на это место — более чем место: заявление, выступление, декларацию Энгельса ссылались многажды, прямо и косвенно, в 1914 и 1915 годах.

Ведь это написано было Энгельсом сначала для французских социалистов и напечатано в их «Almanach du Parti Ouvrier». И тогда французы не протестовали, чувствуя — если не понимая ясно, что война Буланже + Александр III против тогдашней Германии была бы антидемократичной только с их стороны, а со стороны Германии (об империализме коей тогда *и речи быть не могло*!!) была бы действительно лишь «обороной», действительно войной за национальное существование.

И вот то, что сами французы признали в 1891 году верным, Вы вдруг херите (замечательный оборот в переписке с дамой, к которой, к тому же, явно неравнодушен! — *Б. С.),* да еще как!»

В Швейцарии Инесса плохо себя чувствовала, страдала от последствий малярии, часто подолгу задерживалась в различных санаториях. Ленин 25 июля

1916 года тревожился об ее здоровье: «Советую и прошу лечиться, чтобы к зиме быть вполне здоровой. Поезжайте на юг, на солнце!!» Думаю, что на самом деле Инессу больше всего угнетала продолжавшаяся весь год разлука с Ильичом. Неизвестно, кто на этот раз выступил инициатором. То ли Ильич из-за выявившихся политических разногласий не хотел держать рядом с собой Арманд, хотя письма по-прежнему писал подчеркнуто заботливые. То ли чувство Инессы к Владимиру достигло такой силы, что ей стало очень тяжело видеть рядом с предметом своей любви соперницу-жену, и она предпочла покинуть Ленина. В уже цитировавшемся письме от 19 января 1917 года он писал: «Насчет «немецкого плена» (в случае, если Швейцария станет театром боевых действий. — *Б. С.)* и пр. все Ваши опасения чрезмерны и несостоятельны. Опасности никакой. Мы пока остаемся здесь. Очень прошу Вас при выборе своего места жительства с соображениями о том, не поеду ли туда-то, не считаться. Это было бы уже нелепо, дико, смешно, если бы я стеснял Вас в выборе города соображением о том, не «может» ли в будущем так выйти, что и я туда приеду!!!» Выходит, сама Арманд избегала встреч с Лениным? Впрочем, однозначно утверждать это нельзя.

А может, для Инессы политические разногласия с Лениным были также и средством поддерживать с ним более интенсивную переписку, постоянно напоминать о себе? Но переживала разлуку она очень тяжело. И порой тоска прорывалась в письмах раздражением, которое Инесса старалась скрыть. И порой подолгу не отвечала Ильичу. Так, письмо Ленина, писавшееся в период между 22 и 30 января 1917 года, отражает его тревогу из-за молчания Инессы: «По-видимому, Ваш неответ на несколько моих последних писем указывает — в связи с кое-чем еще — на некоторое измененное настроение, или решение, или положение дела у Вас. Последнее Ваше письмо содержало в конце два раза повторенное слово — я пошел, справился. Ничего. Не знаю уже, что думать, обиделись ли Вы на что-либо или были слишком увлечены переездом или другое что… Боюсь расспрашивать, ибо, пожалуй, расспросы Вам неприятны, и потому условлюсь так, что молчание Ваше по этому пункту я принимаю именно в том смысле, что расспросы Вам неприятны, и баста. Я тогда извиняюсь за них, и конечно, не повторю». А 13 марта добавил по другому поводу: «Конечно, если у Вас нет охоты отвечать или даже есть «охота» и решение не отвечать, я надоедать вопросами не буду». Дело касалось листовки «Против лжи о защите отечества», которую Ленин в феврале послал Инессе для перевода на английский и французский. Текст листовки она одобрила, в связи с чем Ленин писал: «Очень рад, что он Вам понравился». Но с переводами Инесса задержалась, что и вызвало недовольство Ленина. Переводы он получил только накануне 15 марта — дня, когда в Швейцарии стало известно о русской революции. Эту весть принес Ленину и Крупской польский социал-демократ М. Вронский. Днем он ворвался в их квартиру с радостным криком: «Вы ничего не знаете? В России революция!»

Поздравляя Инессу с окончанием работы над переводами, Ильич сообщал: «Мы сегодня в Цюрихе в ажитации: от 15. III есть телеграмма в «Zürcher Post» и в «Neue Zürcher Zeitung», что в России 14. III победила революция в Питере после 3-дневной борьбы, что у власти 12 членов Думы, а министры все арестованы. Коли не врут немцы, так правда. Что Россия была последние дни накануне революции, это несомненно. Я вне себя, что не могу поехать в Скандинавию!! Не прощу себе, что не рискнул ехать в 1915 году!»

Ну, насчет предвидения кануна революции большевистский вождь был, что называется, задним умом крепок. Еще в начале января 1917 года, выступая в цюрихском «Народном доме» с докладом о революции 1905–1907 годов, он говорил только о том, что «ближайшие годы… приведут в Европе к народным

восстаниям…». Однако на самом деле даже эти «ближайшие годы» для Ленина в тот момент растягивались в десятилетия. Потому что закончил он доклад пессимистически: «Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции…» Похоже, Владимир Ильич не думал, что старт будущей европейской революции даст именно Россия и что до начала российской революции осталось меньше двух месяцев. Да и откуда ему было это знать, если связи с Россией почти не было, письма оттуда поступали очень редко, а по швейцарским или французским газетам никак нельзя было сделать вывод о скором пришествии русской революции. Возможно, Ленин задним числом истолковал как признак приближения революции факты, содержащиеся в одном письме, поступившем к нему из Москвы. Об этом письме он писал Инессе 19 февраля 1917 года: «Дорогой друг! Получили мы на днях отрадное письмо из Москвы (вскоре пошлем Вам копию, хотя текст и неинтересен). Пишут, что настроение масс хорошее, что шовинизм явно идет на убыль и что, наверное, будет на нашей улице праздник. Организация-де страдает от того, что взрослые на фронте, а на фабриках молодежь и женщины. Но боевое настроение-де от этого не понижается. Присылают копию листка (хорошего), выпущенного Московским бюро ЦК… Жив курилка! Трудно жить людям и нашей партии сугубо. А все же живут».

Здесь только при очень бурной фантазии можно найти признаки близкой революции. Конечно, то обстоятельство, что шовинизм среди рабочих шел на убыль, открывало возможности для большевиков увеличить свое влияние и серьезно потеснить меньшевиков-оборонцев. Но не более того. Очевидно, под будущим праздником на своей улице Ленин и подразумевал будущее доминирование его партии среди рабочих. Что само по себе требовало времени и отнюдь не вело автоматически к свержению самодержавия. Только потом, когда революция действительно произошла, Владимир Ильич постарался убедить себя и Инессу, будто истолковал московское письмо как свидетельство о грядущем революционном взрыве.

Так или иначе, Февральская революция в России окончательно примирила Арманд с Лениным. Инесса на практике убедилась в действенности лозунга «поражения своего правительства», который (а еще больше — серьезные неудачи и большие потери русской армии) способствовал падению царской власти. Ленинский анализ ситуации оказался верен. Инесса не могла не признать полную правоту Ильича.

Теперь все мысли Ленина были направлены на скорейшее возвращение в Россию. И он уговаривал Инессу тоже ехать туда.

Писал ей 18 марта:

> «Дорогой друг! Пишу в дороге: ездил на реферат. Вчера (субботу) прочел об амнистии (объявленной Временным правительством для политических противников самодержавия и жертв религиозных преследований. — *Б. С.)*. Мечтаем все о поездке. Если едете домой, заезжайте сначала к нам. Поговорим. Я бы очень хотел дать Вам поручение в Англии узнать тихонечко и верно, мог ли бы я проехать».

На следующий день Ленин получил письма Инессы и имел с ней разговор по телефону. Он был разочарован и отправил Арманд еще одно письмо на ту же тему:

> «Дорогой друг! Пишу Вам в ответ на сегодня полученные от Вас письма и по поводу беседы по телефону.
>
> Не могу скрыть от Вас, что разочарован я сильно. По-моему, у всякого должна быть теперь одна мысль: скакать. А люди чего-то «ждут»!!.
>
> Я уверен, что меня арестуют или просто задержат в Англии, если я поеду под своим именем, ибо именно Англия не только конфисковала ряд моих писем в Америку, но и спрашивала (ее полиция) папашу (российского социал-демократа М. М. Литвинова, ставшего позднее советским наркомом иностранных дел. — *Б. С.*) в 1915 году, переписывается ли он со мной и не сносится ли через меня с немецкими социалистами.
>
> Факт! Поэтому я не могу двигаться лично без весьма «особых» мер.
>
> А другие? Я был уверен, что Вы поскачете тотчас в Англию, ибо лишь там можно узнать, как проехать и велик ли риск (говорят, через Голландию: Лондон — Голландия — Скандинавия — риск мал) и т. д.
>
> Вчера писал Вам открытку с дороги, думая, что Вы несомненно уже думаете и решили ехать в Берн к консулу (за получением английской визы. — *Б. С.)*. А Вы отвечаете: колеблюсь, подумаю.
>
> Конечно, нервы у меня взвинчены сугубо. Да еще бы! Терпеть, сидеть здесь…
>
> Вероятно, у Вас есть причины особые, здоровье может быть нехорошо и т. д.
>
> Попытаюсь уговорить Валю (В. С. Сафарову, жену хорошо известного Инессе по совместной поездке в

Петербург Г. И. Сафарова. — *Б. С.)* поехать (она в субботу прибежала к нам после того, как год не была!). Но она революцией мало интересуется.

Да, чуть не забыл. Вот что можно и должно сделать тотчас в Кларане (там жила Инесса. — *Б. С.):* приняться искать паспорта (?) у русских, кои согласились бы дать свой (не говоря, что для меня) на выезд теперь другому лицу; (?)? швейцарок, или швейцарцев, кои могли бы дать русскому.

Анну Евгеньевну (Константинович) и Абрама (большевика А. А. Сковно, которого ранее Инесса вместе с Крупской навещали в бернской больнице. — *Б. С.)* надо заставить тотчас идти в посольство (России. — *Б. С.),* брать пропуск (если не дадут, жаловаться телеграфно Милюкову и Керенскому) и ехать или, если не ехать, дать нам ответ на основании дела (а не слов): как дают и берут пропуск.

Жму руку.

Ваш Ленин

В Кларане (и около) есть много русских богатых и небогатых русских социал-патриотов и т. п. (Трояновский, Рубакин и проч.), которые должны бы попросить у немцев пропуска — вагон до Копенгагена для разных революционеров.

Почему бы нет?

Я не могу этого сделать. Я «пораженец».

А Трояновский и Рубакин + К° *могут.*

О, если бы я мог научить эту сволочь и дурней быть умными!..

Вы скажете, может быть, что немцы не дадут вагона. Давайте пари держать, что дадут!

Конечно, если узнают, что сия мысль от меня или от Вас исходит, то дело будет испорчено…

Нет ли в Женеве дураков для этой цели?..

В такие моменты, как теперь, надо уметь быть находчивым и авантюристом. Надо бежать к немецкому консулу, выдумывать личные дела и добиваться пропуска в Копенгаген, платить адвокатам цюрихским: дам 300 frs, если достанешь пропуск 4 немцев… Quant a moi je ny comprends rien, mais absolument rien…» (Что касается меня, то я ничего не понимаю, абсолютно ничего» (фр.). — *Б. С.)».*

В этом письме — весь Ленин. Люди, даже те, к кому вождь питает несомненную симпатию, для него — только средство для достижения определенных политических целей. В данном случае — для того, чтобы любой ценой как можно скорее добраться до России. И в выражениях Ильич, по обыкновению, не стесняется. Совершенно незнакомых людей, которых к тому же собирается использовать «в темную» для получения заветных паспортов и пропусков, не задумываясь, называет «дурнями» и «сволочью». А ведь у них в связи с этим делом впоследствии могли быть крупные неприятности с полицией! В принципе — этот тот же случай, что и со знакомыми Елизаветы К., которым Ильич собирался втихую подсунуть детские кубики, начиненные нелегальной литературой. И вполне возможно, что Ленин лукавил, когда писал Инессе, будто германские власти могут отказать в пропусках до Копенгагена, если узнают, что инициатива исходит от него. Вероятно, просто не хотел подчеркивать тот факт, что деятельность большевиков объективно была в интересах Германии. И ленинский расчет, как известно, оказался верен. Слишком выгодно было немцам, чтобы пораженчески настроенные социал-демократы поскорее оказались в России и продолжили свою работу по разложению как армии, так и гражданского населения. Поэтому запломбированный вагон для проезда Ленина и его товарищей через Германию был, как известно, в конце концов предоставлен.

А вот настоящая загадка, неразрешенная до сих пор, — почему Инесса сначала упорно отказывалась возвращаться в Россию? Тут можно выдвинуть несколько версий. Вариант с плохим состоянием здоровья, который в качестве предположения упомянул в своем письме Ленин, не кажется очень убедительным. Ведь о каких-то серьезных заболеваниях Инессы Ильич в предшествовавшие несколько месяцев ничего не говорил. Только о переутомлении и расшатанных нервах. Но как раз в России встреча с детьми, возвращение к активной работе могли по-настоящему встряхнуть Инессу, придать ей новые жизненные силы.

Характерно, что и прежде Арманд не выразила особого энтузиазма по поводу ленинского предложения поехать во Францию и выступить там с докладами для русских и французских социалистов. Создается впечатление, что на самом деле Инессе вовсе не хочется покидать Кларан. Что же, или, всего вероятнее, кто же, ее там держит? Может быть, Инесса опять влюбилась? В безвестного русского эмигранта или какого-нибудь симпатичного швейцарца? Вряд ли когда-нибудь на этот вопрос мы получим точный ответ. А может, Инессе надоел статус

подруги, и она добивалась от Ильича обещания, что если не сейчас, так в будущем, хотя бы после победы подготавливаемой им новой, куда более радикальной, чем Февральская, революции, они все-таки соединят свои судьбы? Не знаю. Но, несмотря ни на что, факт остается фактом: Арманд в итоге в Россию поехала. Поехала в одном купе с Лениным и Крупской в пломбированном вагоне через Германию. Но ее согласия Ильичу пришлось добиваться еще несколько недель.

Среди «особых» мер, которые Ленин предполагал использовать для своего возвращения на родину, средства, словно позаимствованные из комедии масок. Например, в тот же день 19 марта он писал большевику Вячеславу Алексеевичу Карпинскому в Женеву:

> «Возьмите на свое имя бумаги на проезд во Францию и Англию, а я проеду по ним через Англию (и Голландию) в Россию.
>
> Я могу одеть парик. Фотография будет снята с меня уже в парике, и в Берн в консульство я являюсь с Вашими бумагами уже в парике.
>
> Вы тогда должны скрыться из Женевы минимум на несколько недель (до телеграммы от меня из Скандинавии): на это время Вы должны запрятаться архисурьезно в горах, где за пансион мы за Вас заплатим, разумеется.
>
> Если согласны, начните немедленно подготовку самым энергичным (и самым тайным) образом, а мне черкните тогда во всяком случае».

Что именно ответил Карпинский Ленину, неизвестно, но, скорее всего, мягко уклонился от участия в авантюре, которая лично ему могла стоить принудительной высылки из Швейцарии. Ленин же под своим именем ехать в Англию боялся, полагая, что его либо не впустят в страну, либо интернируют. Осторожный Вячеслав Алексеевич вернулся в Россию только в конце 17-го, уже после победы Октябрьской революции. Идея же с париком была использована Лениным позднее, летом и осенью 1917 года, когда пришлось скрываться от возможного суда по обвинению в шпионаже в пользу Германии.

Карпинский позднее вспоминал, что Ленин предлагал и довольно пикантный «план проезда для отдельных товарищей: выйти замуж за швейцарского гражданина и получить таким образом право проезда и в Германию, и в Россию». Уж не советовал ли Ильич Инессе подыскать для этой цели какого-нибудь подходящего швейцарца? Или такой швейцарец у нее уже

был?

Ленин волновался, что никак не удается устроить поездку в Россию. И Инесса как-то странно себя ведет. В конце марта Ильич опять написал ей:

> «Дорогой друг! Вы, видимо, нервничаете чересчур — этим объясняю ряд теоретических «странностей» в Ваших письмах. Не надо отличать 1-й и 2-й революций или 1 и 2 этапов?? Именно надо. Марксизм требует различать классы, кои действуют. В России у власти не тот класс, что прежде. Значит, и революция предстоит совсем, совсем иная… В Россию, должно быть, не попадем!! Англия не пустит. Через Германию не выходит».

Вероятно, Инесса выражала какие-то сомнения в необходимости новой революции, полагая, что в процессе развития Февральской революции большевики смогут прийти к власти мирным, демократическим путем. Владимир Ильич же буквально с первых дней понял, что Временное правительство надо свергать, вооруженной силой либо путем всеобщей забастовки и массовых демонстраций. На победу на выборах в Учредительное собрание не надеялся — в крестьянской России большевики явно уступали по популярности эсерам. Хотя антивоенная пропаганда на немецкие деньги и агитация за немедленный раздел помещичьих земель должны были сильно добавить партии Ленина народной любви.

Ведь в уже упоминавшемся докладе в цюрихском «Народном доме» о революции 1905 года вождь большевиков искренне сокрушался:

> «Крестьяне сожгли до 2 тысяч усадеб и распределили между собой жизненные средства… К сожалению, крестьяне уничтожили тогда только пятнадцатую долю общего количества дворянских усадеб, только пятнадцатую часть того, что они должны были уничтожить…»

Теперь, думал Ленин, крестьяне своего не упустят и уничтожат уже всех помещиков — как класс. А уж потом землю у них самих можно будет забрать, объявив общенародной собственностью, и заставить крестьян на ней трудиться — как новых крепостных социалистического государства. Но для того, чтобы всерьез бороться за власть, Ленину и другим руководителям большевиков надо было вернуться в Россию. А вернуться все не получалось. Англия и Франция не пропускали.

Германия колебалась. Вдруг путешественники по дороге развернут антивоенную пропаганду на территории Рейха, где народ уже сильно устал от войны и блокады. Или вообще осядут в Германии, добавив головной боли местной полиции.

Наконец, компромисс был достигнут. 31 марта 1917 года Ленин телеграфировал видному швейцарскому социал-демократу и депутату парламента Роберту Гримму, выступавшему посредником в переговорах с германскими властями: «Наша партия решила безоговорочно принять предложение о проезде русских эмигрантов через Германию и тотчас же организовать эту поездку». Речь шла все о том же пломбированном вагоне. Кстати, эту идею предложил сам Ленин еще тогда, когда надеялся проехать в Россию через Англию и писал Ганецкому: «Прошу сообщить мне… согласно ли английское правительство пропустить в Россию меня и ряд членов нашей партии… на следующих условиях: (а) Швейцарский социалист Фриц Платтен (которому еще предстояло сгинуть в ГУЛАГе. — *Б. С.)* получает от английского правительства право провезти через Англию любое число лиц, независимо от их политического направления и от их взглядов на войну и мир; (б) Платтен один отвечает как за состав провозимых групп, так и за порядок, получая запираемый, им… вагон для проезда по Англии. В этот вагон никто не может входить без согласия Платтена». На практике эти условия пригодились Ганецкому и Платтену для переговоров с представителями не британского, а германского правительства.

В начале апреля Ленин написал Инессе, все еще пребывавшей в нерешительности:

> «Надеюсь, что в среду (4 апреля. — *Б. С.*) мы едем (из Берна в Германию. — *Б. С.)* — надеюсь, вместе с Вами… Деньги (100 frs), надеюсь, получили в экспрессе (переводе. — *Б. С.*), посланном утром. Денег на поездку у нас больше, чем я думал, человек на 10–12 хватит, ибо нам здорово помогли товарищи в Стокгольме».

Раз Ленин вынужден был посылать Инессе деньги на дорогу в Берн, значит, она жила довольно стесненно. Очевидно, Александр Арманд из-за войны не мог переводить за границу средства для бывшей жены. Инесса приехала в Берн и присоединилась к отъезжающим. Перед отбытием, которое отложили до 9 апреля, всем пришлось подписать обязательство соблюдать условия проезда через Германию и всецело подчиняться распоряжениям Платтена. Кроме того, Ильича и других пассажиров пломбированного вагона предупредили, что Временное правительство грозит привлечь к суду по обвинению за

государственную измену тех русских подданных, что будут возвращаться в Россию через Германию. По воспоминаниям немецкого социал-демократа Вильгельма Мюнденберга, Ленин все время повторял: «Мы должны во что бы то ни стало ехать, хотя бы через ад».

А большевик П. Иоффе, находившийся в те дни в Цюрихе, утверждал: «На трусливые разговоры липовых интернационалистов о том, что немецкий кайзер, пропуская большевиков, имеет свои определенные цели, Ленин решительно отвечал: «Мне нет дела до целей кайзера. Какая, в конце концов, разница, чего он хочет? Я знаю одно — я должен быть там, а не здесь…» Положим, о целях-то кайзера Ленин знал превосходно. Только дурак мог не догадываться об этих целях: использовать большевиков для разлагающей пропаганды, чтобы вывести Россию из войны. Но Владимир Ильич считал себя безмерно выше «липовых интернационалистов» и большой беды в победе Германии над Россией не видел, если такой ценой будет куплена победа социалистической революции.

Генерал Эрих Людендорф, выполнявший функции начальника штаба при фактическом главнокомандующем германской армией фельдмаршале Пауле фон Гинденбурге, вспоминал: «Помогая Ленину проехать в Россию, наше правительство приняло на себя особую ответственность. С военной точки зрения это предприятие было оправданным. Россию нужно было повалить».

И еще до отъезда Ленина из Швейцарии власти Германии приняли решение платить большевикам. После прихода к власти в октябре 1917 года Ленин и представители германской стороны постарались замести следы этой помощи. В ленинском «секретном» архиве сохранился любопытнейший документ, датированный 16/29 ноября 1917 года:

> «Председателю Совета Народных Комиссаров. Согласно резолюции, принятой на совещании народных комиссаров товарищей Ленина, Троцкого, Подвойского, Дыбенко и Володарского, мы произвели следующее:
>
> 1. В архиве министерства юстиции из дела об «измене» товарища Ленина, Зиновьева, Козловского, Коллонтай и др. мы изъяли приказ германского имперского банка № 7433 от второго марта 1917 года с разрешением платить деньги тт. Ленину, Зиновьеву, Каменеву, Троцкому, Суменсон, Козловскому и др. за пропаганду мира в России.
>
> 2. Были просмотрены все книги банка Ниа в Стокгольме, заключающие счета тт. Ленина, Троцкого,

Зиновьева и др., открытые по приказу германского имперского банка за № 2754. Книги эти переданы Мюллеру, командированному из Берлина.

Уполномоченные народным комиссаром по иностранным делам Е. Поливанов, Г. Залкинд».

Не знаю, что стало с Г. Залкиндом. А вот уполномоченный НКИД выдающийся лингвист-востоковед Евгений Дмитриевич Поливанов за знание самой сокровенной из большевистских тайн в 1938 году поплатился расстрелом.

Через Германию ехали без приключений. Дорога заняла целых четыре дня. 13 апреля поезд прибыл в балтийский порт Засниц. Отсюда отправлялся паром в шведский порт Треллеборг. В шесть часов вечера пассажиры пломбированного вагона прибыли туда. Ночью уже обычный вагон обычного пассажирского поезда повез их в Стокгольм. Там Ленина и его спутников встретили депутаты шведского риксдага Карлсон, Линдхаген, Штрем и др. До отхода поезда в Финляндию оставалось еще некоторое время. Вместе со шведскими друзьями решили прогуляться по городу. Тогда и был сделан исторический групповой снимок — единственный, на котором Арманд запечатлена вместе с Лениным (и Крупской).

На финской границе путешественники сели в финские повозки — вейки. На них путешественники добрались до ближайшей станции, где сели в старые, обшарпанные, но такие родные русские вагоны третьего класса. Владимир Ильич и Надежда Константиновна не были в России десять лет, Инесса — четыре года. Впереди была триумфальная встреча в двенадцатом часу вечера 3/16 апреля на Финляндском вокзале в Петрограде, брошенный с броневика лозунг: «Да здравствует социалистическая мировая революция!» Впереди было бессмертие в истории, как для Ленина, так и для двух любивших его женщин. До главного ленинского триумфа — Октябрьской революции — оставалось 195 дней.

Ленин — Арманд: звездный час и гибель

Вскоре после прибытия в Петроград Инесса рассталась с Ильичом и Надей. Супруги обосновались на берегах Невы, Инесса же отправилась в Москву, к детям. Даже багаж не успела забрать. Ленин писал ей позднее:-«Сейчас получил два пакета для Вас — из тех, что были вынуты из Вашей корзины». Осведомлялся, как Инесса осваивается в первопрестольной: «Как Вы? довольны ли Москвой?.. Желаю всего лучшего и в смысле работы, и в смысле устройства с заработком, и в смысле жизни с детьми… С удовольствием большим вижу иногда из московского «Социал-Демократа», как Вы берете разную работу в разных районах, но, конечно, из газет мало видно». И, может быть, впервые жаловался на усталость: «У нас пока «все то же», что Вы сами здесь видели, и «конца-краю» нет переутомлению… Начинаю «сдавать», спать втрое больше других и пр.»

Ритм жизни в революционной России был совсем не тот, что в тихой нейтральной Швейцарии. В Питере было не до прогулок на свежем воздухе. А постоянно работать много и с большой интенсивностью Ильич не привык. И перемена образа жизни сразу же сказалась на его физическом состоянии в худшую сторону. После прихода к власти, когда дел стало особенно много, здоровье вождя большевиков оказалось очень основательно подорвано, и вскоре неведомая болезнь лишила его способности влиять на ход событий и свела Ленина в могилу.

В целом же ленинское письмо Инессе как будто свидетельствовало, что их роман остался в прошлом. Ильич вежливо осведомлялся, как живется в Москве женщине, которую когда-то любил. Пожелания устройства с заработком и счастливой жизни с детьми можно понять так, что от былого чувства остались лишь воспоминания, временами бередящие душу, но не больше.

Ленин готовил социалистическую революцию. Не до любви ему было. Крупская, как и прежде, помогала, исполняла функции секретаря. Хотя в первые недели после возвращения тоже хворала. Надежда Константиновна вспоминала, что еще и 1 мая «лежала, не могла подняться с постели…». Когда поправилась, занималась перепиской, подбором материалов, проводила, по поручению мужа, встречи с партийными активистами… Тогда же Надежда Константиновна написала свою первую статью о Ленине, скромно названную «Страничка из истории Российской социал-

демократической рабочей партии». Но вся «страничка» была о Нем одном и появилась в «Солдатской правде» 13 мая. Крупская утверждала: «Петербургский пролетариат устроил торжественную встречу Ленину, потому что знал его прошлую деятельность, знал, что он приехал бороться. С бешеною злобой обрушилась вся буржуазия, все темные силы на Ленина. Всю свою затаенную ненависть к поднимающимся к власти народным массам вылили они на Ленина. Для них он был олицетворением того перехода власти к рабочим, который грозит всему существующему порядку, всем привилегиям сытых и так недавно еще господствовавших».

Первое время Надежда Константиновна работала в секретариате ЦК РСДРП (б). Но совмещать эту работу с ролью личного секретаря Ленина оказалось трудно. Крупская вспоминала: «У меня с секретариатом дело все не налаживалось. Конечно, Ильичу было гораздо труднее работать без личного секретаря, но по российским условиям, чтобы быть тем личным секретарем, каким я была раньше (за границей. — *Б. С.*), мне нужно было бывать и в редакции, и на заседаниях ЦК — это было неудобно. Потолковали с Ильичом, решили — брошу секретарство, уйду в просвещенческую работу. Когда теперь думаю об этом, жалею, что так сделала. Осталась бы при Ильиче, может быть, сняла с него заботу о многих мелочах». Вероятнее всего, на уходе Крупской из секретариата настаивали другие члены ЦК. Фактически Надежде Константиновне, чтобы полноценно исполнять функции личного секретаря Ленина в том же объеме, как и в эмиграции, надо было быть членом руководства партии. А на то, что в ЦК Ильич стал бы располагать еще дополнительным голосом собственной жены, соратники, надо думать, смотрели косо. Ленин пока не обладал безусловным авторитетом в партии, хотя уже считался ее признанным вождем. Такой авторитет пришел после победы Октября и конечного успеха комбинации с Брестским миром. Но даже и тогда ему приходилось убеждать соратников, пусть даже безгранично верящих в его гениальность, а не диктовать им готовые решения. И многие, решения Политбюро и ЦК принимались далеко не единогласно.

Для Крупской отлучение от роли ленинского секретаря, возможно, оказалось роковым. Теперь супруги не были связаны совместной повседневной работой, они все реже виделись, и между ними не мог не возникнуть некоторого отчуждения друг от друга. Ильич приходил домой поздно и очень усталый, времени поговорить почти не оставалось. Ленин пытался практиковать, как в Швейцарии, прогулки с женой, но и на них трудно было выкроить хоть полчаса.

Крупская решила баллотироваться в Выборгскую районную думу и легко победила на выборах в этом пролетарском районе, где население поддерживало большевиков. В Думе она стала председателем культурно-просветительской комиссии — этой сфере деятельности Надежда Константиновна и посвятила всю оставшуюся жизнь. Начала же она с организации двух школ грамотности и открытия рабочего Народного университета на Выборгской набережной.

Между тем, тучи над Владимиром Ильичом сгущались. После того, как 4 июля большевикам не удалось взять власть с помощью вооруженной демонстрации сочувствующих им солдат и матросов, был выписан ордер на арест Ленина. Его обвиняли в шпионаже в пользу Германии и в организации попытки государственного переворота. Ленин ушел в подполье. На его квартире провели обыск, арестовали Надежду Константиновну и мужа сестры Ленина Анны Марка Тимофеевича Елизарова, которого приняли за вождя большевиков. Потом разобрались и отпустили. Ленин же с Зиновьевым скрывался в Разливе под Петроградом, а потом в Финляндии.

В августе без Ленина прошел VI съезд партии. Его делегатами были и Крупская, и Арманд. Потом Надежда Константиновна навестила Владимира Ильича в Гельсингфорсе. Крупская так описывала их встречу: «Ильич обрадовался очень. Видно было, как истосковался он, сидя в подполье в момент, когда так важно было быть в центре подготовки к борьбе. Я ему рассказала о всем, что знала».

Ленин вернулся в Петроград 7 октября 1917 года. Поселился на Сердобольской улице в квартире большевички Маргариты Васильевны Фофановой. Путь в Петроград оказался непрост. Сперва Ленин перебрался в Выборг. Давший ему приют в этом городе финский социал-демократ Ю. К. Латукка вспоминал: «В субботу 7/20 октября прибыл наконец долгожданный Эйно Рахья с поручением от ЦК партии доставить Ленина в Петроград. Времени не стали терять. Смастерили парик, сделавший нашего Владимира Ильича неузнаваемым — финским пастором… Они сели на трамвай и скоро были на вокзале. Поезд в 2 часа 35 минут дня дал свисток — «Октябрьская революция» была на пути в Россию. На станции Райвола наши путешественники оставили площадку вагона; часа через два Владимир Ильич на тендере паровоза, на котором машинистом был Ялава, с Эйно Рахья в первом вагоне поезда переехали границу и на станции Ланская оставили поезд». Тут Латукка немного ошибся. Действительно, ближайшей к Сердобольской улице станцией была Ланская. Но за несколько дней до возвращения Ленина Крупская проделала путь

по предполагаемому маршруту и выяснила, что Ланская расположена на высоком пригорке. Поэтому все приезжающие сразу бросаются в глаза, когда спускаются в город. Решено было, что Ильич выйдет на предыдущей станции Удельная, а до Сердобольской улицы доберется пешком.

Выбранное для Ленина убежище было очень удобно с точки зрения конспирации. Это вполне оценила Крупская: «Фофанова жила в большом рабочем доме, что делало его недоступным для шпиков. Одно окно выходило в сад, через которое в случае обыска можно было спуститься в сад, находившийся с другой стороны дома. Знали квартиру очень немногие, и без предварительного сговора (ходили только по делу) никто не приходил. Фофанова была членом Выборгской парторганизации, кроме нее, в квартире никого не жило, к ней в то время, как жил Ильич, также никто не приходил, за исключением двух-трех случаев, да и то она старалась пришедших поскорее куда-нибудь сбыть». Попутно замечу, что стиль у Надежды Константиновны — потрясающий. Если бы не; знал, никогда не поверил, что супруга

Ленина окончила гимназию с золотой медалью. Так, как она, выражались скорее герои Михаила Зощенко. Сразу приходит на память бессмертное «здесь вас не стояло».

Дальнейшее хорошо известно. Свержение Временного правительства в результате Октябрьской революции (или переворота, как первое время предпочитали говорить сами большевики, противопоставляя происшедшее менее радикальной Февральской революции). Созыв и разгон Учредительного собрания. Установление перемирия на фронте, срыв мирных переговоров в Брест-Литовске, наступление немцев, заключение «похабного» Брестского мира. Последнее событие имело непосредственное отношение к нашему «красному треугольнику». Петроград в результате мирного договора превратился в приграничный город. Совсем недалеко, в Эстонии и Финляндии, находились немецкие войска. В целях безопасности Совет Народных Комиссаров во главе с Лениным в марте 1918 года переехал в Москву, которая и стала столицей Советского государства. Ильич, Крупская и Арманд опять оказались вместе в одном городе. И роман Ленина с Инессой вспыхнул вновь. Причем на этот раз их отношения зашли очень далеко.

Фофанова тоже переехала в Москву. Ильич пристроил ее в наркомат земледелия. Много лет спустя после смерти всех действующих лиц нашей истории Маргарита Васильевна вспоминала, что еще в Петрограде отправляла ленинские письма и записки многим адресатам, в том числе и Инессе Арманд: «Письма Ленина к Инессе Федоровне носили личный характер. Я

не могла отказать Владимиру Ильичу. О его теплых связях с Инессой Надежда Константиновна знала. На этой почве между Владимиром Ильичом и Надеждой Константиновной были серьезные конфликты еще до октября. Но особо остро возник конфликт между ними после революции, когда Ильич стал главой Советского правительства. Владимир Ильич назначил Инессу Федоровну председателем совнархоза Московской губернии и поселил ее у кремлевских стен, напротив Александровского сада, рядом с квартирой своей сестры, Анны Ильиничны. Он часто пешком навещал Инессу Федоровну.

Надежда Константиновна заявила Владимиру Ильичу, что если он не прекратит связь с Арманд, то она уйдет от него. К сожалению, семейный конфликт стал достоянием членов ЦК партии и правительства, которые все знали и замечали.

Вскоре после назначения Арманд на должность председателя совнархоза Московской губернии обнаружилось, что она не справляется с этой совершенно необычной для нее работой. Тогда по инициативе Ленина она была назначена на вновь созданную должность заведующей женским отделом при ЦК РКП(б)».

Конечно, рассказу Маргариты Васильевны можно было бы не поверить, но он подтверждается и таким солидным свидетелем, как В. М. Молотов. Сам Вячеслав Михайлович членом ЦК стал только в 1921 году, уже после смерти Инессы. Но и до этого занимал не последние должности в номенклатуре, был приближен к самому верху и наверняка находился в курсе циркулировавших там слухов. На склоне лет Молотов беседовал с поэтом Феликсом Чуевым. Поэт заметил: «Говорят, Крупская настаивала, чтобы Инессу Арманд перевести из Москвы…» Вячеслав Михайлович живо отозвался: «Могло быть. Конечно, это необычная ситуация. У Ленина, попросту говоря, любовница. А Крупская — больной человек».

Ленин сам позаботился о выделении Инессе с детьми просторной квартиры на территории Кремля. 16 декабря 1918 года он писал коменданту Кремля П. Д. Малькову: «Т. Мальков! Подательница — тов. Инесса Арманд, член ЦИК. Ей нужна квартира из 4-х человек. Как мы с Вами говорили сегодня, Вы ей покажите, что имеется, т. е. покажите те квартиры, которые Вы имели в виду». В результате Инесса поселилась по соседству с Анной Ильиничной. Кроме того, она получила право на высшую «первую категорию классового пайка». Правда, и этот привилегированный паек в то голодное время был довольно скуден. В день полагался фунт хлеба, а также перловая крупа, селедка или вобла, спички, керосин…

Сама Арманд, что характерно, после Октябрьской революции

перестала скрывать свои чувства к Ильичу, по крайней мере, перед близкими людьми. В письме дочери Инессе в начале февраля 1919 года, накануне отъезда во Францию в составе делегации Красного Креста для переговоров о судьбах интернированных там русских солдат, она писала: «Дорогая моя Инуся. Вот я и в Питере. Ехали мы чрезвычайно долго. Прибыли сюда только к 10 часам вечера, но едем пока очень удобно и тепло. Сегодня переночевали в Питере и сегодня утром едем дальше. И через несколько часов уже не будем больше на нашей дорогой социалистической родине (хотя Инесса и ехала на свою родину — во Францию, — своей настоящей родиной что примечательно, она считала Советскую Россию. — *Б. С.)*. При отъезде какое-то смешанное чувство. И хочется ехать, а когда подумаешь о вас, то не хочется, и вообще много думаю о вас, моих дорогих и милых. В твое письмо вкладываю: первое письмо для Саши, второе письмо для Феди (сыновей. — *Б. С.)* и третье письмо для Ильича. О последнем пусть знаешь только ты. Письмо первое и второе передай немедленно, а письмо 3-е пока оставь у себя. Когда мы вернемся, я его разорву. Если же что со мной случится (говорю это не потому, что считаю, что в моем путешествии есть какая-либо опасность, но в дороге, конечно, всякое может быть, одним словом, на всякий случай), тогда передай это письмо Владимиру Ильичу. Лично ему передать можно таким образом: зайди в «Правду», там сидит Мария Ильинична, передашь это письмо и скажешь, что это письмо от меня и лично для Владимира Ильича. А пока держи письмо у себя. Ты моя дорогая дочка. Когда думаю о тебе, то думаю не только как о дочери, но и как о близком друге. Ну, до свидания, моя дорогая. В сущности, скоро увидимся. Едва ли, я думаю, наша поездка протянется и 2 месяца. Крепко тебя обнимаю и целую. Твоя мама. Письмо Владимиру Ильичу запечатано в конверте».

Ситуация, согласимся, необычная и немного пикантная. Не часто матери приходится доверять дочери собственные любовные письма. И наверняка Инесса Федоровна не один раз использовала Марию Ильиничну как канал связи с Ильичом. Раньше в письмах к Инусе мать тоже не раз упоминала Ленина. Например, в письме, отправленном в Астрахань в середине сентября 1918 года, полтора месяца спустя после неудавшегося покушения на лидера большевиков: «Мы все здесь были потрясены покушением на Ленина. Теперь он уже совсем поправился и уже работает… Это событие… как-то еще крепче и теснее сплотило нас, а что касается Ленина, то мне кажется, что и мы все и сами массы еще лучше поняли, как он нам дорог и как он необходим для дела революции, мы все лучше, чем когда-либо, поняли, какое великое

значение он имел для нее…» Не знаю, как массы, но Инесса Федоровна именно так думала и чувствовала.

Неизвестно, отправил ли Ленин Арманд во Францию, поддавшись уговорам Крупской, или просто исходил из соображений практической целесообразности. Прекрасное знание французского языка и связи среди французских социалистов делали Инессу весьма подходящей кандидатурой как для переговоров о возвращении на родину интернированных во Франции солдат русского экспедиционного корпуса (чтобы они не стали кадрами белых армий), так и для агитации французской общественности в пользу дипломатического признания Советской России. И в мае 1919 года удалось вернуть в Россию около тысячи человек. Однако французские власти относились к советской миссии крайне настороженно, опасаясь воздействия коммунистической пропаганды на население, только что пережившее тяготы мировой войны. Контакты делегации с внешним миром были ограничены до минимума (сначала членов миссии даже подвергли кратковременному аресту). Французское правительство настояло, чтобы делегация отправилась на родину тем же пароходом, что и освобожденные из лагерей солдаты.

От непривычной материальной скудости жизни и столь же непривычной интенсивности работы, агитационной и организационно-канцелярской, Арманд очень уставала. В письме дочери Инессе в Астрахань в октябре 1918 года она сообщала: «Живем мы теперь вместе с Варей все в той же комнате (на Арбате, на углу Денежного и Глазовского переулка, дом 3/14, квартира 12 — этот адрес вместе с номером телефона сохранился в ленинской записной книжке. — *Б. С.),* которую ты видела перед отъездом. Тесно нам отчаянно, но мы утешаемся тем, что в тесноте, да не в обиде. Варя спит скрючившись на диване… Я, по обыкновению, бегаю в свой совнархоз — кроме этого, создалась французская группа, которая выпускает свою газету III Интернационал. Кроме того, созывается Всероссийская конференция работниц… Состоится она 6 ноября (после этой конференции был создан женотдел ЦК, который Арманд и возглавила. — *Б. С.*)… Я так соскучилась по тебе! Ужасно хочется временами все здесь бросить и поехать к тебе. Недавно меня как-то очень звал туда (в Астрахань. — *Б. С.)* один товарищ, приехавший с фронта, говорит, что там нет работников, необходимо поехать и пр. Сильно колебнулась в эту сторону, но потом поняла, что тут тоже нужны работники и работу бросить нельзя…»

Подчеркну, что это письмо было написано до того, как состоялся разговор Инессы с Лениным, и она получила прописку

в Кремле. Может быть, с этого разговора и возобновился прерванный в Швейцарии роман? А тоска Инессы вызывалась не только жизненными тяготами, но и боязнью, что Ленин забыл о ее существовании?

Летом 1919 года, вскоре после возвращения Инессы в Москву, Надежда Константиновна отправилась в поездку по Волге и Каме на агитпароходе «Красная звезда». Любопытно, что руководителем поездки был не кто иной, как В. М. Молотов. Есть ли какая-то связь между двумя этими событиями? Не была ли поездка Крупской вызвана тем, что обрела второе дыхание любовь Ленина и Арманд? Или, наоборот, именно благодаря отсутствию жены роман Ильича с ее соперницей получил бурное развитие? Определенные ответы на эти вопросы мы вряд ли когда-нибудь получим.

В Поволжье Крупская узнала много нового и неожиданного о жизни народа. Она выступала преимущественно перед работниками народного образования и местных женотделов. Другой публики было мало — оратор, как и публицист, Надежда Константиновна была никакой. Приходили разве что посмотреть на жену Ленина.

В селе Работки недалеко от Нижнего Новгорода произошел замечательный разговор со стариком крестьянином. Один из спутников Крупской обратился к нему: «Ты, дед, не знаешь, как просвещаются?» «А что мне ваше просвещение, — неласково ответил дед, — с вашим просвещением мы второй год сидим без керосина». Разговор, тем не менее, завязался. Зашли в избу, заговорили о семье, детях. Оказалось, что у старика четыре сына в Красной Армии. «А ты что, замужняя аль вдова?» — в свою очередь поинтересовался дед. «Замужняя, — быстро ответил за Надежду Константиновну один из сопровождающих, большевик Виктор Петрович Вознесенский. — Ее муж-то знаешь кто? Ленин!» «О! — поразился дед. — Не врешь? Самый большой большак — муж? А что же он сам-то не поехал с тобой?» «Да некогда». «Да, делов много у него, — заметил дед. — А что же, он говорит, дальше будет? А?..» «Да говорит, что побьем Колчака, а там войну кончим и будем хозяйство по-новому строить», — ответила Надежда Константиновна. «Да, — согласился дед, — вот и Петруха из Красной Армии пишет то же самое. — «Побьем, — говорит, — и будем обживаться».

Русский народ привык тяжелое настоящее освящать верой в светлое будущее. Большевикам ничего не оставалось, как эксплуатировать эту веру. С рабочими и крестьянами такая тактика порой приносила успех. Хотя без подкрепления красноармейскими штыками и чекистскими маузерами, а также

хлебными пайками, которые только новая власть и распределяла, подобная агитация вряд ли принесла бы сама по себе большой эффект.

А вот с интеллигенцией было совсем плохо. Она в сказки о благословенном коммунистическом будущем не верила и упорно обращала внимание на разные малоприятные моменты современной действительности. На митинге образованной публики в Чистополе Крупской пришлось нелегко. Ее доклад на тему «Интеллигенция и Советская власть» энтузиазма у аудитории не вызвал. Вслед за Надеждой Константиновной на трибуну поднялся человек в пенсне и с бородкой, отрекомендовавшийся «представителем научной педагогики». Заметил, что в вопросе о необходимости развития трудовой школы Крупская, конечно, права, но ему хочется сказать о другом. О жестокости ЧК, о несправедливых арестах, об отсутствии свободы печати. Несколько присутствовавших на митинге учителей поддержали выступавшего. «Пришлось, — записала Крупская в дневнике, — в заключительном слове говорить о буржуазной свободе печати, о том, почему у нас нет свободы печати, почему приходится подавлять сопротивление буржуазии и белогвардейцев при помощи чрезвычаек и т. п. К. посерел, обыватель замолчал, а кое-кто из учителей стал оправдываться». Надежда Константиновна не написала, какова была дальнейшая судьба ее оппонента. Но можно не без оснований предположить, что теперь жестокость ЧК ему довелось испытать на собственной шкуре. Недаром посерели лицом те, кто осмелился перечить жене Ленина. Чувствовали, что их ждет после того, как пароход — «Красная звезда» двинется дальше по Каме.

Напряжения поездки, с ежедневными выступлениями перед далеко не всегда дружественно настроенными слушателями, Надежда Константиновна не выдержала. Прихватило сердце. Молотов настаивал, чтобы Крупская несколько дней отдохнула. Она отказывалась. Тогда Вячеслав Михайлович сообщил о болезни Ленину. Тот 15 июля направил Надежде Константиновне письмо: «Дорогая Надюшка!.. От Молотова узнал, что приступ болезни сердца у тебя все же был. Значит, ты работаешь не в меру. Надо строже соблюдать правила и слушаться врача. Иначе не будешь работоспособна к зиме! Не забывай этого! О делах в Народном комиссариате просвещения телеграфировал тебе уже. На фронтах восточных — блестяще. Сегодня узнал о взятии Екатеринбурга. На юге — перелом, но еще нет серьезной перемены к лучшему. Надеемся, будет… Крепко обнимаю и целую. Прошу больше отдыхать, меньше работать».

Оптимальным образом сочетать работу и отдых не удалось.

Хотя у Надежды Константиновны появилась мысль остаться на только что отвоеванном у Колчака Урале всерьез и надолго, налаживать здесь школы и библиотеки. Однако здоровье не позволило. Да и Ильич был категорически против: «Как ты могла придумать такое? Остаться на Урале?! Прости, но я был потрясен». В конце концов Крупской пришлось вернуться в Москву раньше окончания миссии «Красной звезды». Силы были уже на исходе. Как знать, не было ли вызвано сердечное недомогание Надежды Константиновны, равно как и ее намерение остаться, по сути, в добровольной ссылке на Урале, слухами о возобновлении связи мужа с Инессой? В любом случае, предполагаемый отъезд супруги председателя Совнаркома в уральскую глушь сам по себе являлся событием довольно скандальным. И Владимир Ильич выступил решительно против странного, на первый взгляд, намерения Надежды Константиновны.

Ленин все еще не решался сделать окончательный выбор между Арманд и Крупской. И держало его не только то, что Надя, конечно же, не чужой человек, и по-своему Ильич к ней сильно привязался. Пусть она и не была столь блистательна, как Инесса. Кроме того, Надежда Константиновна была очень больным человеком. Бросать ее было просто негуманно. Хотя гуманизм Ленин признавал не «абстрактный», а «классовый», но наверняка сочувствовал страданиям жены, и физическим, и моральным. Ему была чужда этика любви к дальнему, не к ближнему.

Главное же, думаю, заключалось все-таки в другом. Лидеры большевиков отнюдь не были пуританами. Любовные похождения Троцкого или Бухарина не составляли тайны для партийной верхушки, слухи о них ходили в народе. Особенно отличались «по женской части» председатель ЦИК (членом ЦИК была Инесса) Калинин и непосредственный начальник Крупской нарком просвещения Луначарский.

Валентинов вспоминал, какие в последние годы жизни Ленина бросались обвинения в адрес вождей, благодаря начатой Троцким внутрипартийной дискуссии: «Указывалось на слишком уж большую любовь к балету — вернее, к балеринам — «всероссийского старосты» Калинина, секретаря ЦИК Енукидзе, на помпезную жизнь председателя Промышленного банка Краснощекова, недостойную жизнь комиссара народного просвещения Луначарского и его супруги артистки Розанель и многих других. Старый большевик Луначарский представлял, на самом деле, все черты «нэповского перерождения». В доме, где я жил (Богословский пер. № 8, ныне улица Москвина, против театра Корша), над нашей квартирой помещался какой-то ночной

артистический клуб, где происходили оргии с непременным участием в них Луначарского. Пьяное топтание, хороводы, песни, женские крики при выключенном в нужные минуты электрическом освещении — продолжались до пяти часов утра и не давали спать. Дворник нашего дома мог часто наблюдать, как выносили на руках для посадки на извозчика пьяного Луначарского в бобровой шубе». Подобное разложение и в эпоху военного коммунизма проявлялось. Только масштаб был поменьше, из-за общей скудости жизни. По сравнению с оргиями Анатолия Васильевича и Михаила Ивановича даже открытая связь Ленина с Арманд смотрелась бы вполне невинно.

Но тут было одно немаловажное обстоятельство. Ленин был вождем всей партии и претендовал на роль единоличного вождя всего народа. Сразу после Октябрьской революции образ Ильича стал превращаться в живую икону. В новом мифе свое место заняла и жена вождя — Крупская. Заменить ее в общественном сознании на другую — Арманд — было бы не так уж просто. И не стоило подвергать сомнению святость главного творца революции и руководителя первого в мире социалистического государства в опасное для большевиков время ожесточенной гражданской войны. Зная Ленина, можно не сомневаться, что и в этом случае он подчинил чувство к Инессе интересам дела.

Крупская часто страдала рецидивами базедовой болезни. Врачи рекомендовали ей отдых на природе. Ленин поместил жену в лесной школе в Сокольниках. И часто навещал ее. Поездка на Новый, 1919-й год чуть было не завершилась трагедией. Вот скупые строки отчета МЧК: «В январе 1919 года на Сокольническом шоссе близ Краснохолмского моста бандой Кошелькова был остановлен автомобиль, в котором ехал Председатель Совета Народных Комиссаров Владимир Ильич Ленин. Бандиты под угрозой оружия отобрали у Ленина автомобиль, револьвер системы «браунинг», документы и скрылись…» Ленина, его сестру Марию Ильиничну, телохранителя Чабанова и шофера Гиля спасли от смерти два обстоятельства. Гремевший в те годы по Москве Яков Кошельков был уголовным бандитом, а не политическим террористом. Для него не было принципиальной разницы, при какой власти грабить — при царской или при большевистской. Убивал же он только своих непосредственных противников — милиционеров и чекистов, да еще тех из ограбленных, кто пытался оказать сопротивление или почему-либо не понравился бандитам. Ленин и Гиль, на их счастье, догадались не сопротивляться, и остались живы. Убивать Ильича бандитам не было никакого резона. Ведь их положение ничуть не изменилось бы оттого, что Ленина на

посту руководителя государства сменил Свердлов или Троцкий, Колчак или Деникин.

М. И. Ульянова оставила воспоминания об этом происшествии. Она утверждала, что Ленин и его спутники приняли трех вооруженных людей, остановивших автомобиль, за милиционеров или чекистов, которые осуществляют обычную проверку документов. «Но каково было наше удивление, — рассказывала Мария Ильинична, — когда остановившие автомобиль люди моментально высадили нас всех из автомобиля и, не удовлетворившись пропуском, который показал им Владимир Ильич, стали обыскивать его карманы, приставив к его вискам дула револьверов, забрали браунинг и кремлевский пропуск… «Что вы делаете, ведь это товарищ Ленин! Вы-то кто? Покажите ваши мандаты». «Уголовным никаких мандатов не надо…» Бандиты вскочили в автомобиль, направили на нас револьверы и пустились во весь опор по направлению к Сокольникам…»

Как мы видим, громкое имя председателя Совнаркома и вождя Великой Октябрьской Социалистической революции не произвело на Якова Кошелькова и его людей ни малейшего впечатления. Ленину же этот случай запал в душу. И в книге «Детская болезнь левизны в коммунизме», вышедшей год спустя, он использовал данный эпизод для оправдания задним числом Брестского мира: «Представьте себе, что ваш автомобиль остановили вооруженные бандиты. Вы даете им деньги, паспорт, револьвер, автомобиль. Вы получаете избавление от приятного соседства с бандитами… Наш компромисс с бандитами германского империализма был подобен такому компромиссу».

Подавляющее большинство читателей тогда не догадывалось, что Ленин здесь описывает не абстрактный пример, а вполне реальную ситуацию, где сам был на волосок от смерти (вдруг у кого-нибудь из бандитов дрогнул бы палец на спусковом крючке?). Не знали простодушные читатели и того, что у других бандитов, германских, Ленин и его партия спокойно получали деньги на русскую революцию, а после октября 17-го — и на удержание власти.

Через полгода, в июне 1919 года, Кошельков попал в чекистскую засаду и был смертельно ранен. У погибшего нашли ленинский «браунинг» и вернули владельцу. Удостоверение же Председателя Совнаркома так и не нашли. Возможно, Кошельков его за ненадобностью выбросил.

После возвращения из Франции Арманд стала часто навещать Ленина. Крупская свидетельствует: «В конце 1919 года к нам часто приходила Инесса Арманд, с которой Ильич особенно

любил говорить о перспективах движения. У Инессы старшая дочь уже побывала на фронте, чуть не погибла во время взрыва 25 сентября в Леонтьевском переулке (в этот день произошел мощный взрыв бомбы в помещении Московского комитета партии, в результате которого было убито и ранено несколько десятков человек, в том числе секретарь МК В. М. Загорский; присутствовавшая на расширенном заседании МК И. А. Арманд не пострадала. — *Б. С.).* Помню, как Инесса пришла к нам однажды с младшей дочерью Варей, совсем молодой тогда девушкой, потом ставшей преданнейшим членом партии. И Ильич при них, как я по старинке выражалась, «полки разводил»; помню я, как поблескивали глаза у Варюшки». Можно заподозрить, что в отсутствии Надежды Константиновны и девочек Инесса с Ильичом говорили отнюдь не о «перспективах движения», и Ленин, если и «разводил полки», то не на политическом, а на любовном фронте.

В феврале 1920 года Ленин и Инесса простудились и не могли навещать друг друга. Болела в ту пору и Крупская. У Арманд же как на беду вышел из строя телефон, и ей нельзя было позвонить. Поэтому сохранилось несколько ленинских записок тех дней, адресованных Инессе: «Дорогой друг! Хотел позвонить к Вам, услыхав, что Вы больны, но телефон не работает. Дайте номер, я велю починить. Что с Вами? Черкните два слова о здоровье и прочем. Привет!» Ленин настойчиво советовал выполнять все предписания врачей, обещал достать для Инессы остродефицитные тогда калоши — чтобы она больше на простужалась. Вообще же в период после Октябрьской революции письма и записки Ленина Арманд были довольно редки. Любовники общались непосредственно или по телефону. Ведь за исключением трехмесячной поездки во Францию, Инесса почти все время была в Москве. Ленин же покидал столицу только на короткий срок — для отдыха.

Под псевдонимом Елена Блонина Инесса Арманд опубликовала немало статей и брошюр. Она обращалась главным образом к работницам, убеждая их поддержать Советскую власть. Например, в статье «Работницы, вспомните о деревне!», опубликованной в «Правде» 30 октября 1919 года, в период самых тяжелых боев с Деникиным, Инесса настаивала: «Пролетарка станка должна протянуть руку помощи своей более темной, более отсталой сестре — пролетарке сохи — и приобщить ее к своему движению… Необходимо работницам организовать еженедельные воскресные поездки за город, объехать советские хозяйства и в каждом из них провести беседы с рабочими и работницами, призывать их к вступлению в профессиональные союзы, привезти

им газеты, сообщить им все волнующие пролетариев новости, сделать им тот или другой доклад». Но «пролетарки сохи» особых симпатий к «пролетаркам станка» не питали. Может быть, виной тому была продразверстка… У крестьянок, равно как и у их мужей, вряд ли могло вызывать восторг то, что хлеб из деревни изымают для рабочих и красноармейцев, а крестьянские семьи порой обрекаются на голодную смерть. Правда, идея смычки города с деревней была в конце концов реализована, но немного иначе, чем представляла это себе Инесса. Рабочие и работницы, а также трудовая интеллигенция действительно стали ездить по выходным в колхозы и совхозы, а в сезон сельскохозяйственных работ — даже на целые недели и месяцы. Только не доклады читать, не новостями делиться и не в профсоюзы вступать агитировать. А на полях работать. Потому что рабочих рук в деревне не хватало, да и работали колхозники на общественных полях спустя рукава, поскольку настоящего стимула к труду не имели. До такой «смычки» Арманд не дожила. А если бы дожила, вряд ли бы обрадовалась.

На одной из брошюр Инессы, «Почему я стала защитницей Советской власти?», вышедшей в 1919 году и в начале 20-х несколько раз переиздававшейся, стоит остановиться подробнее. Это — единственное из опубликованных произведений Арманд, написанное, как указывала позднее Крупская, в «полубеллетристической форме». И предназначена брошюра, как справедливо отмечала Надежда Константиновна, «для самой серой работницы». Главное же, именно здесь в наибольшей степени (если не считать дневника и писем) приоткрывается для нас внутренний мир Инессы Арманд, некоторые факты ее биографии, наконец, то, как она переосмысливала собственное дореволюционное прошлое.

Писала брошюру Инесса от лица простой работницы, языком, максимально доступным для массы едва грамотных женщин. В стилистическом отношении вышло неплохо — у возлюбленной Ильича, определенно, был литературный талант, который, к сожалению, она так и не успела развить. И как орудие пропаганды брошюра Арманд замечательна умелым использованием традиционных для большевиков приемов, посредством которых пролетариев и крестьян убеждали: во «временных трудностях» виноваты интервенты и белогвардейцы, да еще сам народ, не достигший еще должной сознательности и не готовый пока что безоговорочно и безоглядно поддерживать партию Ленина и самоотверженно трудиться и воевать для построения светлого коммунистического будущего.

Елена Блонина сразу же сообщает простодушным

читательницам, полагающим, будто имеют дело с реальной жизненной историей: «Хочу рассказать вам, как я поняла, что такое Советская власть, и почему я стала на ее сторону. Было это так.

На фабрике у нас работает много женщин. Текстильщицы. Народ все больше темный. А тут с продовольствием плохо, то да се, мы и давай бранить промеж себя Советскую власть: не дает, мол, ничего работницам…»

Как мы помним, Инесса была замужем за текстильным фабрикантом. Имела ли она право причислять себя к текстильщицам? Наверное, в каком-то смысле имела. Вот насчет того, что темная женщина, Инесса, несомненно, лукавила. Все-таки, кроме русского, четыре языка знала и в Брюссельском Новом университете диплом лиценциата получила. Пари можно держать, что ни одна работница Пушкинской или любой другой российской мануфактуры таким образованием похвастать не могла. И речь Блониной, конечно же, куда правильнее, литературнее, чем у рядовой ткачихи начала века.

Но, отдадим должное Инессе Арманд, положение работниц она представляла себе не понаслышке. Сказался опыт жизни в Пушкино и неоднократное посещение фабрик после 1917 года, частые беседы с женщинами, на них работавшими. Инесса прекрасно знала, что голодали работницы в «незабываемом 1919-м», если использовать название популярной в свое время пьесы Всеволода Вишневского. Брань в адрес Советов и большевиков подруге Ильича приходилось выслушивать не раз и не два. И в своей брошюре Арманд возлагала вину за «нездоровые настроения» среди рабочих и работниц на… интеллигентов, которые будто бы раньше только и делали, что прислуживали хозяевам, а теперь смущают народ, настраивают его против Советской власти: «А тут еще Петр Никифорыч, бывший мастер на нашей фабрике, теперь работает у нас рабочим, все разжигает, все говорит, что плоха Советская власть и ни на что нам не нужна…»

Прозрение к героине агитки приходит вместе с «сознательным рабочим» Иваном, работающим на одной с ней фабрике. А ведь именно таким псевдонимом подписывал Ленин некоторые из адресованных Инессе писем. В брошюре работница под влиянием проповеди Ивана обретает веру в Советскую власть, точно так же, как когда-то под влиянием книги Ленина «Развитие капитализма в России» сама Арманд уверовала в правоту большевиков. Иван корит героиню: «Зря ты болтаешь о Советской власти. Да знаешь ли ты, что такое Советская власть?» Я тут и осеклась, не знаю, что ему ответить. «Глупая, — говорит, — ведь Советская власть — это наша власть, власть рабочих и работниц.

Выходит, что, когда ты ее без толку ругаешь, ты ругаешь самое себя. Ничего-то ты не понимаешь».

Ну, как же, — говорю, — а вот и Петр Никифорыч ее тоже ругает, и учитель, и докторица». А Иван посмеивается. «Эх, ты! — говорит. — Неужели трудно понять? Ведь они все трое — буржуи, руку хозяина всегда держали. Как же им не ругать-то рабочую власть! А ты им уж и поверила!»

Понять и поверить действительно трудно. Фактически Арманд осуждает здесь себя прежнюю. И для этого Инессе пришлось покривить душой. Именно она когда-то служила учительницей в рабочей школе, и отнюдь не потому, что была женой хозяина фабрики, старалась облегчить быт работниц с помощью «Общества улучшения участи женщин». Нет, Инесса в ту пору думала, что только так можно помочь страждущим и что богатые должны добровольно делиться с бедными, дабы не допустить нищеты и голода. Теперь же она свято верила: лишь революция сделает женщину счастливой и свободной.

А когда Инесса работала в «Обществе улучшения участи женщин», познакомилась со многими фабричными врачами. И прекрасно знала, что эти люди отнюдь не являлись пособниками хозяев, а искренне стремились к просвещению рабочих, заботились об их здоровье. Да и мастера в своем большинстве отнюдь не были зверьми, старавшимися содрать с несчастных пролетариев три шкуры и поставлявшими молодых работниц для хозяйских утех. Кстати, Александр Арманд ничем предосудительным с девушками на своей фабрике как будто не занимался. Но интересы революции требовали представить мрачную картину недавнего прошлого и заклеймить «буржуазную интеллигенцию», не понимающую прелестей нового порядка.

В брошюре работница сначала возражает Ивану: «Ну, — говорю, — заладил: Советская власть да Советская власть! А что нам от нее? Ничего она нам не дала!» Но у Ивана тут же находятся возражения: «Неправда… Советская власть очень много дала работницам. Возьми хоть бы права. Раньше, при власти буржуев, работница была совсем принижена. Она и в государстве, и в семье, и на фабрике была вовсе рабыней. Уж как ни плохо приходилось тогда нам, рабочим, но все же мы могли выбирать своих рабочих представителей для борьбы с буржуями. А у вашей сестры и этих прав не было. Только и было слышно, что баба — дура, у женщин волос длинен, а ум короток. Никуда нельзя женщин пускать, ни на какие, мол, должности ее нельзя избирать. Буржуй и не допускал вас ни до каких выборов. Так и были вы безответные перед ним. А теперь, посмотри-ка! Работница, наравне с рабочим, выбирает во все учреждения. В заводской ли

комитет, в профессиональный ли союз, в Совет ли — всюду работницы на одинаковых правах с рабочими выбирают своих депутаток. Только буржуев и буржуек никуда не пускают. Хоть бы у нас, в нашем Совете, работницы заведуют двумя отделами. А помнишь, тов. Коллонтай, так та была даже народным комиссаром».

Характерно, что из врожденной скромности Инесса предпочла привести в пример не себя, а свою подругу Коллонтай. Что же касается прав, будто бы предоставленных трудящейся женщине новой властью, то здесь бросается в глаза одно обстоятельство. Совсем неслучайно, что в качестве тех учреждений, где женщины представлены наравне с мужчинами, Арманд перечисляет только завкомы, профсоюзы и Советы. На практике эти органы были лишь своеобразной ширмой, вывеской для широких масс, тогда как реальная власть сосредоточилась в руках коммунистической партии. Именно партийные органы принимали действительно важные решения, влиявшие на судьбы страны и положение тех же работниц. В высшие же руководящие органы в партии и государстве женщин почти не допускали. Членом Политбюро, и то — недолго, была одна лишь Екатерина Фурцева. В ЦК женщины были в явном меньшинстве, в правительстве в лучшем случае могли претендовать лишь на руководство второстепенными министерствами — культуры, здравоохранения, просвещения. В армии женщины-военнослужащие не поднимались выше полковника. Редко оказывались они и во главе предприятий и учреждений, даже если там преобладал женский персонал.

По сравнению с женщинами Западной Европы и Северной Америки советские женщины и десятилетия спустя после смерти Инессы Арманд продолжали оставаться в гораздо менее благоприятном положении. У них было гораздо меньше шансов, чем у мужчин, получить престижную и высокооплачиваемую работу. Не играли советские женщины заметной роли и в органах политической власти. Одной из причин такого положения явилось отсутствие в

СССР (равно как и в сегодняшней России) феминистского движения, ориентированного исключительно на борьбу за равные права женщин во всех сферах общественной и частной жизни.

Инесса же после своего присоединения к большевикам была убежденным противником феминизма. Она полагала, что любые женские организации должны работать под контролем компартии и в первую очередь отстаивать классовые интересы женщин — работниц и крестьянок. Инесса настаивала: никуда не пускать «буржуек». А «буржуйки», — это те, кто до революции были

женами торговцев и фабрикантов или работали учительницами и врачами, имели неподходящее классовое происхождение, но, в отличие от «товарища Инессы», не пристали вовремя к большевикам.

Вернемся к тексту брошюры. Иван напоминает простодушной собеседнице, как плохо жилось трудящимся женщинам при проклятом царском режиме: «А вспомни, как раньше на фабрике-то было? Кто был хозяином? Капиталист купец Расторгуев, директор Упырев да вот этот самый Петр Никифорыч, который был у хозяина мастером и первым другом. Вспомни-ка, как они с нашим братом обращались. А каково приходилось вам, женщинам!» Далее он убеждает свою внимательную слушательницу: «Теперь на заводах и на фабриках хозяином являешься ты, работница, вместе с рабочим».

Далее Иван переходит к семейной жизни, где Советская власть работниц тоже немало осчастливила: «Возьми теперь семейную жизнь. При прежних законах, когда женщина вступала в брак, то становилась подневольным существом. Муж был ей хозяином, которого она обязывалась во всем слушаться, который был над ней полноправным властелином и нередко бил и истязал ее. И женщине негде было искать правды». Инесса от лица своего героя предлагала работницам искать защиты от произвола разбушевавшегося супруга в Советах, которые «всем правят теперь». А раз заседают там рабочие и работницы, крестьяне и крестьянки, то, значит, им и принадлежит власть, отнятая у «буржуев, кулаков и помещиков», именно они «являются хозяевами жизни».

Опять лукавила Инесса. Ни тогда, в 19-м, ни в последующие семь десятилетий Советы реальной властью в нашей стране не обладали. Они оставались лишь вывеской для принимавших действительно важные политические решения партийных органов. Рабочие и работницы, а тем более крестьяне и крестьянки никакого существенного влияния на принятие этих решений не оказывали. Назвать тех, кто, по меркам их западноевропейских коллег, прозябал в нищете, «хозяевами жизни», можно было разве что в насмешку. Подлинными «хозяевами жизни» оставались высшие партийные иерархи, которые сполна пили «чашу жизни». Робкая попытка Михаила Горбачева переместить власть в Советы, предпринятая в последние месяцы существования коммунистического государства, закончилась крахом в августе 91-го. Но до этого было еще очень далеко, и Инессе Арманд не дано было предвидеть будущее.

Она, как и Ленин, верила, что после революции «рабочие и

работницы могут строить жизнь так, как это нужно им». Так говорит Иван и продолжает: «Они могут построить новый радостный мир, коммунизм, где не будет уже никогда ни голода, ни войны, ни угнетения, ни эксплуатации, ни рабства, где все будут работать и получать все им необходимое». Поскольку в настоящем как раз была война и голод, большевикам, и Инессе и Ильичу в их числе, приходилось кормить народ баснями о светлом будущем, которое теперь вот-вот должно наступить.

Чтобы мрачное настоящее не выглядело таким уж мрачным, Инесса от лица своей героини вспоминает о прошлом, которое рисует самыми черными красками: «Пришла я домой. Убралась, накормила своего Гришутку. Принялась чинить ему порточки, да и снова задумалась о словах Ивана… Вспомнилось мне, как раньше, при буржуях, на фабрике жилось нам, работницам. Хозяин, купец Расторгуев, толстый такой, недалеко от фабрики имел прекрасный дом, окруженный садом. Да в Москве у него был еще барский особняк. У них всегда, бывало, музыка, гости, шум. Жена его — тоже какая полная, красивая. Одета в бархатах да в шелках. Бывало, проедет в коляске, развалившись, в ответ на наши поклоны еле кивает головой. А мы, работницы, работали одиннадцать часов в сутки, а то еще и сверхурочные. Жила я в подвальном этаже. Углы сдавала. Тесно, темно, сыро. Верчусь я как белка в колесе. Днем на фабрике, а вечером дома вожусь, стираю, стряпаю. Жалованье совсем было маленькое, прожить нечем. Что толку, что в магазинах много всего было. Было, да не про нас! А мы все равно впроголодь жили. Бывало, и молока ребенку не на что купить. Так мой первенький и умер. А директор Упырев — вот тоже был лютый какой! Бывало, ни одной девушки не пропустит, так и лезет к ним. А оттолкнет его девушка, ну тут беда! Пошлет этого самого Петра Никифорыча. Тот придирается, сплошь бракует товар, а то вовсе выгонит за ворота: иди, мол, голубушка, на все четыре стороны. Многие девушки так, бывало, и поддаются Упыреву просто из-за куска хлеба.

Однажды, во время войны, не стало вмоготу нам, работницам. Мужья наши, братья уже третий год за буржуев воевали. А мы остались одни с малыми детьми. Жалованье маленькое, кормиться совсем нечем. А тут еще зима была такая холодная. Моготы нашей больше не было. Стали мы требовать прибавки жалованья. Вышли толпой на улицу, кричали, галдели. Требуем, чтобы нам больше платили, да чтобы не было больше войны. У одного рабочего оказался красный флаг и пошли на улицу с демонстрацией. В других фабриках тоже снимали рабочих. Собралось нас очень много. Идем мы прямо к губернаторской площади. Только мы туда дошли, а там полно

солдатами. Офицер нам кричит: «Расходись!» Мы идем дальше. Как он крикнет еще раз, солдаты и выстрелили. Убито было тогда несколько работниц. Так, сердечные, и лежали, раскинувшись, в крови. А уж сколько было избитых!»

Читать эти строчки забавно и грустно одновременно. Инесса здесь очень своеобразно преломляет факты собственной биографии, а также биографии своего первого мужа. Начнем с того, что Александр Арманд сам участвовал в демонстрации рабочих собственной фабрики 22 ноября 1907 года, в день начала суда над социал-демократической фракцией Государственной Думы. Тогда красильщики и ткачи под красными флагами с пением революционных песен прошли по улицам Пушкина. Арманд был в их рядах. В конце концов, демонстрация была разогнана полицией и казаками, но убитых при этом, по счастью, не было. Несколько десятков демонстрантов, в том числе и Александра Евгеньевича, арестовали. Однако вскоре мужа Инессы выпустили, на два года запретив проживание в обеих столицах и крупных городах. Местом жительства Александр Евгеньевич выбрал подмосковный Дмитров, а потом отправился на север Франции, в город Рубе, где в Высшей школе прикладных искусств изучал технологию окраски тканей. На фабриканта-кровососа из пропагандистской брошюры Александр Евгеньевич никак не походил. А при описании сцены разгона демонстрации Инесса использовала впечатления от московских демонстраций конца 1904 — начала 1905 года, когда среди демонстрантов действительно было немало жертв.

В брошюре работница с Иваном соглашается: «Да, тяжелая была наша доля. Правду говорит Иван, были мы рабынями. Ну а при Советской власти всего этого не может быть. Потому теперь наша, рабочая власть. Теперь мы вольные птицы. Сами всюду порядки устанавливаем…» Тут Инессе пришлось закрыть глаза на многие неудобные вещи. Хотя бы на то, что большевики с неугодными им демонстрациями обходились столь же круто, как и царские полицейские и казаки. Один разгон мирной демонстрации в поддержку Учредительного собрания в Москве в январе 1918 года, тоже, кстати, проходившей под красными флагами, обошелся, даже по официальным, явно заниженным данным, в 9 убитых и 22 раненых. А по всей России таких эксцессов были сотни.

Героиню Инессы все равно терзают сомнения, питаемые реальностями жизни: «Отчего же Советская власть не устроит так, чтобы нам, работницам, совсем хорошо жилось?» И она опять впадает в ересь неверия: «…Через некоторое время был такой случай. Все время выдавали совсем маленький хлебный паек, тут

несколько дней и вовсе перестали давать. Побежала за молоком, а молоко 40 рублей кружка. Измаялась я в очередях. А дома, как на грех, ни крупинки муки не осталось. Ну, что тут поделаешь! Гришутка мой кричит, есть просит. Такая меня взяла злость! Сижу на кровати, чуть не плачу. Думаю: вот так Советская власть! Ведь в Советах не буржуи какие-нибудь. Наши же рабочие, наши же работницы сидят. И чего же они нам-то, работницам, не помогают? Ведь тяжело же нам! Сначала на фабрике простой целый день, потом в очередях стой, потом еще дома возись со стиркой! А тут еще ребята! Ну, как их накормить, напоить, когда хлеба нет! Вон у Гришутки уже пальцы повылезли из башмаков, и сапог негде купить. Да и опять-таки я на фабрике день-деньской. Как я за ним присмотрю? Вот у соседки маленький еще ребенок — так той совсем не на кого его оставить. Так и берет его с собой на фабрику, он сидит там между станками. Ну, разве это порядок! Уже это, кажется, первое, о чем должны были бы подумать наши работницы. А они, чай, расселись там в Советах, баклуши бьют, а о нас, фабричных, забывают. Дай, думаю, сбегаю к Ивану, пусть он мне ответ держит. А то Советы, Советы, а о нас, работницах, забыли!»

Далее следует едва ли не документальная зарисовка посещения Инессой Ленина и Крупской: «Прибежала я к Ивану. На сердце так и кипит. Он сидит за чаем, какие-то бумажки перебирает. Тут же сидит его жена, чай пьет. Я села рядом. «Ну, — говорю, — Иван, ты все говоришь, что власть в наших руках. А вот сейчас мы, работницы, и наши дети без хлеба сидим. Пайка-то вот уж который день не выдают. О чем же вы там думаете? Почему не позаботитесь о том, чтобы вовремя был хлеб? Не для того мы вас выбирали (Ленина, верно, никто и никогда не выбирал. — *Б. С.),* чтобы вы стулья в Советах просиживали. А вы вот все говорите, митинги, собрания устраиваете, а дела не делаете!» Столько наговорила, что другой оратор в цельный час не сказал бы!»

Хозяин квартиры в ответ произносит примечательный монолог против эксплуататоров: «Иван посмотрел на меня этак серьезно: «Постой, — говорит, — ты не горячись. Давай лучше разберем все дело по порядку. Советская власть делает все, что возможно, чтобы в нынешнее трудное время доставать хлеб рабочим. Если хлеба мало, то виновато в этом царское правительство, помещики и капиталисты (кто ж еще! — *Б. С.).* Они затеяли грабительскую трехлетнюю войну, которая привела к невиданному разорению и полной разрухе, как в городах, так и в деревнях. С этой разрухой нельзя так скоро справиться. Возьми хоть бы наши железные дороги. В течение трех с половиной лет

только и делали, что солдат возили, военное снабжение доставляли, пушки отливали, ружья и снаряды изготовляли (ну, литьем пушек, равно как и производством снарядов и ружей, железнодорожники и при «проклятом царском режиме» никогда не занимались! — *Б. С.)*. А паровозы и вагоны чинить-то и некогда было. Сколько теперь попорченных паровозов, вагонов! Вот и не на чем хлеб-то возить, он и задерживается. Такая же разруха и во всем другом.

А еще виноваты Деникин и Колчак, английские, французские, американские, японские буржуи (задумывалась ли когда-нибудь Инесса, чем в принципе иноземные «буржуи», да и свои родные, российские, хуже тех «буржуев», которых она не только очень хорошо знала, но и любила — братьев Александра и Владимира Армандов? — *Б. С.)*. Они хотят восстановить старые николаевские порядки, вернуть землю помещикам, фабрики и заводы — капиталистам, а нас, рабочих и работниц, загнать в кабалу (так и видишь белые армии, марширующие под лозунгами: «Землю — помещикам!»; «Фабрики — капиталистам!». — *Б. С.)*. Но в открытом бою они нас одолеть не могут, а потому хотят взять голодом. Они захватили наши хлебные губернии, Украину, Дон, Кубань, Сибирь. Они нарочно оставляют без хлеба нас и наших детей. Советы наши давно сумели бы дело наладить, да буржуи не дают (плохому танцору, как известно, всегда яйца мешают; Советская власть продовольственную программу выполняла вплоть до своей кончины в 1991 году, да так и не выполнила. — *Б. С.)*. Вот сломим их поганую силу, тогда не будем знать ни голода, ни холода. Серчать-то ты серчай, но знай на кого. Серчай не на Советскую власть, а на буржуев, и вместе с нами борись против них. Вот тогда мы скорее общими силами добьемся всего, что нам нужно».

Героиня брошюры восхищается: «Объяснил, как в рот положил» (сторонники психоанализа, вероятно, истолкуют эту фразу как подсознательную мечту Арманд об оральном сексе с Ильичом). Но все-таки возражает: «Тебе хорошо приглашать: «Борись с нами!» А что бы ты запел, когда тебе надо было бы дома с ребятишками да с хозяйством возиться? Эхма. Нисколечко Советская власть о нас не позаботиться!» «Неверно, — говорит Иван, — что Советская власть не заботится о вас, работницах. Посмотри, вот у нас на заводе открываются ясли для маленьких детей. Вот и будете туда посылать ребят. Да кроме того устраивают столовую. Вот и не надо дома обед готовить (о том, что малоаппетитную пищу в рабочих столовых есть можно было только с очень большой голодухи, Инесса или не знала, или намеренно умолчала. — *Б. С.)*. Хоть и трудно сейчас, а все-таки

Советская власть открывает бесплатные столовые, выдает детям бесплатно добавочные пайки. Идут к тому, чтобы все содержание детей сделать совершенно бесплатным. Раньше дети работниц все больше по подвалам сидели, а теперь Советская власть вытаскивает их из подвалов и переводит в хорошие светлые квартиры, в которых раньше жили буржуи. Дело идет, значит, к тому, чтобы освободить вас, работниц, да и крестьянок также от домашнего хозяйства, чтобы всю заботу о детях передать государству. Пока еще недостаточно столовых, яслей, детских садов. Всего сразу не переделаешь. Ну, что же, давай строить побольше! Вы, работницы, должны в этом помочь Советской власти. Без вас, без вашей помощи, мы, рабочие, не сможем создать новую жизнь. Еще раз скажу: если хотите освободиться — стройте, работайте, боритесь вместе с нами».

Здесь Арманд повторяет давние марксистские идеи об освобождении женщин от домашнего хозяйства и заботы о детях. Чувствуется, что в данном случае Инесса пишет не вполне от души, скорее по обязанности. Ведь о том же Гришутке и других своих ребятах работница-мать говорит очень тепло. Трудно представить себе, чтобы героиня брошюры с большой готовностью целиком отдала заботу о собственных детях государству. В нашей стране, как и во всем мире, женщины, конечно, с удовольствием бы избавились от значительной части домашних забот вроде стирки, готовки, уборки, необходимости круглые сутки сидеть с маленькими детьми. Но вовсе не для того, чтобы освободившееся время провести у станка за мизерную зарплату или в колхозном поле за символический трудодень. Да и никакая настоящая мать всю заботу о детях никакому, даже самому лучшему государству никогда не захочет передать. Инесса сама была матерью и прекрасно это понимала. Ведь она старалась использовать каждую возможность, чтобы побыть с детьми, и в последнюю в своей жизни поездку в Кисловодск отправилась с младшим сыном, Андрюшей, который, кстати, был не таким уж маленьким — 17 лет! Но интересы революции требовали вовлечения женщин в производство, вместо служивших в Красной Армии мужчин. И Инесса ратовала за государственное воспитание детей, хотя вряд ли верила в его эффективность. Ради идеи, ради партии, ради Ленина приходилось обманывать народ. Инесса думала, что так надо, что это поможет построить лучшее будущее, где и детей можно будет воспитывать вполне гармонично. Голодным будням работниц, с мизерной и не каждый день выдаваемой хлебной пайкой, тяжелым и по сути бесплатным трудом, можно было противопоставить в качестве достижений новой власти только

бесплатные ясли да столовые. Скудное меню последних все же было лучше, чем обед или ужин дома, где хоть шаром покати.

Но самое любопытное, что монолог Ивана, похоже, не был только плодом творческой фантазии Арманд. Оказывается, он восходит к реальным словам Ленина.

В 1933 году в 45-м номере русского журнала «Иллюстрированная Россия», издававшегося в Париже, появилась статья «Ленин у власти». Ее автор укрылся под псевдонимом «Летописец». Не исключено, что так подписывался Борис Бажанов, бывший секретарь Оргбюро и Политбюро, в 1929 году бежавший на Запад и поселившийся в Париже. А может, это был уже знакомый нам Г. А. Алексинский, опубликовавший в той же «Иллюстрированной России» мемуары Елизаветы К.?

Во всяком случае, «Летописец» без какой-либо симпатии писал о вожде мирового пролетариата: «Он с самого начала отлично понимал, что крестьянство не пойдет ради нового порядка не только на бескорыстные жертвы, но и на добровольную отдачу плодов своего труда. И наедине со своими ближайшими сотрудниками Ленин, не стесняясь, говорил как раз обратное тому, что ему приходилось говорить и писать официально. Когда ему указывалось на то, что даже дети рабочих, т. е. того самого класса, ради которого и именем которого был произведен переворот, недоедают и даже голодают, Ленин с возмущением парировал претензию: «Правительство хлеба им дать не может. Сидя здесь, в Петербурге, хлеба не добудешь. За хлеб нужно бороться с винтовкой в руках… Не сумеют бороться — погибнут с голода!..» Вполне возможно, что одним из тех ближайших сотрудников, с кем Ильич делился откровениями насчет способов, какими пролетариат может добыть себе пропитание, была и Арманд. Потому что примерно так же, только в более мягкой форме, убеждал работницу большевик Иван (Ленин).

Любопытно, что этот рассказ «Летописца» отразился в бессмертном романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Там одним из эпизодических персонажей является «драматический артист» Савва Потапович Куролесов, с помощью пушкинского «Скупого рыцаря» убеждающий арестованных валютчиков «добровольно» отдать государству всю валюту и ценности. В более ранней редакции романа этого малосимпатичного персонажа звали куда прозрачнее — Илья Владимирович Акулинов. В окончательном тексте «Мастера и Маргариты» Булгаков дал персонажу менее рискованные имя, отчество и фамилию, чтобы не дразнить будущих цензоров.

В данном случае пародия на Ленина была слишком очевидна.

Сразу бросаются в глаза две пары: Владимир Ильич — Илья Владимирович и Ульяна — Акулина (последняя представляет собой устойчивое сочетание в фольклоре). Кстати сказать, карточная игра «тетка Акулина» была одной из любимых ленинских игр в период эмиграции.

Акулинов, вместе с героем Пушкина, «признавался в том, что какая-то несчастная вдова, воя, стояла перед ним на коленях под дождем, но не тронула черствого сердца артиста… Помер артист злою смертью, прокричав: «Ключи! Ключи мои!», повалившись после этого на пол, хрипя и срывая с себя галстук. Умерев, он встал, отряхнул пыль с фрачных коленей, поклонился, улыбнувшись фальшивой улыбкой, и при жидких аплодисментах удалился…»

Булгаков знал о «злом конце» разбитого параличом и лишенного возможности говорить и писать Ленина, знал и о том, что, как бы в ожидании воскресения, набальзамированное тело нового святого было помещено в Мавзолей. И зло пародировал это «воскресение» в образе только что фальшиво «умершего» на сцене и тут же как ни в чем не бывало раскланившегося перед подневольными зрителями Куролесова-Акулинова.

Когда Ленин рассуждал о необходимости рабочим самим добывать себе хлеб с винтовкой в руке, когда Инесса писала брошюру, призывающую работниц поддержать Советскую власть и поверить, что она лучше любой другой, они не знали своего будущего. Но вот настоящее так или иначе было им ведомо. И оно было куда хуже «проклятого царского прошлого».

Марк Алданов в следующем внутреннем монологе передал переживания Ленина в последние годы жизни: «То, что голодала прежняя буржуазия, разумеется, могло быть ему только приятно. Нисколько не жалел он и интеллигенцию — она незаметно с буржуазией сливалась, так что иногда и различить было нельзя. Но лишения крестьян были другим делом. И уж совсем тяжело ему было то, что в еще худшей нищете, чем при старом строе, жили рабочие, тот самый пролетариат, о котором он говорил и писал всю свою жизнь. За исключением небольшого числа добравшихся до власти выходцев, рабочие действительно помирали с голоду — прежде эти слова были все-таки лишь очень хорошим фигуральным выражением в полемике. Разумеется, можно было уверять, что это временно, что скоро они будут жить превосходно. Но их положение все ухудшалось, и они сами больше в будущий земной рай не верили. Он еще продолжал что-то твердить об исторической миссии пролетариата, но эти слова, вообще означавшие немногое, теперь превращались в насмешку над собой. Вдобавок выходцы из «рабоче-крестьянской бедноты»

на работе оказались не лучше, а хуже, чем большевики, вышедшие из буржуазии. Кухарка, оказалось, не умела править государством». Не знаю, как Ленин, а вот Надежда Крупская и, особенно, Инесса Арманд, наверное, примерно так и думали…

Но в брошюре Инесса все равно убеждает работниц, что в их бедах виноваты кто угодно: свергнутый царь, буржуи и помещики, интервенты и белогвардейцы, на худой конец, сами работницы, недостаточно активно помогающие новой власти надевать ярмо на самих себя. Виноваты все, кто угодно, только не большевики. И венчает брошюру делегатское собрание работниц, куда Иван пригласил свою подругу Елену Блонину. И для собрания Инесса не пожалела предоставить бывший дом Армандов, превращенный в рабочий клуб: «Я первый раз попала туда (так ли уж в первый? — *Б. С.)*. Не интересовалась раньше… Смотрю: настоящие хоромы. Потолки и стены раскрашены. Шелковая мебель голубая, шелковые занавески… Думаю: вот как раньше-то наши купчины жили…» Надо полагать, что свой бывший дом Арманд описала точно, вплоть до деталей обстановки. Более того, она и свой портрет нарисовала — в женщине в красном платке, чье выступление слушает главная героиня: «Белокурая, такая пригожая, и так-то хорошо стала нам говорить о нашей жизни — я даже поплакала. И о Деникине, и о Колчаке сказала, что нас и наших детей без хлеба морят. Так она меня тронула. Я думала, что образованная, а оказалось — тоже работница, только год от станка ушла (со степенью лиценциата Брюссельского университета! — *Б. С.)*. Я и не знала, что могут работницы так хорошо говорить. Слушаю я ее и думаю: «Верно, что Деникин и Колчак виноваты. Но зачем жё мы с ними воюем?

Хоть и боязно мне было, и очень уж непривычно, а не утерпела, взяла да спросила: Но почему же Советская власть не покончит войны?» Ораторша посмотрела на меня с такой милой улыбкой на молодом лице и говорит: «Советская власть не хочет войны. Она не хочет проливать кровь рабочих и крестьян. Наше Советское правительство сколько раз предлагало мир всем воюющим против нас правительствам. Но буржуи хотят только одного: задушить рабочий класс, затопить его в крови. Посмотрите, как Деникин расправляется жестоко на Украине с рабочими и крестьянами. Он не жалеет никого. Нам приходится воевать с ними, за нашу свободу, за хлеб, за уголь, за самое наше кровное дело, за лучшую жизнь, за коммунизм. Помогите, работницы, в этой борьбе Красной Армии, и мы дружными усилиями победим врагов и уже навсегда добьемся мира».

Оценим: Арманд, в отличие от Крупской, перед тем, как идти «в революцию», было что терять. Не только горячо любимых

детей, но и вполне осязаемое богатство. Но она, не колеблясь, отринула благополучное прошлое. Тем большего уважения заслуживает убежденность Инессы в правоте своего дела, дела революции. Но то обстоятельство, что столь симпатичная, не только внешне, но и внутренне, женщина, как Инесса Арманд, находясь в здравом уме и твердой памяти, стала профессиональной революционеркой, большевичкой, а потом влюбилась в Ленина и была им любима, большевизм и революцию нисколько не оправдывает. Ведь эта любовь не отменяет тех бесчисленных преступлений, что свершили Ленин и большевики во имя торжества коммунистических идей Маркса…

Тот же «Летописец» утверждал: «Ленин ни в какой мере не был поклонником или последователем маркиза де Сада. Он не был жесток ни от природы, ни по болезни. Он был жесток по убеждению, идейно, в интересах дела — революции — социализма. Он не раз повторял буквально слова Коло д'Эрбуа (одного из лидеров якобинцев. — *Б. С.):* во имя достижения своих революционных целей все дозволено! И агенты ленинской власти в центре и на местах доказывали, что для них, действительно, нет ничего не дозволенного». И в самом деле, применяя широчайшим образом террор, Владимир Ильич руководствовался исключительно соображениями политической целесообразности, а не какими-либо чувствами или эмоциями. Троцкий вспоминал, как в первые месяцы после победы Октябрьской революции, когда у многих большевистских руководителей, в том числе У самого Льва Давидовича, еще сохранялись надежды, что удастся избежать массового применения «революционного насилия», Ленин сразу начал их убеждать, что без террора никак нельзя. Когда по инициативе Льва Борисовича Каменева был отменен принятый при Керенском закон о восстановлении смертной казни на фронте, возмущению Ленина не было предела. Он-то знал, что надо будет расстреливать не только на фронте, но и в тылу. «Вздор, — не раз повторял Ильич. — Как же можно совершать революцию без расстрелов? Неужели же вы думаете справиться со всеми врагами, обезоружив себя? Какие еще есть меры репрессии? Тюремное заключение? Кто ему придает значение во время гражданской войны, когда каждая сторона надеется победить?» И предложил сразу же отменить декрет, упраздняющий смертную казнь на фронте. По свидетельству Троцкого, «ему возражали, указывая на то, что это произведет крайне неблагоприятное впечатление. Кто-то сказал: лучше просто прибегнуть к расстрелу, когда станет ясным, что другого выхода нет. В конце концов на этом остановились». Подобная практика оказалась очень удобной. В результате стали расстреливать не на основе законов или даже

декретов, а просто в административном порядке, на основании постановлений центральных и местных ЧК.

26 июня 1918 года Ленин с возмущением писал Зиновьеву: «Тов. Зиновьев! Только сегодня мы услыхали в ЦК, что в Питере рабочие хотели ответить на убийство Володарского массовым террором и что вы (не Вы лично, а питерские цекисты или пекисты) удержали. Протестую решительно! Мы компрометируем себя: грозим даже в резолюциях Совдепа массовым террором, а когда до дела, тормозим революционную инициативу масс, вполне правильную. Это не-воз-можно! Террористы будут считать нас тряпками. Время архивоенное. Надо поощрять энергию и массовидность террора против контрреволюционеров, и особенно в Питере, пример коего решает. Привет! Ленин». Более просто ленинскую мысль можно передать так: «Евсеич! Как же так — народ террора требует, а ты не дозволяешь! Да нас же бояться перестанут! Смотри, а то самого для примера стрельнем, чтоб массам не обидно было! Хоть мы с тобой в эмиграции и не одну цистерну пива выпили». И Григорий Евсеевич не подвел. Он выполнил и перевыполнил требование вождя, превратив Петроград в образцовый город с точки зрения постановки там дела массового террора.

Сам же Ленин в 1919 году в интервью американскому писателю и журналисту Л. Стеффенсу развил целую философию террора, его практическое обоснование: «Террор служит тому, чему должен служить… Мы должны найти какой-то путь, как избавиться от буржуазии, высших классов. Они не дадут нам совершить никакие экономические перемены, на которые они не пошли бы до революции, поэтому их надо вышибить отсюда… Единственное решение я вижу в том, чтобы угроза красного террора способствовала распространению ужаса и вынуждала их бежать. Как бы это ни делалось, сделать это необходимо…» Ильич при этом умолчал об одном немаловажном обстоятельстве: чтобы напугать «высшие классы», почему-то пришлось за компанию отправить на тот свет изрядное количество представителей классов средних и низших: интеллигентов, офицеров, крестьян, а порой и «несознательных» пролетариев. Например, в Ижевске и в Воткинске, где они предпочли с оружием в руках воевать на стороне Комитета Учредительного собрания, а позднее Колчака, и где расстрелы заложников и репрессии против рабочих семей со стороны красных были особенно жестокими.

Вождь большевиков стремился убедить Стеффенса, что террор — вещь великая и для настоящей революции абсолютно необходимая: «Не отрицайте террора. Не преуменьшайте ни одного из зол революции. Их нельзя избежать. На это надо

рассчитывать заранее: если у нас революция, мы должны быть готовы оплачивать ее издержки. Террор будет. Он наносит революции тяжелые удары как изнутри, так и извне, и мы должны выяснить, как избегать его, контролировать или направлять его. Но мы должны больше знать о психологии, чем мы знаем сейчас, чтобы провести страну через это безумие».

Тогда же, летом 1918 года, когда возникла угроза захвата Баку турецкими войсками, Ленин предлагал сжечь город целиком (к счастью, эта идея не была реализована). А 9 октября 1918 года предлагал Нижегородскому губкому «навести тотчас массовый террор, расстрелять и вывезти сотни проституток, спаивающих солдат, бывших офицеров и т. п.». Учитывая, что при военном коммунизме красноармейцы были одними из немногих, кто всегда получал сносный паек, они, несомненно, становились лакомой добычей для проституток. А в условиях, когда голодало едва ли не все население, в той или иной степени проституцией вынуждено было заниматься чуть ли не большинство женщин. Таким образом, под действие ленинского указания, наверное, свободно могла попасть, особенно учитывая многозначительное «и т. п.», основная часть населения. Да, сурово предлагал обойтись Ильич с теми, кого Инесса в молодые годы безуспешно пыталась вырвать из объятий порока.

Но не только их Ленин готов был принести в жертву революции. Например, в середине августа 1920 года, как раз тогда, когда писалось такое душевное письмо Инессе с предложением отдохнуть на Кавказе, Ленин предлагал следующим образом наказать государства Прибалтики за строптивость: «Под видом «зеленых» (мы потом на них и свалим) пройдем на 10–20 верст и перевешаем кулаков, попов, помещиков. Премия 100 000 руб. за повешенного». А Троцкому в Петроград 22 октября 1919 года, в самые напряженные дни борьбы с Юденичем, писал: «Если наступление начато, нельзя ли мобилизовать еще тысяч 20 питерских рабочих плюс тысяч 10 буржуев, поставить позади их пулеметы, расстрелять несколько сот и добиться настоящего массового напора на Юденича?» А 10 августа 1918 года послал записку наркому продовольствия А Д. Цюрупе: «Проект декрета — в каждой хлебной волости 25–30 заложников из богачей, отвечающих жизнью за сбор и ссыпку всех излишков».

Подобные «расстрельные» письма и записки «самого человечного из людей» можно цитировать до бесконечности. А иногда вождь убивал не пулей — голодом. Так и писал в феврале 1920 года: «Наличный хлебный паек уменьшить для неработающих на транспорте; увеличить для работающих. Пусть

погибнут еще тысячи, но страна будет спасена». Идея насчет того, что для построения нового коммунистического общества потребуется истребить часть населения, оказалась очень живучей. Достойный продолжатель Ленина Пол Пот, глава «красных кхмеров», полагал, например, что из семимиллионного населения Камбоджи только два миллиона достойны светлого будущего, а остальные пять должны умереть, и чем скорее, тем лучше.

Конечно, ни Арманд, ни Крупская не могли знать всех документов такого рода. Можно даже предположить (хотя это и сомнительно), что ни один ленинский «террористический» документ они в глаза не видели. Но ведь об осуществлении «красного террора», о широко практиковавшемся взятии заложников и их последующем расстреле и Надежда Константиновна, и Инесса Федоровна должны были каждодневно черпать сведения хотя бы из газет, поскольку террор большевиками нисколько не скрывался. Да и из служебных бумаг обе женщины наверняка получали какую-то информацию о том, что происходит в стране. И не могли не понимать, что инициатором террора является не кто иной, как их обожаемый Ильич, Но Арманд и Крупская одобряли репрессии против «контрреволюционеров», оправдывали их как ответ на «белый террор». Хотя, на самом деле, ни одним «белым» правительством в качестве государственной политики террор не проводился. Отдельные же эксцессы армейских начальников и чинов контрразведки по размаху не шли ни в какое сравнение с «красным террором». Но Инесса и Надежда не только принимали и одобряли террор. Они продолжали любить его творца.

Тут напрашивается сравнение с Евой Браун, многолетней любовницей Адольфа Гитлера, накануне краха Третьего Рейха ставшей женой фюрера и вместе с ним покончившей с собой. Разница между ней и женщинами Ленина бросается в глаза. Террор, проводимый нацистами, в частности, геноцид против евреев и цыган, был скрыт от глаз общественности. О массовых казнях и репрессиях на оккупированных территориях германские газеты не сообщали. Не только миллионы немцев, но и многие из ближайшего окружения Гитлера не знали о трагической судьбе миллионов евреев и думали, что их просто переселили куда-то далеко на Восток. Точно так же и равнодушная к политике Ева не ведала, что творил ее дорогой Адольф, и готова была быть с ним вместе и в жизни, и в смерти.

Но не то положение было у Крупской и Арманд. Они-то о делах Советской власти знали если не все, то очень многое. Революция и коммунизм были для них не только делом любимого

человека, но и их собственным делом. Более того, Инесса и Надежда любили Ленина не только как мужчину, но и как политического вождя. И вынуждены были в конечном счете принять ленинскую мораль: нравственно и хорошо все то, что хорошо для революции. Учтем также, что ни Ленин, ни Гитлер, ни Сталин, ни

Саддам Хусейн лично никого не убивали. Они только выступали идеологами террора да отдавали приказы, устные и письменные, с номером и без, об убийствах десятков и сотен, тысяч и миллионов неугодных и подозрительных, не подходящих по расовым, классовым, национальным или каким-нибудь иным признакам. Лично же главари деспотических режимов могли быть людьми не жестокими, любили животных, проявляли доброту и заботу о родных и близких, камердинерах и шоферах, не говоря уж о тех женщинах, которых любили.

А те, кто любил их, видели прежде всего сильных, волевых мужчин, за которыми шли миллионы, мужчин, служивших великим идеям, идеям равенства и расы, братства и почвы, земного рая и национального возрождения. Такие идеи, казалось, оправдывают пролитую ради них кровь. Со временем настает черед самих последователей идеи. Верно говорил Ницше: «Как только религия приобретает господство, ее противниками становятся все те, кто был ее первыми последователями».

Арманд в революцию, безусловно верила. Но, как знать, проживи Инесса подольше, не превратилась ли бы она после смерти Ленина в противника марксизма, в решительного критика советского опыта строительства социализма. Ведь подобную эволюцию проделала другая «женщина русской революции» — Анжелика Балабанова. Если бы Инесса последовала ее примеру, то у нее было бы два возможных варианта судьбы. Либо сгинуть во время одной из сталинских чисток. Либо вернуться на родину, во Францию, и там начать новую жизнь — то ли пианистки, то ли писательницы, то ли политической публицистки, но уже отстаивающей взгляды, прямо противоположные прежним.

Впрочем, если бы она Ленина пережила, а убеждения не изменила, вариантов судьбы тоже могло быть два. Как представительница старой гвардии большевиков, Инесса имела шансы погибнуть в 37-м, особенно если успела бы к тому времени поучаствовать в какой-нибудь оппозиции. Ведь в глазах партийцев, а тем более народа имя Арманд никак не связывалось с именем Ленина, и Ильич после смерти никак не мог защитить ее.

Но могло случиться и иначе: Инесса не попала бы в мясорубку репрессий или отделалась ГУЛАГом. Дожила бы до

оттепели, написала бы мемуары «Мои встречи с Лениным». Там, повинуясь партийной дисциплине и установившейся традиции иконопочитания, о своей любви к Ильичу не сказала бы ни слова. Все только о выполнении ленинских поручений, о мудрых мыслях вождя, о его гениальном предвидении. Да еще, наверное, нисколько не лукавя, о ленинской человечности и доброте. Инесса одна из немногих по-настоящему имела право так написать о Ленине. Но до мемуаров ей не суждено было дожить. Суждено было другое. Жизненный путь Арманд подходил к концу. И невольно роль злого гения здесь сыграл самый дорогой для нее человек.

После проведения Международной конференции коммунисток, прошедшей в рамках И Конгресса Коминтерна, Инесса, по свидетельству Крупской, «еле держалась на ногах». Ведь работать приходилось по 14–16 часов в день. Ильич был очень озабочен состоянием здоровья своей любовницы и в середине августа 1920 года написал ей письмо с предложением отправиться отдохнуть в какой-нибудь санаторий: «Дорогой друг! Грустно очень было узнать, что Вы переустали и недовольны работой и окружающими (или коллегами по работе). Не могу ли я помочь Вам, устроив в санатории? С великим удовольствием помогу всячески. Если едете во Францию, готов, конечно, тоже помочь; побаиваюсь и даже боюсь только, очень боюсь, что Вы там влетите… Арестуют и не выпустят долго… Надо бы поосторожнее. Не лучше ли в Норвегию (там по-английски многие знают) или в Голландию? Или в Германию в качестве француженки, русской (или канадской?) подданной? Лучше бы не во Францию, а то Вас там надолго засадят и даже едва ли обменяют на кого-либо. Лучше не во Францию».

И тут же Ильич расписывает прелести отдыха на российской земле (он только что вернулся из хорошо знакомого Инессе Заболотья под Сергиевым Посадом, где охотился в лесах, прежде принадлежавших Армандам): «Отдыхал я чудесно, загорел, ни строчки не видел, ни одного звонка. Работа раньше была хороша, теперь все разорили. Везде слышал Вашу фамилию: «Вот при них (Армандах. — *Б. С.)* был порядок» и т. д.

Если не нравится в санаторию, не поехать ли на юг? К Серго на Кавказ? Серго устроит отдых, солнце (боюсь, даже и всесильному ленинскому наместнику Кавказа Орджоникидзе было не совладать с природой, но Ленин, кажется, уже верил, что и ход небесных светил в руках большевиков. — *Б. С.),* хорошую работу, наверное, устроит. Он там власть. Подумайте об этом».

На свою беду Инесса послушалась совета Ленина и решила вместе с младшим сыном Андреем отдохнуть на Кавказе. Уже 18 августа Ильич написал Орджоникидзе:

> «Т. Серго! Инесса Арманд выезжает сегодня. Прошу Вас не забыть Вашего обещания. Надо, чтобы Вы протелеграфировали в Кисловодск, дали распоряжение устроить ее и ее сына как следует и проследить исполнение. Без проверки исполнения ни черта не сделают (своих родных бюрократов вождь знал очень хорошо. — *Б. С.).* Ответьте мне, пожалуйста, письмом, а если можно, то и телеграммой: «письмо получил, все сделаю, проверку поставлю правильно». Очень прошу Вас, ввиду опасного положения на Кубани, установить связь с Инессой Арманд, чтобы ее и ее сына эвакуировали в случае необходимости вовремя на Петровск и Астрахань, или устроить (сын болен) в горах около Каспийского побережья и вообще принять все меры».

Ленин также снабдил Инессу рекомендательным письмом, адресованным в управление курортами и санаториями Кавказа: «Прошу всячески помочь наилучшему устройству и лечению подательницы, тов. Инессы Федоровны Арманд, с больным сыном. Прошу оказать этим, лично мне известным партийным товарищам полное доверие и всяческое содействие». И подписался как председатель Совнаркома. Это письмо вызывает улыбку. Очень уж забавно утверждение, что Ленин будто бы знает сына Инессы как заслуживающего доверия «партийного товарища». Ведь Андрею тогда было всего семнадцать лет, и членом партии он не был. То ли Ильич очень торопился, то ли решил, что кашу маслом не испортишь: пусть считают Андрея партийцем, авось, лучше заботиться будут. И не бросят, если к санаторию вдруг подойдут укрывшиеся в горах отряды белых.

Серго все исполнил как надо. Обеспечил лучший санаторий в Кисловодске и добраться туда помог поскорее. В Кисловодске Инесса впервые начала вести дневник, до предела откровенные разговоры с самой собой. Дневник сохранился. Получилось так,

что перед самой смертью Инесса распахнула перед нами свою душу. Этот дневник стоит процитировать почти полностью:

«1 /IX 1920 года. Теперь есть время, я ежедневно буду писать, хотя голова тяжелая, и мне все кажется, что я здесь превратилась в какой-то желудок, который без конца просит есть. Да и ни о чем здесь не слышишь и не знаешь. К тому же какое-то дикое стремление к одиночеству. Меня утомляет, даже когда около меня другие говорят, не говоря уже о том, что самой мне положительно трудно говорить. Пройдет ли когда-нибудь это ощущение внутренней смерти? Я дошла до того, что мне кажется странным, что другие так легко смеются и что им, по-видимому, доставляет наслаждение говорить. Я теперь почти никогда не смеюсь и улыбаюсь не потому, что внутреннее радостное чувство меня к этому побуждает, а потому, что надо иногда улыбаться. Меня также поражает мое теперешнее равнодушие к природе. Ведь раньше она меня так сильно потрясала. И как я мало теперь стала любить людей. Раньше я, бывало, к каждому человеку подходила с теплым чувством. Теперь я ко всем равнодушна. А главное — почти со всеми скучаю. Горячее чувство осталось только к детям и к В. И. Во всех других отношениях сердце как будто бы вымерло. Как будто бы, отдав все свои силы, всю свою страсть В. И. и делу работы, в нем истощились все источники любви, сочувствия к людям, которым оно раньше было так богато! У меня больше нет, за исключением В. И. и детей моих, каких-либо личных отношений с людьми, а только деловые. И люди чувствуют эту мертвенность во мне, и они отплачивают той же монетой равнодушия или даже антипатии (а вот раньше меня любили). А сейчас иссякает и горячее отношение к делу. Я человек, сердце которого постепенно умирает… Невольно вспоминается воскресший из мертвых Лазарь. Этот Лазарь познал смерть, и на нем остался отпечаток смерти, который страшит и отталкивает от него всех людей. И я тоже живой труп, и это ужасно! В особенности теперь, когда жизнь так и клокочет вокруг».

Очень симптоматичное признание! За три года революции и гражданской войны Инесса из жизнерадостной, не старой еще женщины, стремящейся помогать людям, превратилась в какую-то тень человека, как она сама определяет, в живой труп. Что же осталось в ее жизни? Любовь к Ильичу, своим детям и революции. Но и насчет революции Инесса уже испытывает некоторые сомнения. Иначе не было бы в ее дневнике слов о том, что «сейчас иссякает и горячее отношение к делу», что у нее нет больше личных отношений ни с кем, кроме детей и Ленина, значит, нет

их и с товарищами по борьбе. Пусть Арманд всегда пропагандировала общественное воспитание детей, ослабление влияния семьи на подрастающее показание. В конце жизни она пришла к двум главным жизненным ценностям: семья и любовь. Эти ценности, олицетворяемые детьми и Ильичом, может быть, даже помимо воли Инессы, оттеснили на второй план думы о революции.

Следующая запись в дневнике Арманд датирована 3 сентября 1920 года. Вот ее текст: «Вчера не писала, ходила гулять, а затем не могла писать, потому что нет лампочки в нашей комнате. Здесь, в Кисловодске, мало еще что налажено. Власть взята недавно — и потому все характерные черты такой начальной стадии власти. Мне теперешний Кисловодск очень напоминает 1918 год в Москве. Такая же неналаженность, такая же непрочность еще власти, связанные с покушениями, беспорядками и пр. Только здесь положение труднее, потому что нет пролетариата, который в Москве и Московской губернии являлся всегда в самые трудные минуты надежной опорой. Здесь пролетариата мало, а в станицах работа проведена еще небольшая, *признаться сказать,* не представляю себе, как здесь вести работу.

В станицах много крупных хозяев — богатых крестьян. В горах, по слухам, еще ходят банды белых. На днях убиты были двое ответственных работников. Некоторые больные в связи с этим очень волнуются — боятся нападения. Немного боюсь только за Андрюшу — за моего дорогого сынка. Я в этом отношении слабовата — совсем не похожа на римскую матрону, которая легко жертвует своими детьми в интересах республики. Я не могу. Я неимоверно боюсь за своих детей. Я не могу удерживать их от опасности — не имею права их удерживать. Но страдаю от этого и боюсь за них бесконечно. Я никогда не была трусихой за себя, но я большая трусиха, когда дело идет о моих детях и в особенности об Андрюше. Я не могу даже подумать о том, что придется пережить, если ему придется когда-нибудь пойти на фронт, а боюсь, что ему придется. Ведь войне еще долго продолжаться. Когда-то восстанут наши заграничные товарищи.

Да, мы еще далеки от того времени, когда интересы личности и интересы общества будут вполне совпадать. Сейчас жизнь наша — сплошные жертвы. Нет личной жизни потому, что все время и силы отдаются общему делу. Или, может быть, это я не умею, другие, может быть, и выкраивают себе все-таки хоть небольшой уголок счастья? Странные сейчас отношения между людьми. Вот сейчас наблюдаю сцену, правда, не из настоящей жизни, а из

жизни курорта. Прежних старых отношений нет — то, что раньше называлось знакомство. Вообще в жизни люди больше не ходят друг к другу в гости. Отношения больше деловые. Здесь в курорте, в особенности в дождливые вечера, друг к другу ходят «просто так». И все-таки это не совсем то, что было раньше, хотя обывательского в публике, безусловно, еще много».

В этой записи бросается в глаза тревога за судьбу детей. Сразу скажу, что опасения Инессы насчет судьбы младшего сына оказались провидческими. Андрею действительно пришлось идти на фронт, только 21 год спустя, и мать до этого не дожила. В 1941 году Андрей Александрович пошел воевать в составе московского ополчения и на фронте, наконец, вступил в партию. До победы не дожил: подкосила болезнь. Стоит заметить, что та война с Германией, что разразилась 22 июня, готовилась Сталиным вместо так и несостоявшегося «восстания заграничных товарищей». Красная Армия должна была на штыках принести несуществующую «пролетарскую революцию» в Западную Европу. Но случилось так, что Гитлер успел ударить первым, и осенью 41-го сыну Инессы пришлось не Берлин штурмовать, а вместе с другими ополченцами, зачастую не имевшими даже винтовок, собственными телами преграждать неприятелю путь к Москве.

Инесса до последних дней своей жизни продолжала идеализировать пролетариат, верить в необыкновенные способности этого класса к созиданию нового. Трудности с установлением Советской власти и налаживанием нормального быта в Кисловодске и его окрестностях она объясняла почти полным отсутствием в этом районе пролетариев. Вместе с тем, Арманд чувствовала, что что-то не так и в том строе, торжеству которого она посвятила почти всю жизнь. Инесса видела растущий разрыв между личными интересами и поставленными от имени общества целями. Признавалась, что не готова принести своих детей в жертву революции. А именно такая жертвенность провозглашалась общественным идеалом.

И еще. Инесса замечала, что отношения между людьми, даже убежденными партийцами, не стали, как мечталось до революции, искренними и чистыми, лишенными «обывательщины». Вероятно, под этим словом она подразумевала заурядные курортные романы, свидетельницей которых довелось быть. Такая мимолетная интрижка была не для Инессы. Только Владимир Ильич был для нее объектом любовной страсти. А соединиться с ним, думала Инесса, если и можно будет, то очень не скоро — после победы мировой революции, когда восстанут «заграничные товарищи». Пока бушует война классов,

большевистскому вождю будет недосуг устраивать личную жизнь.

После 3 сентября в записях большой перерыв. В следующий раз Инесса обратилась к дневнику лишь 9 сентября. Она опять писала о нарастающей отчужденности от окружающих: «Мне кажется, что я хожу среди людей, стараясь скрыть от них свою тайну — что я мертвец среди людей, что я живой труп. Как хороший актер, в который раз повторявший сцену, которая уже перестала его волновать или вдохновлять, я повторяю по памяти соответствующие жесты, улыбку, выражение лица, даже слова, которыми я пользовалась раньше, когда действительно испытывала чувства, которые они выражают. Но сердце мое остается мертво, душа молчит, и мне не удается вполне укрыть от людей свою печальную тайну. От меня все же веет каким-то холодком, и люди это чувствуют и сторонятся меня. Я понимаю, что явление это коренится в физиологических Причинах — переутомление нервов? неврастения? Что-нибудь в этом роде. Но едва ли это излечимо. Я теперь уже больше не устала, мне надоело уже бездействие, но внутренняя мертвенность осталась. И так как я не могу больше давать тепла, так как я это тепло уже больше не излучаю, то я не могу больше никому дать счастья».

Инесса не решалась признаться даже самой себе, что дело, конечно же, не в физиологии, не в переутомлении, не в истощении нервной системы. Все обстояло гораздо серьезнее. Инесса боялась написать даже в самом интимном дневнике, что разочаровалась в революции. Ее душа омертвела потому, что лишилась стержневой идеи. Слишком много крови приходилось проливать, чтобы обеспечить торжество «пролетарской революции». Почему же столько народу никак не желает понимать своего счастья? И почему она сама больше не испытывает внутреннего удовлетворения от того, что трудится на благо революции? Подспудно эти мысли у Инессы, наверняка, возникали.

Безусловно, Арманд лично не участвовала в осуществлении «красного террора». Но не могла не знать о нем, из газет и из рассказов товарищей. А в кисловодском санатории могла непосредственно наблюдать «красный террор» в действии. Ведь упомянутое в дневнике убийство двух ответственных работников белогвардейцами не осталось без последствий. Как вспоминал один из отдыхавших вместе с Инессой, Евсей Рихтерман, «начинается террор из-за угла против ответственных работников (убиты товарищи Зенцов и Лонин). Отвечаем красным террором». В данном случае это, скорее всего, означало взятие в заложники и

расстрел нескольких зажиточных граждан, а также тех, кого подозревали в контрреволюционной деятельности. Как правило, жертвами становились невиновные, ни к каким преступлениям против Советской власти не причастные. Но о «красном терроре» в Кисловодске Инесса в дневнике ничего не написала. Значит, это было ей не в диковинку и никакого осуждения не вызывало. Может, верила, что большевики расстреливают только заведомых врагов революции. Или приняла революционный принцип: лес рубят — щепки летят?

Следующую запись Инесса сделала 10 сентября: «Вчера читала отчет о съезде народов Востока и очень волновалась. Это важнейшее событие — этот съезд, точно так же, как съезд III Интернационала, — удивительно спаяло движение рабочих различных стран, спаяло не революцией, а действительно в действии, точно так же, я думаю, и съезду народов Востока удастся спаять в действии выступления этих народов. Интересно только, насколько удастся постановления съезда действительно сделать достоянием широких масс восточных народов. Мне как-то не верится, чтобы это было возможно. Ведь там еще все так дико, так темно».

Съезд народов Востока, проходивший в Баку, принял постановление о перезахоронении здесь тел 26 бакинских комиссаров, в том числе и хорошо знакомого Инессе Якова Зевина. Они наверняка встречались и в Москве в 1917 году, пока Зевин в августе не отправился в Баку, и Инесса уже наверняка знала, какова настоящая фамилия ее дорогого Саввы. Может быть, съезд народов Востока потому так заинтересовал Арманд, что она наткнулась на знакомое имя, вспомнила их короткую любовь, оплакала гибель парижского друга? И не знала, что самой жить осталось считанные дни.

Примечательно также то, что Инесса усомнилась в осуществимости провозглашенных партией целей, пусть только в отношении стран Востока, по ее мнению, диких и темных. Но, хорошо зная Западную Европу, разве не видела она, что по уровню цивилизации от Франции или Швейцарии Россия очень далека, а по преобладанию крестьянства и уровню грамотности скорее приближается к Индии или Китаю? Не ставила ли она тогда, осенью 1920 года, под сомнение успех социалистического эксперимента в нашей стране? Ведь российская глубинка, где Инессе довелось побывать в ссылке, казалась ей дикой и темной, как и неведомый Восток.

Последняя запись в дневнике была сделана 11 сентября 1920 года (что последняя, Инесса, разумеется, не предполагала): «Перечитала только что «St. Mars» (роман французского писателя-романтика Альфреда Виктора де Виньи «Сен-Мар». — *Б. С.)* — поражает меня, как мы далеко ушли благодаря революции от прежних романтических представлений о значении любви в человеческой жизни. Для романтиков любовь занимает первое место в жизни человека, она выше всего. И еще недавно я была гораздо ближе к такому представлению, чем сейчас. Правда, для меня любовь никогда не была единственным. Наряду с любовью было общественное дело. И в моей жизни, и в прошлом было немало случаев, когда ради дела я жертвовала своим счастьем и своей любовью. Но все же раньше казалось, что по своему значению любовь имеет такое же место, как и общественное дело. Сейчас это уже не так.

Значение любви по сравнению с общественной жизнью становится совсем маленьким, не выдерживая никакого сравнения с общественным делом. Правда, в моей жизни любовь занимает и сейчас большое место, заставляет меня тяжело страдать, занимает значительно мои мысли. Но все же я ни минуты не перестаю сознавать, что, что как бы мне ни было больно, любовь, личные привязанности — ничто по сравнению с нуждами борьбы. Вот почему воззрения романтиков, которые раньше казались вполне приемлемыми, теперь уже кажутся…»

На этих словах запись драматически обрывается. Арманд так и не успела ее закончить. Дела, связанные с угрозой нападения белых и спешной эвакуацией из Кисловодска, а потом болезнь отвлекли ее от дневника. Бедная Инесса пыталась переделать свою душу, родственную как раз душам романтиков XIX века. Пыталась уверить себя, что в новом веке, XX-ом, любовь неизбежно оттесняется на второй план необходимостью служить общественному благу. Но тут же признавалась, что не раз жертвовала любовью и счастьем ради дела революции. Значит, настоящее счастье приносила Инессе все-таки любовь, а не революционная борьба. Может быть, не только любовь к Ленину она имела в виду как пример, когда приходилось жертвовать личным в пользу общественного, но и более раннюю любовь к уже погибшему Савве?

Инесса подчеркивала, что чувство к Ильичу и теперь занимает в ее душе место, никак не меньшее, чем революция. И страдала, наверное, от одного того, что вынуждена быть вдалеке от любимого. Хотя не меньше страдала и потому, что, находясь рядом с Лениным в Москве, лишь изредка могла с ним видеться.

После последней записи было еще последнее письмо к дочери Инессе, отправленное в середине сентября: «Дорогая моя Инуся, может быть, ты теперь уже вернулась из своей экспедиции и находишься в Москве. На всякий случай пишу тебе.

Мы уже 3 недели в Кисловодске и не могу сказать, чтобы до сих пор мы особенно поправились с Андреем. Он, правда, очень посвежел и загорел, но пока еще совсем не прибавил весу… Я сначала все спала и день и ночь. Теперь, наоборот, совсем плохо сплю. Принимаю солнечные ванны и душ, но солнце здесь не особенно горячее, не крымскому чета, да и погода неважная: частые бури, а вчера так совсем было холодно. Вообще не могу сказать, чтобы я была в большом восторге от Кисловодска…

Проскочили мы довольно удачно, хотя ехали последнюю часть пути с большими остановками, и после нас несколько дней поезда совсем не ходили. Слухов здесь масса — не оберешься, паники тоже. Впрочем, теперь это все успокоилось более или менее… Временами кажется: не остаться ли поработать на Кавказе? Как ты думаешь?»

Это письмо дочь прочла уже после смерти матери. Из него видно, что последний в своей жизни отдых Инесса Арманд провела безрадостно. И виной тому не плохая погода, явно недостаточное и однообразное питание или слишком большое переутомление в предшествовавшие месяцы. Отравляли. Инессе отдых тяжелые душевные переживания, связанные и с революцией, и с Лениным. Интересно, что, хотя Кисловодск ей активно не понравился, она всерьез подумывала над тем, чтобы остаться на Кавказе на более долгий срок, найдя здесь себе какую-нибудь работу. Поразительное совпадение с более ранним намерением Крупской остаться поработать на Урале. Не было ли и у Арманд идеи на время «сбежать» от Ленина? Не подозревала ли она, что симпатии Ильича опять качнулись в сторону Надежды Константиновны?

Так получилось, что о последних днях Инессы Арманд сохранилось воспоминаний больше, чем обо всей ее предшествовавшей жизни. Вот что запомнилось, например, большевику Г. Н. Котову, знавшему Инессу еще по Парижу и вновь встретившемуся с ней в Кисловодском санатории: «Доведя себя до крайней степени усталости и истощения, тов. Инесса, наконец, приехала на Кавказ, дабы отдохнуть и поправиться для дальнейшей работы. На Кавказе я встретился с ней не на работе, а по тому же несчастью, что и она, т. е. по болезни («настоящим большевикам» отдыхать полагалось только из-за «несчастья» — болезни! — *Б. С.)*. Как старые знакомые и как друг к другу хорошо относящиеся товарищи, мы постарались устроиться в

одной из кисловодских так называемых санаторий, поближе друг к другу.

Зная т. Инессу как компанейского товарища и как веселого во всякие минуты при встрече с товарищами, на этот раз я увидел что-то неладное, что-то не так. Конечно, перемена мне стала понятной очень скоро. Оставаясь все такой же, она просто изнемогала от усталости, от переутомления. Ей необходимо было оставаться одной в тишине, и она это делала. Она уходила в горы и в лес одна. Я много раз пытался привлечь ее к игре в крокет и звал посидеть в той компании, какая там была, но в ответ получал: «Потом, еще успеем, а пока я пойду отдыхать на солнце». Если бы не ее младший сын Андрюша… который был веселым моим компаньоном, и если бы не нужно было по звонку обедать и пр., то она, кажется, и не возвращалась бы к шуму людскому.

Так было недели две. Это был какой-то запой одиночества. Потом тов. Инесса постепенно стала приходить в себя. Вместе с поправкой чисто физической, она стала отходить и духовно. Было очень заметно, что дело идет на поправку. И сама она говорила, что чувствует улучшение, в весе тоже прибавляется.

Все это время пребывания в Кисловодске условия политические были достаточно неприятны для отдыха. Помимо всевозможных белогвардейских выступлений сравнительно вдали от Кисловодска, были часты угрозы и непосредственно Кисловодску. В связи с этим были нередки ночные тревоги.

Люди нервные, издерганные, не умевшие владеть собой, а также трусы и шкурники, как беспартийные, так и партийные, не могли лечиться и отдыхать; они или просто даром проводили время, или удирали. Не из числа таких была т. Инесса. Все эти предупредительные тревоги ее мало задевали. Она на них или совсем не реагировала, или реагировала очень мало, не портя себе настроение. В данном случае т. Инесса была только сама собой, была тем коммунистом, который закален в боях, с выдержкой, с силой воли и, главное, не трус и не шкурник. В то время, когда вокруг Кисловодска завязались настоящие бои, когда целыми днями слышно было трахтание артиллерии, когда Кисловодск могли отрезать белогвардейцы, в это время началась паника: многие удирали почем зря. И на сей раз т. Инесса была одной из немногих.

Ни паника, ни просто потеря равновесия ее не охватили. Она все делала для того, чтобы вперед отправить слабобольных (очевидно, имеются в виду те больные, кто был наиболее слаб, а не те, у кого заболевание было наиболее слабо выражено. — *Б. С.),* семейных и т. д. Больше того, когда в Кисловодск прибыл

командующий т. Давыдов и член областного комитета т. Назаров, когда они заявили, что в первую голову т. Инессу и некоторых других товарищей заберут и перевезут в другое место, тогда она тут же заявила, что не поедет до тех пор, пока не будут отправлены другие. Появление в Кисловодске товарищей Давыдова и Назарова было как раз во время кризиса борьбы с белогвардейцами. Отправка больных из Кисловодска началась еще до их приезда…

Т. Назаров прибыл в Кисловодск для выполнения приказа из центра и из области. Он сказал: если т. Инесса не поедет добровольно, то он прибегнет к помощи товарищей красноармейцев, дабы выполнить распоряжение об ее перемещении.

По истечении суток с приезда тов. Назарова положение выяснилось определенно. Белогвардейцы были биты, их гнали, они удирали в горы. Несмотря на благоприятный исход боевой схватки в данный момент, Кисловодск, как курорт, для данного сезона было решено ликвидировать. Эвакуация больных постепенно должна была продолжаться. В виду такого оборота дел тов. Инесса должна была решать вопрос: ехать ли ей из Кисловодска в Москву или еще куда для продолжения отдыха. Если бы товарищ Инесса чувствовала себя здоровой и отдохнувшей, то она, не задумываясь, поехала бы в Москву. Больше всего ей не хотелось уезжать из Кисловодска куда-либо для продолжения лечения. Вот ее слова: «Теперь опасности нет. Мы с Андрюшей так хорошо здесь поправляемся, нам осталось отдыхать еще около месяца, а поэтому нет никакого смысла менять место, тратя на это время, силы и проч.». Таково было ее решение. Но т. Назаров не мог пойти на это. Принимая во внимание распоряжение из Центра, а также личное желание, тов. Назаров готов был сделать все, дабы лучше устроить тов. Инессу и других. Он знал тов. Инессу очень хорошо и с самой лучшей стороны, а потому и относился больше не как должностное лицо, а как лучший товарищ к лучшему товарищу.

Итак, т. Инесса, хотя и против своего желания, все-таки выехала из Кисловодска. Уже заранее было решено, что увезенных из Кисловодска помесят в Нальчик… Отправившись с поездом командующего тов. Давыдова, по дороге нам пришлось вступить в небольшую перестрелку с бандитами где-то перед Владикавказом. Но вот мы прибыли и во Владикавказ. Дабы лучше все устроить и поехать в Нальчик не на пустое место, нам пришлось во Владикавказе пробыть около двух суток. Не знаю, чем объяснить, но сказать надо, что, начиная с Кисловодска, нам определенно не везло. Пробираясь с приключениями до

Владикавказа, простояли там двое суток; и отправившись в Нальчик, мы опять застряли на одной из самых грязнущих станций, на станции Беслан, и простояли тоже около двух суток. В дороге приходилось питаться чем попало. Но вот мы добрались и до Нальчика. Прибыв около обеда, первым делом т. Инесса отправилась осматривать помещение, в котором можно было бы остановиться. На сей день дело кончилось тем, что ночевать пришлось в вагоне. Т. Инесса в этот же первый день отправилась на заседание Нальчикского Исполкома, дабы познакомиться хоть немного и с товарищами, и с делами края (может быть, для осуществления планов остаться работать на Кавказе? — *Б. С.)*. Вернувшись, т. Инесса ни на что не жаловалась, а наутро уже мучилась в судорогах холеры. Т. Ружейников, приехавший с нами как врач, осмотрел т. Инессу и, не говоря много, принял меры к тому, чтобы поскорее отправить ее в больницу… Несмотря на все срочно принятые и достаточные меры с медицинской стороны, т. Инессу не представлялось возможности спасти. Опасения за ее жизнь с момента болезни были крайне велики, так как сердце и вообще здоровье были в очень плохом состоянии. Наши опасения оправдались. Т. Инесса не могла побороть злой бациллы азиатской холеры. Тихо, без шума, в страшных муках предсмертной агонии тов. Инесса застыла навеки.

В течение 8 дней тело тов. Инессы стояло в мертвецкой и не издавало почти никакого зловония. Как будто это был не труп. Так истощена была тов. Инесса.

Тело ее было отправлено в Москву. Мы, приехавшие с нею в Нальчик, а также товарищи и граждане Нальчика пришли проводить нашего дорогого товарища и сказать ей последнее «прощай». Гроб на руках был донесен почти до самого вокзала. На вокзале я, тов. Ружейников, Рогов, Соболев и др. произнесли речи, отметив, чем тов. Инесса была всю свою жизнь. Так мы потеряли одного из лучших борцов за коммунизм».

Котов и старается нарисовать портрет такого несгибаемого борца. Перемены к худшему, которые стали заметны в Инессе, мемуарист объясняет исключительно переутомлением. И утверждает, что она под конец пребывания в Кисловодске уже почти поправилась, прибавила в весе и, наряду с физическим выздоровлением, стала постепенно обретать и душевное спокойствие. Но мы-то знаем, какие бури бушевали в тот момент в душе Инессы, как ей на самом деле было тяжело и одиноко… И из последнего письма к дочери видно, что отдыхом сама Инесса была не слишком довольна. Продолжать лечение на Кавказе она готова была ради сына. Тому на Кавказе определенно нравилось. Инесса задумывалась о том, чтобы остаться здесь на какое-то

время, собраться с мыслями вдали от московских знакомых, от Ильича, обдумать, как жить дальше, не зная, что «дальше» для нее уже не будет.

Котов опровергает собственное утверждение о том, что Инесса в Кисловодске успела прибавить в весе. Ведь он убеждает читателей, будто труп Инессы за восемь дней практически не разложился — настолько она исхудала. Правда, весь этот рассказ разительно напоминает жития святых — вплоть до обретения нетленных мощей. Инесса же на святую на самом деле походила очень мало. Она была слишком земной.

Ленин постоянно помнил об Инессе. 2 сентября он телеграфировал Орджоникидзе по поводу Арманд с сыном: «Прошу… побольше подробностей о ходе борьбы с бандитизмом и об устройстве Вами в Кисловодске тех советских работников, о коих я здесь Вам говорил лично». Зная об особом внимании Ленина к Инессе, Серго настоял на чуть ли не насильственной эвакуации ее с сыном из Кисловодска, хотя непосредственная опасность захвата города белыми уже миновала. А эта эвакуация оказалась для Инессы роковой.

П. С. Виноградская описала свою встречу с Арманд накануне ее отъезда из Кисловодска: «В последний вечер мне довелось услышать игру Инессы на рояле. Мы очень долго ее упрашивали. Она упорно не соглашалась. Наконец, она села за рояль и стала играть нам Шопена, Листа и других классиков. Полились дивные звуки, и все мы сидели зачарованные… Инесса, сначала несколько смущенная, в дальнейшем сама увлеклась игрой и играла нам до поздней ночи. Я тогда только увидела, каким она была музыкальным человеком и какой огромной техникой она обладала. Никто из нас, даже знавшие ее близко в эти годы, не знал о том, что она играет так прекрасно. Ни ей, ни другим за эти годы было не до музыки…» Последний раз сев за рояль, Инесса вспоминала, как когда-то играла Ильичу, и от этих светлых воспоминаний на душе стало легче.

О пребывании Арманд в Кисловодске писала и ее знакомая по дореволюционной борьбе Людмила Сталь, работавшая тогда в Кавказском бюро ЦК РКП(б): «Усиленная работа по организации и проведению международной женской конференции, соединенная с плохим питанием, окончательно надорвали силы тов. Инессы. Но только после усиленных просьб ее друзей она решается покинуть Москву. Она уезжает на Северный Кавказ. Но главным образом не ради себя, а для лечения своего больного сына Андрюши. Там я видела ее в последний раз. Инесса приехала такая усталая и разбитая, такая исхудавшая… Ее утомляли люди, утомляли разговоры. Она старалась уединяться и по целым

вечерам оставалась в своей темной комнате, так как там не было даже лампы. Постепенно хорошее питание в санатории, горный воздух и живительное солнце юга делают свое дело, и перед своим отъездом я вижу тов. Инессу на фоне голубого неба, в горах, снова воскресшей к жизни и борьбе.

И вот в этот момент ужасная смерть уносит ее из нашей среды. Она умерла от случайной болезни. Но эта случайная болезнь поразила ее потому, что условия гражданской войны не дают усталым борцам возможности мирного отдыха. Контрреволюция, свившая себе тогда очаг в белогвардейской Грузии (в действительности эта страна, где у власти были меньшевики, к русскому белому движению была настроена скорее враждебно. — *Б. С.),* протягивала свои щупальца по всему Кавказу, устраивая то здесь, то там восстания. Залпы орудий доносились до мирного Кисловодска, где жила в то время Инесса. Даже больные из санаторий призывались для отбывания ночных дежурств. Все были мобилизованы. Опасались возможности налета белогвардейцев для захвата и расправы с ответственными работниками.

Тогда тов. Инессе и другим товарищам было предложено немедленно покинуть Кисловодск. Инесса упорно отказывалась, заявляя: «Если существует опасность, то пусть увезут сначала всех женщин и детей, а я уеду последняя». Но член Терского областного комитета РКП ответил, что в случае отказа ехать добровольно с товарищами в специально назначенном вагоне, будет применена военная сила. И против своей воли тов. Инесса оставила Кисловодск.

Для того, чтобы попасть в Нальчик, ей пришлось проехать через Владикавказ и ту часть Владикавказской железной дороги, где было наибольшее скопление беженцев из Грузии. Это были революционные крестьяне, спасавшиеся в пределы Советской России от прелестей меньшевистского «демократического» террора (на самом деле здесь речь идет об участниках неудачного восстания, организованного грузинскими коммунистами при советской поддержке. — *Б. С.).* Среди них свирепствовала холера. И тов. Инессе не пришлось уже закончить своего лечения в живописном Нальчике. Она заболела еще в вагоне, рано на рассвете. Но по природной своей деликатности она не решилась разбудить товарищей, чтобы получить своевременную помощь; Через несколько дней Инессы не стало. Ослабевшее сердце не выдержало борьбы. Инесса сознавала, что она умирает. Последние слова ее были: «Тов. Ружейников, я чувствую, что я умираю. Оставьте меня: у вас есть семья, вы можете заразиться». Так с мыслью и с заботой о других ушла из жизни т. Инесса…»

Подозреваю, что именно Людмила Николаевна агитировала Инессу Федоровну остаться на Кавказе поработать. Мемуары ее — миф чистой воды. Все как по мановению волшебной палочки: отличная погода, отличный горный воздух, живительное южное солнце, излечивающие Арманд от недомогания, вызванного переутомлением. Перед нами опять — женщина-борец, готовая к новым битвам за торжество коммунизма. На самом же деле, как мы знаем, Инесса до самых последних дней мучилась неразрешимыми противоречиями между любовью и революцией, личной и общественной жизнью. Да и погода в Кисловодске стояла дождливая, и местное солнце Инессе почему-то не нравилось. Она предпочитала крымское — но в Крыму пока еще был Врангель.

Весьма примечательно свидетельство Сталь о том, что для эвакуации Арманд люди Орджоникидзе грозили применить «военную силу». Вероятно, это была только угроза, может быть, больше поэтическая, чем практически осуществимая. Трудно было бы вообразить картину: заведующую отделом ЦК, пользующуюся покровительством самого Ленина, красноармейцы заталкивают в вагон прикладами. Но угроза для Серго характерная. Горячий кавказский человек готов был выполнить ленинский приказ позаботиться о безопасности двух женщин любыми, в том числе и весьма неделикатными средствами.

Куда более человечный и тем самым более близкий к действительности портрет Инессы рисует Виноградская: «Как человек, она придерживалась того девиза, что ничто человеческое не чуждо и самому крайнему революционеру. Наряду с крупной революционной работой Инесса умела совместить и большую яркую личную жизнь (может быть, мемуаристка знала об отношениях Арманд и Ленина? — *Б. С.)*. Но она построила ее таким образом, что личное было у нее всегда подчинено общественному, временное и случайное — главному, существенному. Только лица, мало знавшие Инессу, могли считать ее аскетом или очень сухим человеком…

Инесса обожала своих детей настолько, что теряла иногда по отношению к ним чувство беспристрастности… С улыбкой и сейчас вспоминаю, как во время моих споров с ее младшим сыном, Андреем, возникавших при игре в крокет (на Кавказе во время отдыха) «из-за злостного нарушения крокетных правил», — Инесса всегда принимала сторону сына, хотя бы все окружающие свидетели удостоверяли его неправоту».

Рассказала Виноградская и о последних днях Инессы (они расстались за два дня до ее болезни): «На Кавказ она прибыла настолько утомленной, истощенной и нервной, что ей тяжело

было видеть людей. Она избегала встреч, ее раздражал говор, смех; она все больше старалась уходить далеко в горы. Как сейчас, помню ее высокую, стройную фигуру в черной пелерине, белой шляпе, с книжкой в руках, медленно поднимающуюся в горы, все выше и выше.

К сожалению, обстановка на Кавказе была далеко не такова, чтобы можно было там уединиться и отдохнуть. Я уж не говорю о том, что санатории были тогда еще совершенно не устроены. Инесса, например, имея путевку на руках, не могла добиться комнаты в санатории, так как не было мест. Когда же ей товарищи отыскали комнату на стороне, то оказалось, что там не на чем было спать. Местная власть, которую Семья Лениных, обеспокоенная состоянием Инессы, просила о ней позаботиться, запросила Инессу, в чем она нуждается. Но Инесса, всегда скромная и не требовательная, не осмелилась просить большего, чем… подушку.

Вокруг Кисловодска в горах были банды белых. Нередко по ночам райком устраивал тревогу и сиреной извещал больных коммунистов о необходимости явиться в райком. Там их снабжали винтовками, разбивали на отряды и посылали вышибать врага. Естественно, такая атмосфера не содействовала лечению и отдыху».

По прочтении этих воспоминаний у меня осталось чувство, что Виноградская знала о связи Инессы с Ильичом гораздо больше, чем могла сказать. И это свое сокровенное знание вынуждена была прикрывать вымыслом. Мы уже убедились, что не «семья Лениных», а только сам Владимир Ильич хлопотал об устройстве Инессы на отдых, телеграфировал Орджоникидзе, дал ей мандат за собственной подписью. Уже одного этого мандата хватило бы, чтобы местное начальство кровь из носу, но устроило бы Инессу в самую лучшую комнату в любом санатории. Но в сборнике воспоминаний об Арманд, вышедшем под редакцией Крупской, не очень удобно было писать, что лично Ленин заботился об Инессе. Это могло породить ненужные слухи и подозрения. Поэтому Виноградская предпочла более туманную ссылку на «семью Лениных», из которой можно было понять, что обустройством Инессы занималась Надежда Константиновна. И придумала совсем уж фантастическую историю о подушке, которую Инесса, выходит, просила ей прислать (из Москвы, что ли?). Создавался миф исключительно скромной и самоотверженной большевички, очень хорошо вписывавшийся в образ новообретенной мученицы коммунистической идеи.

Доктор Й. С. Ружейников, безуспешно пытавшийся спасти Инессу от холеры, тоже оставил воспоминания: «Последние дни

ее жизни и болезни (тов. Инесса умерла у меня на руках) я все время был с ней. И у меня до сих пор свежи воспоминания об этих печальных днях, почему я охотно выполняю поручение Женотдела ЦК РКП(б) и хочу сказать несколько очень коротких, правдивых слов об этом редкой обаятельности товарище, так несуразно, нелепо, несвоевременно погибшем… Тов. Инесса приехала в Кисловодск вместе с сыном Андрюшей… Тов. Инесса в это время физически была сильно истощена и нервно крайне расстроена. Общая обстановка того времени в Кисловодске для отдыха была чрезвычайно неблагоприятна. К тому же высадившийся десант белого партизана полковника Назарова создал в этом районе весьма тяжелое положение. Все было мобилизовано на случай необходимости отражения бандитского нападения отрядов Назарова. Коммунисты и надежные беспартийные, приехавшие на отдых и лечение, были поставлены под ружье и несли ночное сторожевое охранение. Вскоре по распоряжению из центра группу ответственных работников направили для лечения и отдыха во Владикавказ. Тов. Инесса очень не хотела уезжать из Кисловодска и, только уступая настойчивости товарищей, приехавших за нами, согласилась поехать во Владикавказ. Наш вагон был прицеплен к воинскому поезду, шедшему во Владикавказ.

Дорогой один раз был открыт ружейный, пулеметный и даже орудийный огонь по замеченным вдали бандитским отрядам. Тов. Инесса проявила редкое спокойствие и если волновалась, то только за других — за Андрюшу… и за беременных товарищей-женщин — тов. Ружейникову и Рогову. Во Владикавказе не удалось нам устроиться за неимением подходящих условий для отдыха и лечения. Мы жили в вагоне на вокзале. Как в городе, так и на вокзале все, в том числе и тов. Инесса, покупали и ели довольно много всякие фрукты. Станция содержалась тогда чрезвычайно грязно, но случаев холерных заболеваний не наблюдалось в это время. Было подозрительных 3–4 случая в июне-июле.

На другой день по приезде во Владикавказ т. Орджоникидзе и др. предложили нам автомобиль, чтобы проехаться посмотреть окрестности и Военно-Грузинскую дорогу. Для всех товарищей не хватило мест в автомобиле, и тов. Инесса, видя это, подыскивала различные предлоги, чтобы не поехать, желая доставить это удовольствие другим товарищам, и только под нажимом других товарищей согласилась — поехала. Всю нашу дорогу тов. Инесса с редкой, свойственной ей деликатностью, мягкостью и чуткостью заботилась об удобствах других, забывая о себе.

Через два дня выяснилось, что нам лучше поехать для отдыха в Нальчик. Нас передали на попечение товарища Калмыкова —

тогда председателя исполкома Кабардинской области. По дороге в Нальчик мы застряли на станции Беслан на $1^1/_2$ суток. Станция Беслан в то время была страшно загрязнена, с полными уборными, буфета не было. Мы прожили эти $1^1/_2$ дня в отвратительных условиях, питались чем приходилось, ели порядочно сырых фруктов, арбузов, дынь и пр. Вот здесь, вероятно, и заразилась холерой тов. Инесса.

Тов. Инесса была очень обеспокоена тем, что трудно было достать молока и яиц для ослабевшего за дорогу тов. Котова (у него был во 2-й стадии туберкулез). Она долго ходила по перрону, искала на станции у проезжающих, ходила в поселок и, если ей удавалось добыть что-либо, приходила сияющая и тут же принималась что-нибудь готовить, чтобы подкормить, как она выражалась, тов. Котова. Детски была довольна, хотя и скрывала это, когда импровизированное «блюдо» удавалось. Все это она делала совершенно незаметно.

По приезде в г. Нальчик тов. Инесса первый день себя чувствовала нормально. Ходили по городу и ездили осматривать дачу, где намерены были поселиться для отдыха, а вечером были на партийном собрании местной организации. Вечером, часов в 9–10, возвращались в сбой вагон на вокзал пешком, делясь впечатлениями о постановке партийной работы в г. Нальчике и говоря о положении дел на врангелевском фронте (каковы большевики! даже на отдыхе не прелестями кавказской природы восхищаются, а обмениваются мнениями, хорошо ли партийная работа в курортных местах поставлена. — *Б. С.)*. Тут же тов. Инесса затронула вопрос о вышедшей тогда брошюре Владимира Ильича «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» (как я уже отмечал, там как раз был описан случай с ограблением у Краснохолмского моста. — *Б. С.),* говорила долго и восторженно.

В ту же ночь она заболела. По своей деликатности ночью никому об этом не сказала, не желая беспокоить спящих товарищей. Утром у тов. Инессы появились судороги, понос и рвота. Во время судорог товарищи Ружейникова и Рогова стали растирать ей ноги, но тов. Инесса запротестовала и заявила: «Что вы, что вы, как можно. Ведь вы обе беременны — это напряжение может повредить вашей беременности». Все уговоры были бесполезны. Товарищ Инесса и в это время больше думала и заботилась о других, чем о себе.

Товарищи Ружейникова и Рогова остались за ней ухаживать, а я поехал в местную больницу, чтобы выяснить вопрос о возможности помещения в нее тов. Инессы. Часов в 10–11 утра я повез ее в местную больницу. Тов. Инесса сильно ослабела, едва держалась на ногах. Осмотр в больнице установил все симптомы

холеры. Тов. Инессу положили в отдельную палату, назначили особый ухаживающий медперсонал, специально выделили врача, назначили специальное лечение от холеры. Я и Андрюша остались с нею в палате.

Болезнь быстро развивалась. К вечеру состояние тов. Инессы сильно ухудшилось. Начали мучить судороги. Врач, сиделка, я и Андрюша попеременно растирали и согревали руки и ноги тов. Инессы. К ночи, улучив минуту, когда Андрюша вышел, тов. Инесса начала меня просить, чтобы я отправил, уговорил Андрюшу уехать в вагон, так как Инесса боялась за возможность заражения Андрюши, — что я и сделал. Ночью пульс едва прощупывался. Боялись коллапса сердца. Было решено прибегнуть к внутривенному вливанию физиологического раствора поваренной соли. Через 20–30 минут состояние тов. Инессы резко улучшилось: лицо порозовело, рвота и судороги приостановились, голос очистился, тов. Инесса успокоилась, настроение у нее приподнялось, и снова вернулась забота о других. «Наделала же я вам всем беспокойства. Столько всяких хлопот вместо отдыха. И захворать-то мы, партийцы, не умеем вовремя и уместно. Ну, ничего, немножко поправлюсь — отдышусь — вернусь в Москву. А как, вероятно, вы все устали, возясь со мной? Как не хочется хворать в это горячее время, ведь столько работы впереди!» Начала уговаривать меня уйти отдохнуть, потом уснула. Наутро, когда пришел Андрюша, тов. Инесса с ним разговаривала через окно, не желая, чтобы он входил в палату. Попросила покушать… В полдень ей снова стало хуже, снова все симптомы резко усилились. Было решено повторить вливание физиологического раствора Тов. Инесса снова успокоилась. Попросила позвать Андрюшу, поговорила немного с ним, попросила его не волноваться, потом настояла, чтобы он шел спать спокойно, так как она чувствует, себя снова лучше. И стала настаивать, чтобы и я ушел, отдохнул, уснул. Я, для ее успокоения, ушел в соседнюю комнату. Тов. Инесса просила не посылать тревожных телеграмм в Москву.

К вечеру состояние Инессы снова резко ухудшилось. Предприняты были и на этот раз все меры, чтобы поднять сердечную деятельность, но безрезультатно. В полночь тов. Инесса впала в бессознательное состояние. Не отходя от постели больной, мы провели всю ночь, пытаясь всеми известными нам медицинскими средствами помочь тов. Инессе побороть болезнь. Но все было безрезультатно.

Сильно истощенный организм, усталое слабое сердце, несмотря на все предпринятые меры, не смогли справиться с болезнью. Наутро не стало нашего дорогого тов. Инессы. Через

несколько дней был доставлен из Владикавказа оцинкованный гроб. Вместе с местными организациями мы устроили тов. Инессе на вокзале революционные проводы и направили дорогие останки в Москву».

Все мемуаристы рисуют очень похожий образ скромной обаятельной женщины, которая одновременно — непоколебимый боец партии. И все подтверждают, что покинула Кисловодск и отправилась в роковую поездку во Владикавказ и Нальчик Инесса не по своей воле, а подчиняясь жесткой партийной дисциплине. Она стала жертвой административного рвения, доведенного до абсурда. Воистину, заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. Местные руководители, получив распоряжения от Ленина и Орджоникидзе, из кожи вон лезли, чтобы обеспечить Арманд с сыном комфорт и безопасность. И решили эвакуировать их из рискующего оказаться на линии фронта Кисловодска. Но пока решение дошло до исполнения, белых отогнали и непосредственная опасность миновала. Но отменять решение никто не стал. Более того, у того же Назарова (члена Терского областного комитета; не путать с его однофамильцем — белым партизаном! — *Б. С.*) не хватило ума сообразить, что железнодорожное путешествие по Северному Кавказу, охваченному гражданской войной, не менее, если не более опасно, чем пребывание в санатории рядом с укрывшимися в горах белогвардейцами и «зелеными». Из-за разрухи езда была «революционная»: день едем — два стоим. И самой страшной опасностью было даже не нападение на поезд уголовных банд или антисоветских отрядов. Нет, больше всего надо было бояться эпидемий — тифа, испанки, холеры. Заразиться какой-либо из этих болезней, принимая во внимание антисанитарные условия и большую скученность людей в поездах и на станциях, было делом несложным, что и подтвердил случай с Арманд.

Ленин был по-настоящему потрясен, когда получил страшную телеграмму: «Вне всякой очереди. Москва. ЦЕКа РКП, Совнарком, Ленину. Заболевшую холериной товарища Инессу Арманд спасти не удалось точка кончилась 24 сентября точка тело препроводим Москву Назаров». Ведь незадолго до этого сообщали, что состояние больной улучшилось и появилась надежда на выздоровление. Еще несколько дней назад Серго телеграфировал: «У Инессы все в порядке». И вдруг такое страшное сообщение! Ильич в смерти возлюбленной винил прежде всего себя. Сам настоял на поездке Инессы на Северный Кавказ, сам настоял на эвакуации в злополучный Нальчик. И, наверное, только в этот трагический день 24 сентября 1920 года Ленин до конца понял, кем была для него Инесса.

Мы уже познакомились с описанием Ленина на похоронах Арманд, данным Александрой Коллонтай. А вот что запомнила секретарь Коминтерна итальянская социалистка Анжелика Балабанова (позднее она стала близкой подругой Бенито Муссолини): «Я искоса поглядывала на Ленина. Он казался впавшим в отчаяние, его кепка была надвинута на глаза. Небольшого роста, он, казалось, сморщился и стал еще меньше. Он выглядел жалким и павшим духом. Я никогда ранее не видела его таким. Это было больше, чем потеря «хорошего большевика» или хорошего друга. Было впечатление, что он потерял что-то очень дорогое и очень близкое ему и не делал попыток маскировать это… Его глаза, казалось, исчезли в болезненно сдерживаемых слезах. Всякий раз, как движение толпы напирало на нашу группу, он не оказывал никакого сопротивления толчкам, как будто был благодарен за то, что мог вплотную приблизиться к гробу».

И еще одна свидетельница, писательница Елизавета Драбкина, бывший секретарь председателя ВЦИК и секретаря ЦК Якова Свердлова, второго человека у большевиков после Ленина. В книге «Зимний перевал» она описала, как привезли в Москву гроб с телом Арманд: «Вечером десятого октября патрульная группа, в которую входила и я, вышла на дежурство. Ночь была по-осеннему сырой и темной. Мы сильно продрогли и с нетерпением ждали утра. Уже почти рассвело, когда, дойдя до Почтамта, мы увидели двигавшуюся нам навстречу похоронную процессию. Черные худые лошади, запряженные цугом, с трудом тащили черный катафалк, на котором стоял очень большой и поэтому особенно длинный свинцовый ящик, отсвечивающий тусклым блеском.

Стоя у обочины, мы пропустили мимо себя этих еле переставляющих ноги костлявых лошадей, этот катафалк, покрытый облезшей черной краской, и увидели шедшего за ним Владимира Ильича, а рядом с ним Надежду Константиновну, которая поддерживала его под руку. Было что-то невыразимо скорбное в его опущенных плечах и низко склоненной голове. Мы поняли, что в этом страшном свинцовом ящике находится гроб с телом Инессы.

Ее хоронили на следующий день на Красной площади. Среди венков, возложенных на ее могилу, был венок из живых белых гиацинтов с надписью на траурной ленте: «Тов. Инессе Арманд от В. И. Ленина».

Англичанка Клэр Шеридан, скульптор, лепила ленинский бюст как раз в те октябрьские дни. Вот что она запомнила: «В

течение всего этого времени (сеанса, продолжавшегося с одиннадцати утра до четырех вечера. — *Б. С.)* Ленин не ел, не пил и не выкурил ни одной папиросы… Мои попытки завязать с Лениным разговор не встретили одобрения, и, сознавая, что своим присутствием я и так докучаю ему, я не посмела настаивать. Сидя на подоконнике и отдыхая, я не переставала твердить себе, что это происходит на самом деле, что я действительно нахожусь в кабинете Ленина и выполняю свою миссию… Я без конца повторяла про себя: «Ленин! Ленин!» — как будто никак не могла поверить, что окружающее меня — не сон.

Вот он сидит здесь, передо мной, спокойный, молчаливый, небольшого роста человек с огромным лбом. Ленин, гений величайшей революции в истории человечества, — если бы он только захотел поговорить со мной. Но… он ненавидел буржуазию, а я была ее представительницей. Он ненавидел Уинстона Черчилля, а я была его племянницей… Он разрешил мне работать у себя в кабинете, и я должна была выполнять то, зачем пришла, а не отнимать у него попусту время; ему не о чем было говорить со мной. Когда я, собравшись с духом, спросила, какие новости из Англии, он протянул мне несколько номеров «Дейли геральд».

Ленин, наверное, в самом деле действовал на женщин (впрочем, на мужчин тоже) как-то магнетически. Племянница Черчилля смотрит на вождя большевистской революции почти как на живого бога, гения всех времен и народов. А ведь сегодня, в конце столетия, пожалуй, Черчилль покажется более великим, чем Ленин. Дядя Клэр Шеридан смог повести за собой британский народ в самой кровопролитной войне в истории человечества, воодушевил его на борьбу в самый тяжелый момент и стал одним из архитекторов англо-американского союза — основы тех геополитических взаимоотношений стран Запада, что в основе сохранилась до наших дней. К тому же британский премьер и Нобелевский лауреат не запятнал себя бессудными казнями и расстрелами заложников. Детище же Ленина рухнуло менее чем через три четверти века после Октябрьской революции, стоив народам бывшей Российской империи миллионных жертв, но так и не породив на свет ничего жизнеспособного. Думаю, у читателей нет сомнений, кто же из двух политиков более велик на весах времени.

Пару раз Ильич все же снизошел до разговора с Клэр: «Он посмотрел на свой скульптурный портрет… и снисходительно улыбнулся мне. Так улыбаются ребенку, строящему карточный домик. Затем Ленин спросил: «Как относится муж к вашей поездке в Россию?..» «Мой муж убит на войне», — ответила я. «На

какой войне?» «Во Франции». «Ах, да, конечно, — он понимающе кивнул. — Я все забываю, что у вас была только одна война. У нас ведь, кроме империалистической, была и гражданская война, и еще мы воевали, защищая страну от интервентов».

Ленин заговорил о бесплодном духе самопожертвования, которым были одержимы англичане, вступая в войну 1914 года, и посоветовал прочесть «Огонь» или «Ясность» Барбюса».

Владимир Ильич даже не пытался скрыть от Клэр, что, в сущности, равнодушен к смерти ее мужа. Никаких слов сочувствия. Только замечание о бесплодности самопожертвования в «империалистической войне», которое можно счесть оскорбительным по отношению к памяти погибшего. Но восторженная поклонница ничего этого не замечает.

При следующей встрече Ленин ознакомился с фотографиями работ Клэр и выступил в роли их сурового критика: «Хотя он и говорил, что ничего не смыслит в искусстве, однако весьма определенно охарактеризовал «буржуазное искусство», которое, как он сказал, всегда стремится к красивости. Он относится отрицательно к красоте как к абстрактному идеалу. Он заявил, что считает неоправданной красоту, которой я наделила свою «Победу»: «Милитаризм и война безобразны и могут вызвать только ненависть, и даже самопожертвование и героизм не могут придать им красоты. Порок буржуазного искусства в том, что оно всегда приукрашивает». Затем Ленин взглянул на фотографию скульптуры «Головка Дика» (сына Клэр. — *Б. С.),* и выражение нежности промелькнуло на его лице. Я спросила: «Это тоже приукрашено?» Он покачал головой и улыбнулся».

Ильич, на его счастье, не дожил до расцвета искусства социалистического реализма. Тогда бы, наверное, не рискнул обвинить в приукрашивании действительности «буржуазное искусство». Вот и «абстрактную красоту» отрицает, как и абстрактный гуманизм. Не может, не должен быть красив памятник победителям в «империалистической», несправедливой, на его взгляд, войне. Как и в беседах с Елизаветой К., Ленин четко связывал эстетику с политикой. Только головка ребенка вызвала у него нежную улыбку. Детей Ильич любил, хотя немало их сделал сиротами. И очень жалел, что своих детей у него нет. А может быть, вспомнил в эту минуту об Инессе, ее детях, подумал, что у них-то с ней дети могли быть… Наверное, поэтому в тот момент Ленин выглядел каким-то расстроенным и больным. Клэр Шеридан пишет: «Лицо его выражало скорее глубокую думу, чем властность. Мне он представлялся живым воплощением мыслителя… Он выглядел очень больным… Пуля, пущенная рукой женщины, покушавшейся на жизнь Ленина, все еще

оставалась в его теле. Один раз я увидела его с рукой на перевязи. Он сказал, что это «ничего», хотя цвет его лица имел желтоватый оттенок — как слоновая кость. Он совершенно не гулял и довольствовался лишь тем небольшим количеством свежего воздуха, которое проникало в его кабинет через маленький вентилятор в верхней части окна».

Нет, не пули Каплан вызвали недомогание Ленина, а смерть женщины, им любимой. И рука на перевязи — не первый ли это сигнал приближения роковой болезни, первый звонок, прозвеневший сразу после кончины Арманд?

Не близкого друга, не соратницу по борьбе потерял Ленин. Он потерял любимую. И, наверное, в чем-то права была Коллонтай: смерть Инессу ускорила кончину Ильича. Одолей тогда Арманд бациллу азиатской холеры — и другая, загадочная болезнь не настигла бы Ленина так рано. После смерти возлюбленной у него осталось уже мало жизненных сил.

Гибель любимой наложилась на крах похода Красной Армии на Варшаву, закончившегося полным разгромом войск Тухачевского. А ведь буквально в те дни, когда Ильич отправлял Инессы на Кавказ, он торопил советские войска, идущие на польскую столицу, рассчитывал побыстрее покончить с Пилсудским. Так, 12 августа телеграфировал заместителю главы военного ведомства Троцкого Склянскому: «Не надо ли указать Смилге (члену Реввоенсовета Западного фронта, которым командовал Тухачевский. — *Б. С.),* что надо поголовно (после сбора хлеба) брать в войско всех взрослых мужчин? Надо. Раз Буденный на юг, надо усилить север». Ленин смутно чувствовал опасность того, что Западный и Юго-Западный фронт наступают в расходящихся направлениях, и готов был завалить поляков трупами взятых прямо от сохи крестьян. Лишь бы Тухачевский все-таки взял Варшаву и открыл дорогу на Берлин! Говорил же Владимир Ильич с гордостью еще в январе 1920 года, выступая перед коммунистической фракцией ВЦСПС: «Мы Деникина и Колчака победили тем, что дисциплина была выше всех капиталистических стран мира… Мы уложили десятки тысяч лучших коммунистов за десять тысяч белогвардейских офицеров и этим спасли страну». Под дисциплиной Ленин понимал прежде всего готовность коммунистов и беспартийных безропотно идти на смерть для торжества революции. Если десятками тысяч лучших коммунистов он пожертвовал без всяких колебаний, то десятки тысяч «несознательных» крестьян положить на алтарь победы — дело святое.

И только месяц спустя Ильич, быть может, понял, что именно дисциплина погубила Инессу. Арманд привыкла во всем Ленина

слушаться. Сперва подчинилась его рекомендациям, поехала в Кисловодск. Потом из Кисловодска в Нальчик очень не хотела уезжать. Но подчинилась партийной дисциплине. И вот результат. Здесь погиб человек дорогой, близкий, не абстрактные Иваны да Петры…

Вот что сообщает о похоронах Инессы Арманд сухой официальный отчет:

> «В ночь на 11-е октября прибыл в Москву с Юга гроб с телом скончавшейся тов. Инессы. Для встречи гроба на Казанском вокзале собрались делегации от Центрального и Московского отделов работниц и райкомов Москвы, были также родные и друзья покойной, среди них тов. Ленин и Н. К. Крупская. С вокзала траурная процессия направилась к Дому Союзов и там в Малом зале, убранном цветами и траурной материей, установлен был гроб, который утопал в цветах и многочисленных венках с надписями, среди которых особенно выделялись надписи: «Старому борцу за пролетарскую революцию и незабвенному другу от ЦК РКП» («старому борцу» было всего-то 46 лет! — *Б. С.*); «Стойкому борцу за освобождение рабочего, т. Инессе Арманд от МК РКП»; «Верному другу работниц и борцу за их освобождение» от Отдела ЦК РКП по работе среди женщин; венки от районов Москвы и т. д.
>
> Весь день и всю ночь 11 октября у гроба находился почетный караул из представительниц Центрального и Московского отделов работниц и от районов. В 12 часов дня 12 октября к Дому Союзов постепенно прибывают представители всех районов города Москвы, Московского Совета, ЦК РКП и т. д. (именно представители — не люди, которые знали Инессу и пришли отдать ей последний долг, а присланные по партийной разнарядке, для создания требуемой массовости мероприятия! — *Б. С.)* Оркестр красных курсантов играет траурные мелодии, и почетный караул курсантов выносит гроб, который устанавливается на катафалк, и похоронная процессия медленно направляется по Театральной площади и площади Революции, вдоль Кремлевской стены, на Красную площадь. У свежей могилы тов. Инессы собрались представители рабочих и работниц Москвы отдать последний привет покойной».

Дальше были обычные в таких случаях речи, где

превозносились заслуги Инессы и выражалась скорбь по поводу нелепой, безвременной гибели. Утверждали, что ее знают и помнят не только в России, но и в Туркестане, и в Индии (где Инесса никогда не бывала). И вот финал: «Оркестр играет похоронный марш, группа работниц и рабочих у гроба тихо поет: «Вы жертвою пали». Звучит последний «Интернационал», но товарищи долго не расходятся, и не хочется верить, что навсегда ушла из наших рядов всем нам оставшаяся дорогой тов. Инесса. Мир праху твоему, дорогой товарищ! Память о тебе будет жить в наших сердцах, твой образ стойкого борца будет нам служить заветом во всей нашей долгой и упорной борьбе, мы доведем начатое тобой дело до конца». Все. Кончено. В жизни Инессы Арманд поставлена последняя точка. А в посмертное бытие она, как истинная атеистка, не верила.

Останься Инесса в живых, и, кто знает, не оставил бы когда-нибудь Ленин Крупскую, не сделал бы Инессу официальной первой леди Советской России? Да и сам бы, возможно, прожил подольше. Тогда Арманд, а не Крупская стала бы вдовой основателя Советского государства, ее именем называли бы школы, дворцы пионеров, родильные дома, ей бы, по всей видимости, предоставили почетный, но малозначительный пост заместителя наркома просвещения, ее, а не Крупскую поставили бы во главе Всесоюзной пионерской организации. Но все то, что мы знаем об Инессе Арманд, заставляет меня предположить: она не смирилась бы с диктатурой Сталина, с уничтожением товарищей по партии, стала бы бороться до конца и сложила бы в борьбе свою голову. Дети разделили бы участь матери или, в самом лучшем случае, отделались бы ГУЛАГом. Но сослагательного наклонения в истории, как известно, не бывает.

Неизвестный поэт, укрывшийся под псевдонимом «Бард», в те дни опубликовал в «Правде» стихотворение «Памяти товарища Инессы»:

Ты встретила смерть на посту боевом.
Спи с миром, товарищ наш милый,
А мы — мы ряды лишь теснее сомкнем
Вокруг незабвенной могилы.
Пусть красное знамя покроет твой прах,
Бесстрашный боец. Утешенья
Мы будем искать не в бесплодных слезах,
А в новом призыве — «к отмщенью».
Придет наше время — мы сменим ружье
На молот, но в сердце народа
Навеки останется имя твое

Эмблемой борьбы за свободу.
Отдавшая душу призывам мечты
О братском народов слиянье,
По воле судьбы не увидела ты
Грядущего солнца сиянье.
В разгаре борьбы торжества еще нет,
Врага не сломили мы силу,
Сквозь сумрак тумана лишь бледный рассвет
Твою освещает могилу.
Но память твоя закалит нам сердца,
В бою не напрасно ты пала!
Мы видим, мы чувствуем близость конца
Последних твердынь капитала.
Да сгинут враги, да скорее падет
Грядущего счастья завеса!
Дружнее, товарищи, в ногу — вперед!
Спи с миром, товарищ Инесса…

Эти стихи замечательны не своими поэтическими достоинствами (поэзия в них, по правде сказать, и не ночевала). Здесь прежде всего привлекает внимание полнейшее несоответствие реальным обстоятельствам смерти Арманд. Инесса не погибла на боевом посту, она умерла на отдыхе, на курорте. Не вражеская пуля сразила любовницу Ленина, а бацилла азиатской холеры, которую Инесса, судя по всему, подцепила от кого-то из бежавших во Владикавказ грузинских коммунистических повстанцев, можно сказать, «братьев по классу». Не им же призывал мстить неизвестный Бард? Впрочем, мстить абстрактным «эксплуататорам», «классовым врагам», «контрреволюционерам» и «белогвардейцам» в Советской России, с подачи все того же Ленина, было не привыкать. Не знаю, может быть, Ильич считал местью за Инессу бессудную казнь тысяч солдат и офицеров врангелевской армии в Крыму, наивно поверивших обещанной командующим Южным фронтом Михаилом Фрунзе амнистии? Или расстрел в Петрограде участников мнимого «таганцевского заговора» (среди погибших — известный поэт Николай Гумилев)? Или гибель еще тысяч и тысяч жертв «красного террора»? Вот только «конца последних твердынь капитала» так и не довелось увидеть не только современникам Инессы, но и их далеким потомкам.

Для увековечения памяти Инессы Арманд Центральный совет работниц при ЦК РКП(б) и Отдел работниц при Московском комитете партии постановили издать сборник воспоминаний о

ней и ее собственные статьи, назвать именем Инессы Арманд курсы по подготовке инструкторов женотделов и несколько яслей. Сборник воспоминаний под редакцией Крупской вышел в 1926 году. Сборника работ самой Инессы пришлось ждать аж до 1975 года. Были ли названы именем Арманд курсы и ясли, точно не знаю. Наверное, были. Но вряд ли новые названия просуществовали долго.

После смерти Ленина постепенно складывался мини-культ Главной женщины Советской страны — вдовы вождя. В ее честь еще при жизни называли библиотеки и школы, детские сады и родильные дома. Последнее, по сути, было форменным издевательством по отношению к бездетной Надежде Константиновне. Но об этом вряд ли кто из чиновников задумывался. Наверное, ясли имени Инессы Федоровны Арманд в конце концов превратились в ясли имени Надежды Константиновны Крупской. Ленину же до такого увековечения памяти Инессы дела не было. В чем-то значительном жизнь потеряла для него смысл. Вот только о могиле и детях Инессы Ленин успел позаботиться. 24 апреля 1921 года написал записку главе Моссовета Каменеву:

> «Дети Инессы Арманд обращаются ко мне с просьбой, которую я усердно поддерживаю:
>
> 1) Не можете ли вы распорядиться о посадке Цветов на могиле Инессы Арманд?
>
> 2) То же — о небольшой плитке или камне?
>
> Если можете, черкните мне, пожалуйста, через кого (через какие учреждения или заведения) это Вы сделали, чтобы дети могли туда дополнительно обратиться, проверить, дать надписи и т. п.
>
> Если не можете, черкните тоже, пожалуйста: может быть, можно приватно заказать? или, может быть, мне следует написать куда-либо, и не знаете ли, куда?»

Читать эту записку немного забавно. Руководитель великой державы, властитель одной шестой части суши снисходит до таких мелочей, как цветы и надгробие, да еще консультируется в связи с этим у столичного градоначальника. Просто так заказать памятник и цветник Ленин не мог, даже если бы очень хотел. Надо было найти учреждение, этим занимающееся, и оформить соответствующую бумагу. И творец системы тут не был исключением. Настоящий апофеоз бюрократии!

Не забывал Ильич и детей Инессы. Например, 11 июля 1921 года дал рекомендательное письмо к советскому послу в Персии Ф. А. Ротштейну: «Рекомендую Вам подателя Александра

Александровича Арманд и его сестру Варвару Александровну. Я этих молодых людей знаю и сугубо о них забочусь. Чрезвычайно был бы Вам обязан, если бы Вы на них обратили внимание и помогли им всячески». Ленинская тень хранила семейство Арманд. Никто из детей Инессы, равно как и ее муж Александр Евгеньевич, несмотря на фабрикантское прошлое, никогда не был репрессирован. Все они получили приличные должности и не бедствовали. В стране, пережившей несколько волн кровавых чисток, это было немалым достижением. Так Ильич сумел отблагодарить любимую женщину, хоть и посмертно.

Ленин и Крупская: дожитие

Когда болезнь свалила Ленина, уход за беспомощным мужем превратился для Надежды Константиновны в смысл жизни. В последние месяцы жизни Ильича в одном из писем она признавалась: «Живу только тем, что по утрам В. бывает мне рад, берет мою руку, да иногда говорим мы с ним без слов о разных вещах, которым все равно нет названия». Этим близким Крупской человеком была дочь Инессы Федоровны Арманд, тоже Инесса.

Первые признаки болезни появились летом 1921 года. Ильич стал сильно уставать, развилась бессонница, стали мучить головные боли и головокружение. В июле Ленин с тоской писал Горькому: «Я устал так, что ничегошеньки не могу». Лекарства ему не помогали. Сначала врачи думали, что дело только в переутомлении. Ежедневные многочасовые заседания, к которым надо было готовиться, писание сотен и тысяч записок и телеграмм, действительно, отнимали много сил. Тогда еще не было многочисленной армии референтов и спичрайтеров, облегчающей жизнь профессиональным политикам. Да и заседали тогда по всякому поводу и без всякого повода: центральная власть пыталась контролировать едва ли не все, что происходило в огромной стране. Например, 23 февраля 1921 года Ленин участвовал аж в 40 заседаниях — рекорд, достойный занесения в книгу Гиннеса! Думали, что колоссальная нагрузка привела к нервному истощению. Стоит только уменьшить число заседаний, меньше сидеть и писать, больше ходить, особенно на свежем воздухе, да еще как следует отдохнуть на природе месяц-другой — и все придет в норму. Выписанные из Германии медицинские светила профессора О. Ферстер и Г. Клемперер констатировали: «Никаких признаков органической болезни центральной нервной системы налицо не имеется».

Однако отдых вместе с Крупской в подмосковных Горках Ленину помог мало. В конце 1921 года боли и головокружения возобновились. Надежда Константиновна с тревогой замечала, что муж всю ночь не может уснуть. В канун нового 1922 года Политбюро в принудительном порядке отправило Ленина в отпуск на шесть недель, запретив приезжать из Горок в Москву. В стране сложилась ситуация, когда вождь катастрофическими темпами утрачивал способность к работе и, соответственно, к влиянию на политический курс. Подобное случилось в России еще раз уже в конце XX века, во второй половине 90-х, когда президент Ельцин, мучимый разнообразными недугами (или одним, но тщательно скрываемым), в Горках, Барвихе и других

загородных резиденциях, а также в Кремлевской больнице стал проводить больше времени, чем в Кремле.

Болезнь Ленина была громом среди ясного неба не только для населения, но и для высшего политического руководства страны. Лев Троцкий вспоминал, что нездоровье вождя воспринималось как угроза делу революции: «Ленин очень следил за здоровьем своих сотрудников и нередко вспоминал при этом слова какого-то эмигранта: старики вымрут, а молодые сдадут. «Многие ли у нас знают, что такое Европа, что такое мировое рабочее движение? Пока мы с нашей революцией одни, — повторял Ленин, — международный опыт нашей партийной верхушки (т. е. многолетнее пребывание в эмиграции. — *Б. С.)* ничем не заменим». Сам Ленин считался крепышом, и здоровье его казалось одним из несокрушимых устоев революции. Он был неизменно активен, бдителен, ровен, весел. Только изредка я подмечал тревожные симптомы. В период первого конгресса Коминтерна он поразил меня усталым видом, неровным голосом, улыбкой больного. Я не раз говорил ему, что он слишком расходует себя на второстепенные дела. Он соглашался, но иначе не мог. Иногда жаловался — всегда мимоходом, чуть застенчиво — на головные боли. Но две-три недели отдыха восстанавливали его. Казалось, что Ленину не будет износу».

Ленин понимал, что болен очень серьезно. Он с тревогой спрашивал врачей: «Ведь это, конечно, не грозит сумасшествием?»- А однажды после очередного обморока заметил: «Так когда-нибудь будет у меня кондрашка (народное название инсульта — кровоизлияния в мозг. — *Б. С.)*. Мне уже много лет назад один крестьянин (не в Шушенском ли? — *Б. С.)* сказал: «А ты, Ильич, помрешь от кондрашки», — и на мой вопрос, почему он так думает, он ответил: «Да шея у тебя уж больно короткая». На этот раз грозного «кондратия» не пришлось долго ждать.

В апреле 1922 года у Ленина удалили одну из двух пуль, оставшихся в его теле после выстрелов Фанни Каплан. Это был жест отчаяния. Таким путем наивно надеялись затормозить развитие загадочной болезни. Но тщетно.

Ленин успел еще 4 мая 1922 года провести на Политбюро решение об изъятии церковных ценностей для помощи голодающим. Верующие и церковные иерархи протестовали против этого постановления. Они не без основания сомневались, что средства, вырученные от продажи церковных реликвий, дойдут до голодающих, а не будут использованы для нужд, например, Красной Армии или мировой революции. Да и продажа

за бесценок сокровищ за границу не спасала положения. Но Ленину и его товарищам важно было подавить церковь, лишить ее возможности конкурировать с марксистской идеологией в умах и сердцах людей, а заодно и материально подкрепить власть большевиков. Ильич так и писал членам Политбюро: «Нам во что бы то ни стало необходимо провести изъятие церковных ценностей самым решительным и самым быстрым образом, чем мы сможем обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (надо вспомнить гигантские богатства некоторых монастырей и лавр). Без этого фонда никакая государственная работа вообще, никакое хозяйственное строительство в частности, и никакое отстаивание своей позиции в Генуе в особенности, совершенно не мыслимы. Взять в свои руки фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (а может быть, и несколько миллиардов) мы должны во что бы то ни стало. А сделать это с успехом можно только теперь. Все соображения указывают на то, что позже сделать нам этого не удастся, ибо никакой иной момент, кроме отчаянного голода, не даст нам такого настроения широких крестьянских масс…»

Вот, оказывается, как все просто. Грабить церкви надо вовсе не для того, чтобы спасти голодающих Поволжья. Есть гораздо более важная задача: обеспечить советскому правительству золотой запас, чтобы оно могло увереннее разговаривать с «империалистами» на Генуэзской конференции! И — попытаться поднять крестьян против церкви. Вожди большевиков надеялись, что голодные легче поверят пропагандистским утверждениям, что подлецы-церковники не хотят поделиться с погибающими от неурожая своими сокровищами. Хотя церковь не раз предлагала сама организовать помощь голодающим, но власти это было не нужно. Лучше было изъять все, до последнего, силой. Страху навести, да и больше достанется. И начали грабить. С икон сдирали драгоценные оклады, изымались священные сосуды, другая церковная утварь. Сопротивляющихся прихожан арестовывали (а всего произошло почти полторы тысячи столкновений верующих с милицией и чекистами).

Был ли постигший Ленина удар Божьей карой или нет, мы никогда не узнаем. Правда, если принять версию с Богом, возникает вопрос: почему инициированный Ильичом «красный террор» не вызвал немедленной кары небес? Может, Божьему терпению пришел конец, когда вождь большевиков столь основательно зацепил церковь?

А 17 мая Ленин успел послать наркому юстиции Д. И. Курскому дополнения к новому уголовному кодексу, где предлагал «расширить применение расстрела» и требовал

«открыто выставить принципиальное и политически правдивое (а не только юридически-узкое) положение, мотивирующее суть и оправдание террора». Ильич особо подчеркивал: «Суд должен не устранить террор; обещать это было бы самообманом или обманом, а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас. Формулировать надо как можно шире, ибо только революционное правосознание и революционная совесть поставят условия применения на деле, более или менее широкого».

И Ленин дает образец такой формулировки, впоследствии ставшей основой печально знаменитой 58-й статьи, каравшей за «контрреволюционную деятельность»: «Пропаганда, или агитация, или участие в организации, или содействие организациям, действующие (пропаганда и агитация) в направлении помощи той части международной буржуазии, которая не признает равноправия приходящей на смену капитализма коммунистической системы собственности и стремится к насильственному ее свержению, путем ли интервенции, или блокады, или шпионажа, или финансирования прессы и т. под. средствами, карается высшей мерой наказания, с заменой, в случае смягчающих вину обстоятельств, лишением свободы или высылкой за границу».

Александр Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» остроумно заметил, что под такую статью можно хоть Блаженного Августина свободно подвести. Правда, Владимир Ильич, как кажется, не предполагал, что в недалеком будущем «революционное правосознание» Сталин с большим успехом применит к близким к Ленину вождям партии — Зиновьеву, Каменеву, Бухарину и многим другим.

23 мая 1922 года Ленин с женой уехал в Горки. Пытался работать, ничего не получалось. Выглядел неважно. 25 мая после ужина у Ильича случилась изжога, а перед сном он почувствовал слабость в правой руке. Утром была рвота, болела голова. Ленин с трудом мог говорить, утратил способность читать («поплыли» буквы), не мог писать (получалась только буква «м»). Чувствовалась слабость в правой руке и ноге. Но примерно через час все симптомы исчезли. Врачи решили, что это следствие гастрита, прописали слабительное и покой. Однако вечером 27 мая все повторилось, теперь уже с полной потерей речи. Теперь профессор Крамер констатировал тромбоз (закупорку) сосудов головного мозга. Позднее паралич правых конечностей повторялся многократно, но быстро исчезал.

Состояние Ленина то ухудшалось, то вновь улучшалось. Память, речь и способность к письму периодически возвращались.

Но Ленин уже не верил в выздоровление. Но не хотел бросать политику, уходить от власти в частную жизнь. Через несколько дней после приступа Ленин писал Сталину: «т. Сталин! Врачи, видимо, создают легенду, которую нельзя оставить без опровержения. Они растерялись от сильного припадка в пятницу и сделали сугубую глупость: пытались запретить «политические» совещания (сами плохо понимая, что это значит). Я чрезвычайно рассердился и отшил их. В четверг у меня был Каменев. Оживленный политический разговор. Прекрасный сон, чудесное самочувствие. В пятницу паралич. Я требую Вас экстренно, чтобы успеть сказать, на случай обострения болезни. Только дураки могут тут валить на политические разговоры. Если я когда волнуюсь, то из-за отсутствия своевременных и компетентных разговоров. Надеюсь, вы поймете это, и дурака немецкого профессора и К° отошьете. О пленуме ЦК непременно приезжайте рассказать или присылайте кого-либо из участников…»

Владимир Ильич уже догадывался, что причина недуга — не в переутомлении от заседаний и бесед, а связано с какой-то болезнью сосудов головного мозга. Это грозило полным параличом и слабоумием. Таким Ленин жить не хотел. И совсем не рассказ о пленуме был нужен ему от Сталина. 30 мая 1922 года Иосиф Виссарионович откликнулся на ленинскую просьбу и навестил больного. Ильич попросил достать яду: «Теперь момент, о котором я Вам говорил раньше, наступил, у меня паралич, и мне нужна Ваша помощь». Сталин обещал, но уверил Ленина, что думать о яде пока рано, поскольку все шансы на выздоровление сохраняются. Вот что рассказывала об этом эпизоде Мария Ильинична Ульянова: «Зимой 20/21, 21/22 годов В. И. чувствовал себя плохо. Головные боли, потеря работоспособности сильно беспокоили его. Не знаю точно, когда, но как-то в этот период В. И. сказал, что он, вероятно, кончит параличом и взял со Сталина слово, что в этом случае тот поможет ему достать и даст ему цианистого калия. Сталин обещал.

Почему В. И. обратился с этой просьбой к Сталину? Потому что он знал его за человека твердого, стального, чуждого всякой сентиментальности».

Вскоре состояние Ленина улучшилось, и мысли о самоубийстве на время покинули его. 11 июня он проснулся словно другим человеком. Ленин так рассказал о своем состоянии: «Сразу почувствовал, что в меня вошла новая сила. Чувствую себя совсем хорошо… Странная болезнь, что бы это могло быть? Хотелось бы об этом почитать».

И Ильич стал читать медицинские книги, которые брал у брата Дмитрия, врача. Но это был напрасный труд. Загадочная

болезнь светилами науки не была диагностирована ни тогда, ни десятилетия спустя. Подозревали наследственный сифилис, от него и пробовали лечить. Посмертное вскрытие этот диагноз как будто не подтвердило, но и не опровергло. Правда, не было проведено наиболее важное для диагностирования этой болезни патолого-анатомическое исследование дуги аорты (она при наследственном сифилисе поражается в первую очередь). А некоторые из родственников Ленина в свое время скончались от болезни примерно с теми же симптомами, что обнаружились у Владимира Ильича. Отец Ленина умер от склероза сосудов мозга тоже в возрасте 53 лет. Мать этот недуг настиг уже в почтенном, 70-летнем возрасте, так что склероз у нее мог быть следствием старения организма. Вполне возможно, что болезнь Ленина действительно имела наследственный характер.

А исследовать дугу аорты не стали умышленно. Нарком здравоохранения Н. А. Семашко особо просил производившего вскрытие патологоанатома профессора А. И. Абрикосова обратить особое внимание на доказательство отсутствия у Ленина сифилиса, чтобы сохранить светлый лик вождя. Вот Алексей Иванович и не стал лезть в дугу аорты — от греха подальше. Не делали и анализ крови на реакцию Вассермана. Правда, анализ спинномозговой жидкости производили неоднократно, и тут реакция Вассермана была отрицательной. Тем не менее, диагноз наследственного сифилиса так и остался не подтвержденным, но и не опровергнутым.

Другие возможные диагнозы — рассеянный склероз и болезнь Альцгеймера, более известная ныне под названием «коровье бешенство» и приведшая к истреблению поголовья крупного рогатого скота в Великобритании. Какой из диагнозов истинный, теперь уже невозможно определить.

У Ленина продолжали возникать кратковременные спазмы, что приводило к частичному параличу правых конечностей. Он так передавал свои ощущения во время приступов: «В теле делается вроде буквы «s» и в голове тоже. Голова при этом немного кружится, но сознание не терял… Если бы я не сидел в это время, то, конечно, упал бы». Ленин под руководством Крупской вновь учился писать, решать простейшие арифметические задачи, запоминать короткие слова и фразы.

Болезнь Ильича произвела ошеломляющее впечатление в партийных рядах. Жена Троцкого Наталья Седова записала в дневнике: «Первые слухи о болезни Ленина передавались шепотом. Никто как будто никогда не думал о том, что Ленин может заболеть. Многим было известно, что Ленин зорко следил за здоровьем других, но сам, казалось, он не был подвержен

болезни. Почти у всего старшего поколения революционеров сдавало сердце, уставшее от слишком большой нагрузки. «Моторы дают перегрузки почти у всех», — жаловались врачи. «Только и есть два исправных сердца, — говорил Льву Давыдовичу профессор Гетье, — это у Владимира Ильича да у вас. С такими сердцами до ста лет жить». Исследование иностранных врачей подтвердило, что два сердца из всех ими выслушанных в Москве работают на редкость хорошо: это сердца Ленина и Троцкого. Когда в здоровье Ленина произошел внезапный для широких кругов поворот, он воспринимался как сдвиг в самой революции. Неужели Ленин может заболеть, как всякий другой, и умереть? Нестерпимо было, что Ленин лишился способности двигаться и говорить. И верилось крепко в то, что он все одолеет, поднимется и поправится…»

По злой иронии судьбы, оба большевистских вождя с на редкость хорошо работающими сердцами далеко не дожили до ста лет. Ленина в 53 года сгубила загадочная болезнь, Троцкого в 60 — удар ледоруба, нанесенный рукой сталинского агента. Но массы не могли предвидеть, чем кончится жизненный путь вождей. Ленин давно уже стал положительным культурным героем мифа, а такого героя никакая хворь не должна брать. Но для Надежды Константиновны Ильич был не мифом, а живым человеком. Она гораздо больше других знала о том, сколь тяжела поразившая мужа болезнь, но, как и все, питала надежды на выздоровление. Тем более, что дело вроде бы пошло на поправку.

2 октября 1922 года Ленин вернулся в Москву, на следующий день председательствовал на заседании Совнаркома. Но 6 октября на Пленуме ЦК почувствовал себя плохо и в последующие дни отказался от нескольких планировавшихся раньше публичных выступлений. Признался старому партийцу Иосифу Станиславовичу Уншлихту: «Физически чувствую себя хорошо, но нет уже прежней свежести мысли. Выражаясь языком профессионала, потерял работоспособность на довольно длительный срок».

Тем не менее, 31 октября Владимир Ильич смог выступить на заседании ВЦИК и еще в течение ноября вести заседания Совнаркома. 20 ноября состоялось последнее публичное выступление Ленина — на заседании Моссовета. Эту речь он закончил примечательным пассажем об иконах: «Социализм уже теперь не есть вопрос отдаленного будущего, или какой-либо отвлеченной картины, или какой-либо иконы. Насчет икон мы остались мнения старого, весьма плохого. Мы социализм протащили в повседневную жизнь и тут должны разобраться. Вот что составляет задачу нашего дня, вот что составляет задачу

нашей эпохи. Позвольте мне закончить выражением уверенности, что, как эта задача ни трудна, как она ни нова по сравнению с прежней нашей задачей и как много трудностей она нам ни причиняет, — все мы вместе, не завтра, а в несколько лет, все мы вместе решим эту задачу во что бы то ни стало, так что из России нэповской будет Россия социалистическая». Будто предвидел, что после смерти самого превратят в икону.

До превращения же России из нэповской в социалистическую Ильич не дожил. И не узнал ни о миллионах жертв насильственной коллективизации, ни о терроре 30-х годов, ни о десятках миллионов погибших в Великую Отечественную войну. Хотя, надо полагать, все это в той или иной степени предвидел, считал необходимым и неизбежным. Иначе не стал бы требовать от Курского расширить применение расстрела в новом кодексе, не формулировал знаменитую 58-ю статью по принципу: «Захочу — посажу (или расстреляю)». А о том, что в войне с империалистами не грех уложить ради победы за одного врага даже несколько лучших коммунистов (не говоря уж о беспартийных), как мы помним, Ленин вполне откровенно заявил еще в январе 1920 года!

25 ноября 1922 года консилиум врачей решил, что Ленину необходим абсолютный покой и отдых. Однако Ильич пытался решить еще ряд текущих дел и в Горки уехал только вечером 7 декабря. 13 декабря последовали два тяжелых приступ с полной потерей речи. Врачи отметили в истории болезни: «С большим трудом удалось уговорить Владимира Ильича не выступать ни в каких заседаниях и на время совершенно отказаться от работы. Владимир Ильич в конце концов на это согласился и сказал, что сегодня же начнет ликвидировать свои дела». 16 декабря Ленин продиктовал Крупской письмо о передаче всех обязанностей своим заместителям. Через два дня состояние больного стало еще хуже. 18 декабря ЦК возлагает на генерального секретаря Сталина ответственность за соблюдение режима изоляции, предписанного Ленину врачами.

22–23 декабря — новый сильный приступ. И 23-го числа Ленин начинает диктовать секретарю М. А. Володичевой секретное «Письмо к съезду» (XII съезд РКП должен был открыться 11 января 1923 года), где рекомендует переместить Сталина с поста генсека. На следующий день врачи доложили Сталину, Каменеву и Бухарину о состоянии вождя и о том, что он начал диктовать. «Тройка» членов Политбюро приняла решение: «1. Владимиру Ильичу предоставляется право диктовать ежедневно 5–10 минут, но это не должно носить характер переписки и на эти записки Владимир Ильич не должен ждать

ответа. Свидания запрещаются. 2. Ни друзья, ни домашние не должны сообщать Владимиру Ильичу ничего из политической жизни, чтобы этим не давать материала для размышлений и волнений». Диктовку «Письма» Ленин закончил 4 января 1923 года. Впоследствии оно часто именовалось «политическим завещанием» вождя.

Ленин не скупился на яркие тона при характеристике коллег по Политбюро и ЦК: «Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью. С другой стороны, тов. Троцкий, как доказала уже его борьба против ЦК в связи с вопросом о НКПС, отличается не только выдающимися способностями. Лично он, пожалуй, самый способный человек в настоящем ЦК, но и чрезмерно хватающий самоуверенностью и чрезмерным увлечением чисто административной стороной дела. Эти два качества двух выдающихся вождей современного ЦК способны ненароком привести к расколу…» Раскола же беспомощный вождь боялся больше всего. Ведь тогда его детище — Октябрьская революция, а вслед за ней и революция мировая оказались бы под угрозой гибели (так думал Ильич, но не Сталин).

Других членов ЦК Ленин охарактеризовал еще менее уважительно. Зиновьеву и Каменеву напомнил их «октябрьский эпизод», когда они не только проголосовали против вооруженного восстания, но и сообщили об этом секретном решении в газетах. Чем-чем, а храбростью Григорий Евсеевич и Лев Борисович никогда не отличались, и Ленин прямо намекал на это.

Теоретические воззрения Бухарина, по ленинскому определению, схоластичны и «очень с большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским» (таковыми Владимир Ильич скромно считал только воззрения Маркса, Энгельса и свои собственные).

Досталось и Юрию Леонидовичу Пятакову — человеку «несомненно выдающейся юли и выдающихся способностей, но слишком увлекающемуся администраторством и администраторской стороной дела, чтобы на него можно было положиться в серьезном политическом вопросе». В переводе на общечеловеческий язык это означало, что Пятаков, в ту пору — заместитель председателя ВСНХ Дзержинского (от «железного Феликса» в Высшем Совете Народного Хозяйства толку было мало), прежде всего озабочен вопросами управления народным хозяйством и профессиональными качествами своих сотрудников, а не их политической благонадежностью. Это, по мнению Ленина, делало не вполне благонадежным самого Юрия Леонидовича.

Словом, всем сестрам по серьгам. Но в заключительной части письма, продиктованной 4 января 1923 года, больше всего досталось Кобе: «Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека, который во всех других отношениях отличается от тов. Сталина только одним перевесом, именно, более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и т. д. (…) С точки зрения предохранения от раскола и с точки зрения написанного мною… о взаимоотношениях Сталина и Троцкого это не мелочь, или это такая мелочь, которая может получить решающее значение».

Положим, чем-чем, а бранью Ленина удивить было трудно. Он сам и устно, и письменно не раз ругал как своих оппонентов, так и соратников по партии последними словами, так что порой в собрании сочинений приходилось ставить многоточия. Очень точно охарактеризовал заключительный период деятельности Ленина на посту главы Совнаркома Михаил Восленский в книге «Номенклатура»: «Когда читаешь страницу за страницей последние тома Полного собрания сочинений, встает образ постоянно раздраженного, капризного и придирчивого начальника, который по всякому поводу устраивает разносы своим подчиненным. В забытое прошлое канули товарищеские отношения, которые объединяли его с этими людьми в недавней эмиграции. Подчиненные заискивают и благоговеют. И чем больше они стушевываются и воскуривают фимиам, тем тверже убеждается начальник, что он непогрешим, но окружен ленивыми недоумками, которых надо стегать и во все тыкать носом. Вождь недавней революции уже с нескрываемым презрением отзывается о революционерах…»

Поэтому в письме к съезду ленинская логика не вполне понятна. Раз грубость в общении между коммунистами — вещь вполне терпимая, то что за беда, если Сталин лишний раз обругает кого-нибудь из партийцев (ругать империалистов, меньшевиков да и просто провинившихся в чем-либо беспартийных сам Бог велел). Можно подумать, правда, что Ленин считает недопустимым, если Сталин, занимающий ключевой пост в партии, будет груб с партийными товарищами. А те от него всецело зависят и не смогут ответить генсеку столь же непочтительно. Однако разве сам Ильич не позволял себе в эмиграции ругать соратников-большевиков, зависимых от него в денежном или ином отношении? Ведь ни один из обруганных

соратников никогда не ответил вождю в адекватных непарламентских выражениях. Создается впечатление, что грубость Сталина для Ильича — только предлог, чтобы убрать Иосифа Виссарионовича с поста генерального секретаря. Занемогший председатель Совнаркома всерьез опасался, что сосредоточенную в своих руках огромную власть вершителя судеб всех членов партии Сталин может не отдать никому, в том числе и ему, Ленину. Супруг Крупской еще надеялся на выздоровление.

Интересно, что оба выделенных в письме большевистских лидера вместе с самим Лениным были наиболее беспощадными из всех членов Политбюро. Когда высшему партийному органу приходилось непосредственно решать вопрос о казни отдельных арестованных или взятых в заложники, Каменев, Калинин или Рыков порой проявляли мягкость. Но тройка Ленин — Сталин — Троцкий почти всегда отправляла несчастных на смерть. Владимир Ильич чувствовал, что только кто-то из этих двух, Сталина и Троцкого, может стать его преемником, но думал, что до выбора преемника еще далеко.

Ленин настаивал, чтобы все пять экземпляров письма хранились в запечатанном сургучом конверте, который мог вскрывать лишь он сам, а после его смерти — только Крупская. Однако Володичева не сделала на конверте соответствующей пометки. Секретарь Совнаркома Л. А. Фотиева (они с Володичевой посменно дежурили у постели больного вождя) прочитала письмо и ознакомила с ним Сталина, Зиновьева и Каменева. К тому времени они составили в Политбюро триумвират против Троцкого, и смещение Сталина с поста генсека не устраивало всех троих. На первом съезде без Ленина, XIII-м, обсуждение ленинского письма было организовано не на пленарном заседании, а по делегациям, руководители которых уже были ориентированы генеральным секретарем в нужном духе. В результате Сталин остался на своем посту, ограничившись обещанием исправить отмеченные Лениным недостатки. А недостатки эти были — отсутствие терпимости, лояльности, вежливости и внимательности к товарищам по партии, а также капризность. Иосиф Виссарионович действительно оказался чрезвычайно внимателен ко всем членам Политбюро и ЦК, упомянутым в ленинском письме: он их уничтожил. Нет человека — нет проблемы, в данном случае — проблемы с завещанием Ильича.

Но это происходило уже после смерти Ленина. Пока же болезнь постепенно прогрессировала. В феврале 1923 года, как вспоминал профессор В. В. Крамер, опять «отмечались сперва незначительные, а потом и более глубокие, но всегда только

мимолетные нарушения в речи… Владимиру Ильичу было трудно вспомнить то слово, которое ему было нужно… Продиктованное им секретарше он не был в состоянии прочесть… Он начинал говорить нечто такое, что нельзя было совершенно понять».

Надежда Константиновна постоянно находилась рядом с мужем. 5 марта Ильич диктовал письмо Троцкому с просьбой: «взять на себя защиту грузинского дела на ЦК партии. Дело это сейчас находится под «преследованием» Сталина и Дзержинского, и я не могу положиться на их беспристрастие. Даже совсем напротив. Если бы Вы согласились взять на себя его защиту, то я бы мог быть спокойным».

Речь шла о стремлении руководства грузинской компартии во главе с Буду Мдивани добиться большей автономии своей страны в составе искусственно созданной Закавказской федерации и собственной независимости от Закавказского крайкома РКП, который возглавлял Орджоникидзе. Приехавшая для разбора конфликта комиссия ЦК во главе с Дзержинским приняла сторону крайкома, а в пылу дискуссии Серго съездил по морде одному из грузинских коммунистов. Ленин категорически осудил поведение Орджоникидзе и покрывшего его Дзержинского, усмотрев здесь проявление «великорусского шовинизма». Владимир Ильич настаивал на достижении компромисса между Закавказским крайкомом и грузинскими коммунистами, чтобы можно было «действительно защитить инородцев от истинно русского держиморды». В заметках, продиктованных 30 декабря 1922 года, он обвинил поддерживавшего Орджоникидзе и Дзержинского Сталина в «администраторском увлечении» и озлоблении против «социал-национализма» (так противники характеризовали взгляды группы Мдивани). Узнав же, что Политбюро одобрило выводы комиссии Дзержинского, Ленин просил Троцкого добиться отмены этого решения и защитить грузинских коммунистов. К тому времени в Политбюро уже сложился мощный антитроцкистский блок Сталина, Каменева и Зиновьева, о чем Ленин, вероятно, не знал. Выступление Троцкого вряд ли могло изменить положение. Узнав, что из-за болезни Лев Давидович не сможет участвовать в «грузинском деле», Ленин 6 марта 1923 года продиктовал последнюю в своей жизни записку. Она имела гриф «строго секретно» и была адресована Мдивани и его товарищам. Копии же предназначались Троцкому и Каменеву. Ленин сообщал: «Всей душой слежу за вашим делом. Возмущен грубостью Орджоникидзе и потачками Сталина и Дзержинского. Готовлю для вас записки и речь».

Никакой речи Владимир Ильич написать не успел. Его заступничество Мдивани не помогло. Буду и его товарищей

благополучно расстреляли в 37-м. Не уцелел и их противник Орджоникидзе. Из-за конфликта со Сталиным он застрелился в том же году, опасаясь неминуемой расправы.

Грузинский конфликт, возможно, немного приблизил кончину Ленина, причем самым неожиданным образом. 5 марта 1923 года Ильич диктовал письмо Троцкому в присутствии Крупской. Надежда Константиновна не выдержала и рассказала мужу о своем столкновении с генеральным секретарем. Может быть, на этот поступок ее спровоцировал критический тон письма по отношению к Сталину. Два с половиной месяца крепилась и ничего не говорила о неприятном происшествии, чтобы не волновать больного. Личный секретарь Крупской Вера Соломоновна Дридзо в письме в журнал «Коммунист», написанном в 1989 году, со слов Надежды Константиновны так рассказывала об объяснении супругов в тот мартовский день: «Надежда Константиновна и Владимир Ильич о чем-то беседовали. Зазвонил телефон. Надежда Константиновна пошла к телефону (телефон в квартире Ленина всегда стоял в коридоре). Когда она вернулась, Владимир Ильич спросил: «Кто звонил?» — «Это Сталин, мы с ним помирились». — «То есть как?» И пришлось Надежде Константиновне рассказать все, что произошло в декабре 1921 года».

Инцидент имел место еще 21 декабря. В тот день она по просьбе мужа продиктовала письмо Троцкому, где поддерживалась его позиция по монополии внешней торговли. О содержании письма стало известно Сталину. Генсек заподозрил, что о решении пленума ЦК поддержать позицию Троцкого, противоположную сталинской, Ильича информировала Надежда Константиновна. На другой день он устроил Крупской разнос.

Вот как описывает эти события Мария Ильинична Ульянова: «Сталин вызвал ее к телефону и в довольно резкой форме, рассчитывая, видимо, что до В. И. это не дойдет, стал указывать ей, чтобы она не говорила В. И. о делах, а то, мол, он ее в ЦКК потянет. Н. К. этот разговор взволновал чрезвычайно: она была совершенно не похожа сама на себя, рыдала, каталась по полу и пр.»

Надежда Константиновна 23 декабря 1922 года обратилась с письмом к Каменеву: «Лев Борисович, по поводу коротенького письма, написанного мною под диктовку Владимира Ильича с разрешения врачей, Сталин позволил себе вчера по отношению ко мне грубейшую выходку. Я в партии не один день. За все 30 лет я не слышала ни от одного товарища ни одного грубого слова, интересы партии и Ильича мне не менее дороги, чем Сталину. Сейчас мне нужен максимум самообладания. О чем можно и о

чем нельзя говорить с Ильичом, я знаю лучше всякого врача, так как знаю, что его волнует, что нет, и во всяком случае лучше Сталина. Я обращаюсь к Вам и к Григорию (Зиновьеву. — *Б. С.),* как более близким товарищам В. И. и прошу оградить меня от грубого вмешательства в личную жизнь, недостойной брани и угроз». А в конце сказала несколько слов и о ЦКК: «В единогласном решении Контрольной комиссии, которой позволяет себе грозить Сталин, я не сомневаюсь, но у меня нет ни сил, ни времени, которые я могла бы тратить на эту глупую склоку. Я тоже живая, и нервы напряжены у меня до крайности».

Каменев дело замял, никаких оргвыводов по отношению к Крупской, разумеется, не последовало, но и Сталина осторожный Лев Борисович за его выходку журить не стал. Только осталась на сердце У Надежды Константиновны тяжесть от происшедшего. Хотя, по воспоминаниям Марии Ильиничны Ульяновой, через несколько дней Сталин звонил Крупской и, «очевидно, старался сгладить неприятное впечатление, произведенное на Надежду Константиновну его выговором и угрозами».

Ленин, узнав об этом случае, тоже сильно разволновался. Продиктовал гневное письмо Сталину: «Уважаемый т. Сталин. Вы имели грубость позвать мою жену к телефону и обругать ее. Хотя она Вам выразила согласие забыть сказанное, но тем не менее этот факт стал известен через нее же Зиновьеву и Каменеву. Я не намерен забывать так легко то, что против меня сделано, а нечего и говорить, что сделанное против жены я считаю сделанным и против меня. Поэтому прошу Вас взвесить, согласны ли Вы взять сказанное назад и извиниться или предпочитаете порвать между нами отношения. С уважением, Ленин».

Бросается в глаза тон письма. Ильич не честь оскорбленной жены защищает, не за обиженную женщину заступается. Нет, он о собственной чести прежде всего заботится, о поддержании собственного авторитета. Подчеркивает: оскорбив его супругу, Сталин оскорбил его самого. Получается, что Надежда Константиновна для Ленина — это какой-то символ, обязательный атрибут главы партии и правительства, но отнюдь не близкий, любимый человек. Ильича, похоже, больше всего задело не то, что Сталин посмел обругать женщину, а то, что он уже перестал считаться с ним, с Лениным. Значит, чувствует, что болезнь смертельная, и дни председателя Совнаркома сочтены.

Ленину стало плохо. Запись в журнале дежурных секретарей от 5 марта 1923 года свидетельствует: «Владимир Ильич вызывал около 12-ти. Просил записать два письма: одно Троцкому, другое Сталину; передать первое лично по телефону Троцкому и сообщить ему ответ как можно скорее. Второе пока просил

отложить, сказав, что сегодня у него что-то плохо выходит. Чувствовал себя нехорошо».

На следующий день, согласно записи Володичевой, Ленин прочитал письмо, адресованное Сталину, и «просил передать лично и из рук в руки получить ответ. Продиктовал письмо группе Мдивани. Чувствовал себя плохо. Надежда Константиновна просила этого письма Сталину не посылать, что и было сделано в течение 6-го (т. е., переводя с канцелярского на общепонятный: в этот день письмо Сталину так и не было передано. — *Б. С.)*. Но 7-го я сказала, что я должна исполнить распоряжение Владимира Ильича. Она переговорила с Каменевым, и письмо было передано мной лично Сталину и Каменеву, а затем и Зиновьеву, когда он вернулся из Питера. Ответ от Сталина был получен тотчас же после получения им письма Владимира Ильича (письмо было передано мной лично Сталину, и мне был продиктован его ответ Владимиру Ильичу). Письмо Владимиру Ильичу еще не передано, так как он заболел».

Вот текст сталинского письма, которое Ленин, возможно, никогда не получил:

> «Ленину от Сталина. Только лично. Т. Ленин! Недель пять назад я имел беседу с т. Н. Константиновной, которую я считаю не только Вашей женой, но и моим старым партийным товарищем, и сказал ей по телефону приблизительно следующее: «Врачи запретили давать Ильичу политинформацию, считая такой режим важнейшим средством вылечить его, между тем Вы, Надежда Константиновна, оказывается, нарушаете этот режим, нельзя играть жизнью Ильича» и пр. Я не считаю, что в этих словах можно было усмотреть что-либо грубое или непозволительное, предпринятое «против» Вас, ибо никаких других целей, кроме цели быстрейшего Вашего выздоровления, я не преследовал. Более того, я считал своим долгом смотреть за тем, чтобы режим проводился.
>
> Мои объяснения с Н. Константиновной подтвердили, что ничего, кроме пустых недоразумений, не было тут да и не могло быть.
>
> Впрочем, если Вы считаете, что для сохранения «отношений» я должен «взять назад» сказанные выше слова, я их могу взять назад, отказываясь, однако, понять, в чем тут дело, где моя вина и чего, собственно от меня хотят. *И. Сталин*».

Иосиф Виссарионович тонко почувствовал как смысл

ленинского письма, так и нарастающее беспокойство вождя по поводу своего положения в партии. И понял, что Ленин уже не выздоровеет и не обретет прежнего могущества. Поэтому в письме говорит с ним абсолютно на равных, не признавая ни превосходства Ильича, ни ленинского права критиковать его, Сталина, в чем-либо. Генеральный секретарь ясно дает понять: «Вы, Ильич, волнуетесь не о Надежде Константиновне, которая Вам уже во многом безразлична. Вы волнуетесь о собственном положении. Успокойтесь: я пекусь только о Вашем здоровье. Но не тешьте себя иллюзией, что с Вами будут считаться как прежде, жадно ловить каждое Ваше слово как руководство к действию. Я-то, пожалуй, извинюсь, чтобы Вас не расстраивать, но виноватым себя все равно не чувствую».

Между тем, 6 марта у Ленина, возможно, вследствие перенесенных волнений, разыгрался двухчасовой припадок с полной потерей речи и параличом правой стороны тела. На следующий день Ильич дает понять, что ему лучше. Но 10 марта приступ повторился и теперь уже, согласно записи профессора Крамера, привел «к стойким изменениям как со стороны речи, так и правых конечностей».

Не исключено, что о содержании письма Сталина, пусть в самой общей форме, Ленин все-таки узнал через сестру. Мария Ильинична вспоминала: «Раз утром Сталин вызвал меня в кабинет В. И. Он имел очень расстроенный и огорченный вид: «Я сегодня всю ночь не спал, — сказал он мне. — За кого же Ильич меня считает, как он ко мне относится! Как к изменнику какому-то. Я же его всей душой люблю. Скажите ему это как-нибудь». Мне стало жаль Сталина. Мне показалось, что он так искренне огорчен.

Ильич позвал меня зачем-то, и я сказала ему между прочим, что товарищи ему кланяются. «А», — возразил В. И. «И Сталин просил передать тебе горячий привет, просил сказать, что он так любит тебя». Ильич усмехнулся и промолчал. «Что же, — спросила я, — передать ему и от тебя привет?» «Передай», — ответил Ильич довольно холодно. «Но, Володя, — продолжала я, — он все же умный, Сталин». «Совсем он не умный», — ответил Ильич решительно и поморщившись».

Несомненно, Сталин не спал ночь с 7-го на 8-е марта, получив ленинское письмо. Может быть, даже пришел к выводу, что в ответном письме был излишне резок. И теперь пытался с помощью Марии Ильиничны повлиять на настроение Ильича, разрядить возникшую между ними напряженность. Возможно, рассчитывая (или даже проинструктировав соответствующим образом секретарш), что Ленин с письмом так и не познакомился.

И тот, похоже, скрепя сердце решил, что полностью рвать отношения со Сталиным в нынешнем беспомощном положении» не стоит. Иосиф Виссарионович еще может пригодиться, хотя бы для выполнения давней просьбы о яде.

В своих воспоминаниях о последних месяцах жизни Ленина, обнародованных только в 1989 году, Крупская отмечает, что период с марта по июль 1923 года был «связан с тяжелыми физическими страданиями и тяжелыми нервными возбуждениями…». С 14 марта началась регулярная публикация в газетах бюллетеней о состоянии здоровья вождя. Теперь ни читать, ни писать, ни нормально разговаривать, ни адекватно понимать обращенную к нему речь Ильич больше не мог.

21 марта 1923 года Сталин написал «строго, секретную» записку для членов Политбюро с изложением ленинской просьбы: «В субботу 17 марта т. Ульянова (Н. К.) сообщила мне в порядке архи-конспиративном «просьбу Вл. Ильича Сталину» о том, чтобы я, Сталин, взял на себя обязанность достать и передать Вл. Ильичу порцию цианистого калия. В беседе со мной Н. К. говорила, между прочим, что «Вл. Ильич переживает неимоверные страдания», что «дальше жить так немыслимо», и упорно настаивала «не отказывать Ильичу в его просьбе». Ввиду особой настойчивости Н. К. и ввиду того, что В. Ильич требовал моего согласия (В. И. дважды вызывал к себе Н.К. во время беседы со мной и с волнением требовал «согласия Сталина»), я не счел возможным ответить отказом, заявив: «Прошу В. Ильича успокоиться и верить, что, когда нужно будет, я без колебаний исполню его требование». В. Ильич действительно успокоился.

Должен, однако, заявить, что у меня не хватит сил выполнить просьбу В. Ильича, и вынужден отказаться от этой миссии, как бы она ни была гуманна и необходима, о чем и довожу до сведения членов П. Бюро ЦК».

Члены Политбюро оставили на записке свои подписи. А М. П. Томский — еще и резолюцию, одобряющую действия генсека: «Читал. Полагаю, что «нерешительность» Сталина — правильна. Следовало бы в строгом составе членов Пол. Бюро обменяться мнениями. Без секретарей (технич.)».

А сразу после разговора с Крупской, «по горячим следам», Сталин направил соратникам по «триумвирату» Зиновьеву и Каменеву более короткую записку: «Только что вызвала меня Надежда Константиновна и сообщила в секретном порядке, что Ильич в «ужасном» состоянии, с ним припадки, «не хочет, не может дольше жить и требует цианистого калия, обязательно». Сообщила, что «пробовала дать калий, но «не хватило выдержки», ввиду чего требует «поддержки Сталина». Григорий Евсеевич и

Лев Борисович категорически возражали и оставили следующую резолюцию: «Нельзя этого никак. Ферстер дает надежды — как же можно? Да если бы и не было этого! Нельзя, нельзя, нельзя».

Можно представить, каково было Надежде Константиновне передавать эту просьбу. Замечу только, что Ильич мог просить ее переговорить со Сталиным на столь интимную тему только в том случае, если решил принять извинения Сталина и считать инцидент между ним и Крупской исчерпанным. Ленин был уверен, что у Сталина рука не дрогнет. У Крупской же не хватило духу помочь Ильичу прекратить его страдания. У бедняги сохранилась способность мыслить при почти полной невозможности довести свои мысли до окружающих и понять, что говорят ему самому. Это чрезвычайно мучило Ленина. Часто он плакал.

Любопытно, что предполагаемое самоубийство названо Сталиным «гуманным» и «необходимым». В его лексиконе появляется столь редкое для большевика слово «гуманизм». Однако пока что Коба не считает возможным форсировать уход вождя «в мир иной». Ленин еще нужен «триумвирам», чтобы noj прикрытием его имени окончательно изолирован Троцкого, отстранить от реальных рычагов власти Агонию Ильича надо было продлить.

Получилось, что зря понадеялся Ленин на Сталина. Иосиф Виссарионович не оправдал свой псевдоним, подвел и обрек вождя на почти младенческое существование в последние месяцы жизни. Тут, разумеется, был определенный политический расчет, а не следование христианской заповеди «не убий», вполне чуждой Сталину, как и самому Ленину.

Тем временем записи в «Дневнике дежурного врача», заменившем «Дневник дежурных секретарей», вплоть до середины мая оптимизма не внушали. Так, 11 марта отмечалось: «Доктор Кожевников зашел к Владимиру Ильичу в 11 с четвертью часов. Цвет лица бледный, землистый, выражение лица и глаз грустное… Все время делает попытки что-то сказать, но раздаются негромкие, нечленораздельные звуки… Сегодня Владимир Ильич, в особенности к вечеру, стал хуже понимать то, что ему говорят, иногда он отвечает «нет», когда, по всем данным, ответ должен быть положительным».

Столь же безрадостная картина и на следующий день, когда прибыло срочно вызванное подкрепление из Германии: «Сегодня приехали проф. Минковски и Ферстер. С вокзала доктор Кожевников с ними поехал на заседание Политбюро, а оттуда к Владимиру Ильичу… Со стороны нервной системы сознание ясное (по-видимому!), почти полная моторная афазия, сегодня

Владимир Ильич ничего не может сказать… Владимир Ильич плохо понимает, что его просят сделать. Ему были поданы ручка, очки и резательный нож. По предложению дать очки Владимир Ильич их дал, по просьбе дать ручку Владимир Ильич снова дал очки (они ближе всего лежали к нему)… После посещения Владимира Ильича все врачи снова были в Политбюро…»

17 марта, когда Ленин просил у Крупской цианистый калий, в дневнике зафиксировано: «После врачебного визита Владимир Ильич хорошо пообедал. Через некоторое время он хотел высказать какую-то мысль или какое-то желание, но ни сестра, ни Мария Ильинична, ни Надежда Константиновна совершенно не могли понять Владимира Ильича, он начал страшно волноваться, ему дали брома. Мария Ильинична позвонила доктору Кожевникову, он приехал…» Вероятно, именно мысль о самоубийстве так взволновала Ленина. Ильич уже разочаровался в усилиях врачей вернуть его к нормальной жизни. Доктора, особенно иностранные, все больше раздражали больного. Его угнетала мысль о том, что понапрасну приходится платить большие гонорары в валюте германским и шведским профессорам.

Доктора подозревали у Ленина наследственный сифилис мозга и назначали соответствующее лечение: весьма мучительные процедуры втирания ртути, но у Ленина к ртути, по словам Кожевникова, обнаружилась идиосинкразия, т. е. непереносимость? Эта и другие малоприятные процедуры развили у Ленина идиосинкразию и к германским докторам. Тому же Кожевникову он признавался: «Для русского человека немецкие врачи невыносимы».

Но произошло чудо: в середине мая 1923 года в состоянии Ленина наступило заметное улучшение. Ильича стали сажать на веранду кремлевской квартиры подышать свежим воздухом, а 15 мая, соблюдая тщательные предосторожности, в сопровождении группы врачей перевезли в Горки. Кожевников отмечал, что Ленин «окреп физически, стал проявлять интерес как к Своему состоянию, так и ко всему окружающему, оправился от так называемых сенсорных явлений афазии, начал учиться говорить…».

Вместе с врачом-логопедом С. М. Доброгаевым Крупская пыталась помочь мужу вновь обрести дар речи. Впоследствии она продолжила обучение Ильича уже самостоятельно. Слов Ленин употреблял очень мало и почти все — односложные и двусложные: «вот», «веди», «иди», «идите», «оля-ля». Выражение «вот-вот» стало для него универсальным, передающим всю гамму чувств. После многодневных занятий с Надеждой

Константиновной Владимир Ильич освоил несколько более сложных и особо любимых им прежде слов: «съезд», «народ», «люди», «рабочий», «крестьянин» и главное слово своей жизни «революция». Крупская вспомнила свои навыки педагога и использовала те средства и приемы, которые применяются для обучения устной и письменной речи маленьких детей: буквы азбуки на картонных квадратах, заставляла мужа повторять за собой слова несколько раз подряд, водила своей рукой левую руку мужа, которой он пытался научиться писать. Сохранились написанные таким образом слова «мама» и «папа». Однако Ленину почти никогда не удавалось запомнить произносимые слова и повторить, а теМ более написать их самостоятельно. Хотя некоторый прогресс все же наблюдался: Владимир Ильич с палочкой мог передвигаться по комнате, делать некоторые осмысленные жесты, порой к месту употреблял свое любимое «вот-вот».

Надежда Константиновна тяжело переживала болезнь Ильича. Едва ли не единственной отдушиной для нее стали письма дочерям былой соперницы. 23 июня 1923 года она писала Варе и Инессе Арманд: «Милые мои девочки, как вы живете? Хорошо ли отдыхаете? Часто думаю о вас и скучала без вас. Очень хотелось давно уже написать вам, приласкать вас, да все перо из рук валится. Очень трудно мне писать, а думаю о вас постоянно: самые вы близкие для меня. Прежде всего напишу о В. Теперь бывают дни, когда я начинаю думать, что выздоровление возможно, хотя будет оно и нескоро. С ходьбой дело идет лучше всего, рука тоже стала понемногу поправляться. Спец по речи (С. М. Доброгаев. — *Б. С.)* уверяет, что и с речью лучше, по-моему, это не так. Общее состояние хорошо: хороший пульс, нормальная температура, хороший аппетит, сон тоже понемногу налаживается. Сидит, когда позволяет погода, подолгу на террасе, ездили иногда в сад. Настроение разное, иногда бывает хуже худого, иногда ничего. Все зависит от того, кто дежурит: какой врач, какая сиделка, какой санитар. В общем, устает он от постоянной толкотни. Врачей больше, чем надо. Слава богу, что из немцев остался один Ферстер. Ну, посмотрим, что из всей этой муки выйдет. Маня (М. И. Ульянова. — *Б. С.)* совсем извелась, кашляет и нервничает. Я по утрам все еще стараюсь работать, хотя это все хуже и хуже мне удается, но, в общем, стала совершенно неработоспособна. Тоска дикая. Иногда реву белугой. Больше всего я люблю, когда дежурит Розанов (известный хирург. — *Б. С.)*. Недавно мы говорили с ним много об Инессе, они ведь вместе работали в «Московском обществе по улучшению участи женщины». Кое-что он мне рассказал об этой работе… Вот

и все. О многом я передумала за это время, многое поняла, чего не понимала раньше. Когда-то, Инночка родная, увижу я твоего дитюшу, очень бы его и тебя хотела повидать. Ты, пожалуйста, береги себя: не уставай, спи побольше, ешь вовремя, окна открывай и иногда думай обо мне. Это последнее, должно быть, тоже полезно будет для нашего дитюшки… Как ты думаешь?»

В следующем письме, отправленном в начале июля, Крупская опять выражала беспокойство здоровьем Инны и ее малыша, наказывала: «Ешь ты, девочка моя, побольше — надо это для ребетенка. О том, чтобы понянчить его, не приходится мечтать, а как хорошо бы была Подумай, привык бы ко мне, ручонки протянул, улыбнулся. Так я хотела когда-то ребеночка иметь. Ну, карточку пришли. У меня очень бедное воображение, и я никак не могу вас себе представить в незнакомой мне обстановке.

Пиши почаще. Я совсем теперь одна на свете. К В. нельзя входить совершенно последние дни, он ужасно сердится, если кто входит. Последние две недели в настроении произошел перелом в худшую сторону. Вообще в какой-то момент кажется, что хуже ничего не может быть, а потом наступает еще хуже. Впрочем, сегодня я настроена очень мрачно и лишь зря вас расстраиваю. Доктора говорят, что это пройдет. Последние дни В. подхватил еще малярию, которая его очень ослабила. А погода отвратительная, как назло.

Так вот и живем. Я встаю, если удастся, чем раньше, часов в 5, и утром занимаюсь немного, а потом уже становлюсь ни на что не способной. Впрочем, бывает и полегче. Третьего дня, например, В. вывезли на солнышко, и он все улыбался, а когда заснул, я пошла за ягодами, набрала цветов полевых, свела знакомство с рабочими совхоза».

Да, жизнь у Крупской во время болезни мужа была очень тяжелой. И неслучайно только дочерям Инессы Арманд она изливала душу (с сыновьями столь близких отношений все же не сложилось). Надежда Константиновна так мечтала иметь детей, но Бог им с Ильичом детей не дал. И дочери Инессы Федоровны стали для Крупской словно ее собственными. Ведь это были дети самого близкого Ильичу человека, трагически рано погибшего. В восприятии Надежды Константиновны на них как бы ложился ленинский отсвет. И еще она предчувствовала, что Ильич врядли поправится, да и жить ему осталось уже недолго. А после смерти Ленина единственными близкими людьми останутся Инна и Варя. К сыну Инны Крупская относилась почти как к собственному внуку.

Июльское письмо к дочерям Инессы писалось в период, когда у Ленина произошло очередное обострение болезни. Вот что об

этом рассказал Владимир Петрович Осипов, выдающийся психиатр, академик, лечивший Ленина: «Около 22 июня начинается новое и последнее обострение болезни, которое продолжалось около месяца. У него было в то время состояние возбуждения, были иногда галлюцинации, он страдал бессонницей, лишился аппетита, ему трудно было спокойно лежать в постели, болела голова, и он только тогда несколько успокаивался, когда его в кресле возили по комнате… Во второй половине июля обострение затихло, здоровье снова стало улучшаться, и уже скоро Владимир Ильич мог выезжать в парк около дома, в котором он жил; восстановился сон, улучшился аппетит, он пополнел, чувствовал себя бодрым, появилось хорошее настроение, и, конечно, первое, чем он заинтересовался, — это снова речевые упражнения.

Уход за ним был безукоризненный. Все хозяйственные заботы лежали на его сестре, Марии Ильиничне Ульяновой (неспособность Крупской к ведению домашнего хозяйства была хорошо известна. — *Б. С.*), а весь уход, так сказать, духовный приняла на себя Надежда Константиновна Крупская… Эти две женщины жертвовали для него всеми личными интересами и окружали его всевозможными удобствами… До этого обострения речевые упражнения производил врач, а здесь Владимир Ильич выразил жестами определенное желание, чтобы речевые упражнения вела Надежда Константиновна. Он, видимо, не хотел, чтобы этот его речевой недостаток видели другие, это было ему неприятно. Надежда Константиновна опытный педагог, но для этих занятий нужно иметь специальные знания. Поэтому мы каждый вечер собирались и давали ей определенную инструкцию, и таким образом под нашим руководством она проводила эти занятия, протекавшие весьма успешно».

29 июля 1923 года председатель финансового комитета ЦК и Совнаркома Евгений Алексеевич Преображенский писал своему другу и соавтору по «Азбуке коммунизма» Николаю Ивановичу Бухарину о двух посещениях Ленина — вскоре после июньского кризиса и позднее, когда дело опять пошло на поправку: «Во время первого посещения… говорил и с Надеждой Константиновной, и с Марией Ильиничной очень подробно. Старик находился тогда в состоянии большого раздражения, продолжал гнать даже Ферстера и др., глотая только покорно хинин и йод, особенно раздражался при появлении Н. К., которая от этого была в отчаянии и, по-моему, совершенно зря, против желания. И, все-таки, к нему ходила.

Второй раз, 4 дня тому назад, я снова поехал… Только что вошел вниз, с Беленьким (начальником охраны Ленина. — *Б. С.*),

как в комнате справа от входа Беленький мне показал рукой в окно, сказал: «Вон его везут». Я подошел к закрытому окну и стал смотреть. На расстоянии шагов 25-ти вдруг он меня заметил, к нашему ужасу, стал прижимать руку к груди и кричать: «Вот, вот», требовал меня. Я только что приехал и еще не видел М. И. и Н. К. Они прибежали, М. И., взволнованная, говорит: «Раз заметил, надо идти». Я пошел, не зная точно, как себя держать и кого я, в сущности, увижу. Решил все время держаться с веселым, радостным лицом. Подошел. Он крепко мне жал руку, я инстинктивно поцеловал его в голову. Но лицо! Мне стоило огромных усилий, чтоб сохранить взятую мину и не заплакать, как ребенку. В нем столько страдания, но не столько страдания в данный момент. На его лице как бы сфотографировались и застыли все перенесенные им страдания за последнее время. М. И. мигнула мне, когда надо было уходить, и его провезли дальше. Через минут пять меня позвали за стол пить вместе с ним чай. Он угощал меня жестами малиной и т. д. и сам пил из стакана вприкуску, орудуя левой рукой. Говорили про охоту и всякие пустяки, что не раздражает. Он все понимает, к чему прислушивается. Но я не все понимал, что он хотел выразить, и не всегда комментарии Н. К. были правильны, по-моему. Однако всего не передашь. У него последние полторы недели очень значительное улучшение во всех отношениях, кроме речи. Я говорил с Ферстером. Он думает, что это не случайное и скоропроходящее улучшение, а что улучшение может быть длительным…»

Казалось, что дела Ленина медленно, но идут на поправку. В августе Ильич вновь просил читать ему газеты. Медсестра Т. М. Белякова, ухаживавшая за Лениным в Кремле, а потом в Горках, вспоминала: «С радостью всегда встречал Владимир Ильич появление Марии Ильиничны. Вечером терпеливо ждал ее возвращения из редакции «Правды». А если она почему-либо задерживалась, просил позвонить, узнать, когда приедет. Мария Ильинична возвращалась с работы почти всегда со свежим, пахнущим типографской краской номером «Правды». Она брала маленькую скамеечку и подсаживалась к изголовью Владимира Ильича. Сначала рассказывала ему редакционные новости, а затем читала наиболее интересные заметки и статьи, помещенные в газете. Некоторыми материалами Ленин оставался недоволен, считал печатание их на страницах центрального партийного органа ошибочным. Просил Марию Ильиничну сообщить об этом редколлегии «Правды». Другие статьи, наоборот, одобрял, говорил, что их в газете надо было поместить на самом видном месте, сопроводить редакционным комментарием…

По газетам Ленин внимательно следил за развитием большого патриотического движения по сбору средств на постройку самолетов Красного воздушного флота. Он радовался: трудящиеся Советской республики добровольно вносили свои пожертвования, укрепляли тем самым обороноспособность страны (и это в стране, едва оправившейся от тяжелейшего голода, на которую в тот момент никто не собирался нападать; можно представить себе, насколько «добровольно-принудительный» характер имела эта кампания! Как подумаешь, сколько дополнительных жертв от голода и болезней она принесла оттого, что последние гроши люди отдавали на бомбовозы, а не на хлеб и молоко детям, радоваться, право, не хочется. — *Б. С.*).

Однажды, это было 30 августа 1923 года, в Горки, как обычно, привезли почту. Надежда Константиновна отобрала свежие газеты и, прежде чем понести их Владимиру Ильичу, решила просмотреть «Правду». Развернула. Вся первая страница была посвящена пятой годовщине со дня покушения на жизнь Ленина.

«Взволнует это Ильича», — проговорила вслух Крупская. «Правда» писала: «30 августа — горькая дата, страшный, незабываемый день, когда агенты буржуазии — эсеры — пытались отнять у советских людей Ильича… Мировой пролетариат носит в своем сердце пули, пробившие грудь тов. Ленина… Он возвратит их своим врагам в час решительного боя за коммунизм. Он пошлет их в сердце буржуазии…»

Надежда Константиновна решила все же показать газету Владимиру Ильичу. Зашла к нему в комнату. Он приветливо улыбнулся и кивнул головой: читай, мол. Начала читать. И я видела, как Ленин сначала взгрустнул, а когда Крупская прочитала слова: «Революция совершила чудо: спасла себя, спасла рабочий класс, удержала для всего униженного человечества республику труда. Эта республика живет и крепнет», — Владимир Ильич вдруг повеселел, глаза его лучились светом».

Добрейшая Таисия Михайловна, похоже, уверовала в миф о вечно живом Ленине, который чуть ли не до последних дней жизни держал руку на пульсе страны и даже давал руководящие указания: что «Правде» печатать, а что не печатать. Так и представляешь себе, как Ильич то ли мычанием, то ли своим коронным «вот-вот» выражает одобрение или неодобрение тем или иным газетным материалам, а Мария Ильинична и Надежда Константиновна напряженно ловят каждый звук и тотчас записывают. Окружавшим Ленина очень хотелось верить в чудо его выздоровления. Невольно желаемое выдавалось за

действительное. Владимиру Ильичу приписывалась вполне осмысленная реакция на прочитанные ему женой и сестрой статьи и заметки. На самом же деле ситуация и здесь была такой же, как и в случае с очками, ручкой и ножом для разрезания бумаги. Ведь писать Ленин по-прежнему не мог и осмысленно выговаривал не более дюжины слов. Поэтому с уверенностью судить, правильно ли понимал больной прочитанное для него и понимал ли вообще, достоверно судить невозможно.

Куда реалистичнее, хотя, наверное, тоже не без идеализации, описывает процесс знакомства Ильича с газетами психиатр академик Владимир Петрович Осипов, наблюдавший Ленина во время болезни: «Понимание речи окружающих восстановилось вполне и настолько хорошо, что он заинтересовался содержанием газет; ему прочитывались газеты, передовицы, телеграммы и другие сведения, его интересовавшие; затем, будучи сам газетным работником, он разбирался в содержании газеты; раскрывая газету, он знал, где передовица, где телеграмма, и сразу указывал пальцем, чем он интересуется. Иногда в газетах бывали волнующие статьи, содержание которых Надежда Константиновна избегала ему передавать. Заинтересовавшись каким-нибудь местом, он требовал повторения, а кое-что Мог прочитывать сам. Понимание цифр у него сохранилось, и в связи с этим и по рисунку газеты он прекрасно отличал старые газеты от новых. Что же касается произвольной речи, то она была задета сильнее всего; он был в состоянии пользоваться только несколькими словами, но повторять слова он мог, почему в эту сторону и были направлены упражнения, чтобы посредством многократного повторения слов восстановить самостоятельную речь. Сначала дело шло туго. Владимир Ильич мог повторять только односложные слова, а затем стали удаваться двусложные и даже многосложные; сначала записывали слова, которые он мог повторить, но потом перестали, потому что цифра записанных слов превысила полторы тысячи, и стало ясно, что если он может сказать полторы тысячи слов, то он сможет повторить две, три тысячи и больше.

Начала постепенно восстанавливаться также и способность чтения, которая была утрачена вместе с речью в период обострения болезни в марте 1923 года.

Он мог уже различать буквы и прочитывать слова; ему показывали для этого рисунки, и при взгляде на них он мог называть изображенные на них предметы и даже произносил фразы. Обыкновенно показывали рисунок с подписью, а затем без подписи, и он называл изображенный на рисунке предмет; он находил также самостоятельно соответствующие изображенному

предмету словесные обозначения среди других написанных слов. Были начаты упражнения в письме левой рукой, что, особенно в данном случае, является значительной трудностью, но Владимиру Ильичу удалось осилить это препятствие, и он мог недурно писать левой рукой — писал буквы и слова и уже хорошо копировал слова».

Все эти упражнения проделывала с мужем Надежда Константиновна. И картинки показывала, и буквы выводила, держа его руку с карандашом в своей руке. Надеялась, что когда-нибудь вернется прежний Ильич, умный и деятельный, 2 сентября 1923 года Крупская писала Инессе Арманд: «Милая моя Инночка, не писала тебе целую вечность, хотя каждодневно думала о тебе. Но дело в том, что сейчас я целые дни провожу с В., который быстро поправляется, а по вечерам я впадаю в очумение и неспособна уже на писание писем. Поправка идет здоровая — спит все время великолепно, желудок тоже, настроение ровное, ходит теперь (с помощью) много и самостоятельно, опираясь на перила, поднимается и спускается с лестницы. Руке делают ванны и массаж, и она тоже стала поправляться. С речью тоже прогресс большой — Ферстер и другие невропатологи говорят, что теперь речь восстановится наверняка, то, что достигнуто за последний месяц, обычно достигается месяцами. Настроение у него очень хорошее, теперь и он видит уже, что выздоравливает, — я уж в личные секретари к нему прошусь и собираюсь стенографию изучать. Каждый день я читаю ему газетку, каждый день мы подолгу гуляем и занимаемся…»

Столь же оптимистично был настроен и Зиновьев, когда 26 сентября 1923 года выступал на партийном совещании: «Примерно с 20 июля началось улучшение в состоянии здоровья Владимира Ильича, которое до сих пор развивается и с каждым днем становится заметнее… Три дня как он уже самостоятельно ходит, а рядом с ним один из товарищей на всякий случай… Он совершает прогулки на автомобиле… В худшем состоянии дело с речью — но и тут идет улучшение… Что касается самостоятельной речи, то теперь это плохо… Когда началось улучшение, дело было так, что он одного слога не мог произнести из двух букв. Теперь и здесь начинается улучшение…

Поднимался вопрос о переезде Владимира Ильича куда-нибудь на юг. Мы все предлагали на юг, но врачи против этого, а главное, Владимир Ильич против этого. Осипов говорит, по-видимому, он в личной жизни консервативный человек и решительно против всякого юга…

Владимиру Ильичу читают газеты, сначала с пропусками, теперь стали без пропусков. Ему прочитывают оглавление газеты,

и он выбирает, что ему читать и что не читать… Относительно рурских событий (оккупации Рура французскими войсками. — *Б. С.)* Надежда Константиновна его ввела в курс событий и потом прочла ему. Он большого удивления не выразил. По поводу того, что на Украине у богатых мужиков отбирают излишки, он выразил большое неудовольствие, что это не было сделано до сих пор. Он отлично отдает себе отчет в своем состоянии и бережет себя очень… он дирижирует лечением, бережет себя…

Врачей он разгоняет вокруг себя, и с трудом им удается выслушать его (т. е. послушать сердце и легкие. — *Б. С.)*… Они в конце июня давали отзывы крайне пессимистические, не оставлявшие ни одного процента надежды на хороший исход. Но со средины июля пошло дело к улучшению и не останавливалось».

Конечно, Григорий Евсеевич, выступая перед достаточно большой, хотя и партийной аудиторией, всей правды не говорит. На самом деле и газеты Ильичу читают, конечно же, с изъятиями, и что читать он показывает во многом наугад. И уж, безусловно, почти лишенный дара речи Ленин дирижировать своим лечением никак не может. Да и медицинских знаний у него для роли дирижера и до «кондрашки» явно недоставало. Но в целом Зиновьев дал сравнительно объективную картину состояния Ленина и, вероятно, как и многие из ленинского окружения, все еще верил в выздоровление вождя.

Однако осень подходила к концу, а Ильич по-прежнему оставался в почти младенческом состоянии. Если 13 сентября Надежда Константиновна еще с некоторым оптимизмом сообщала Инне Арманд: «У нас поправка продолжается, хотя все идет чертовски медленно…», то уже 28 октября в письме проскальзывали тревожные нотки: «…Парк опустел, стало в нем скучно. Летом народ толкался, теперь никого нет, и В. тоскует здорово, особенно на прогулках. Каждый день какое-нибудь у него завоевание, и все как-то продолжаем висеть между жизнью и смертью. Врачи говорят — все данные, что выздоровеет, но я теперь твердо знаю, что они ни черта не знают, не могут знать».

В своем скептицизме по отношению к докторам Крупская оказалась права. Неведомый недуг подтачивал организм Ленина быстрее, чем думали окружающие. Ведь в Политбюро полагали, что, хотя полное выздоровление вождя вряд ли возможно, но стабильное состояние его здоровья, после того как удалось купировать июньский приступ, продлится неопределенно долго.

Надежда Константиновна в опубликованном лишь в 1989 году мемуарном очерке «Последние полгода жизни Владимира Ильича» отмечала: «И говорили мы еще о том, что надо запастись

терпением, что надо смотреть на эту болезнь все равно как на тюремное заключение… Потому-то я и говорила Владимиру Ильичу, что болезнь надо рассматривать как тюрьму, когда человек поневоле на время выпадает из работы». Она не знала, что жить Ленину осталось недолго, и выйти на свободу из новой «тюрьмы» уже не удастся.

18 октября Ильич попросил отвезти его в Москву. Переночевал в своей кремлевской квартире, на следующий день съездил на автомобиле на сельскохозяйственную выставку, но экскурсии помешал дождь. Затем вернулись в Кремль за отобранными книгами и вернулись в Горки. Это был последний визит Ленина в столицу.

В ноябре 1923 года короткую записку Крупской прислал Троцкий. Не в пример Сталину, Лев Давидович обращался очень вежливо: «Дорогая Надежда Константиновна! Пересылаю Вам американское предложение — относительно лечения В. И., — на случай, если оно Вас заинтересует. Априорно говоря, доверия большого к предложению у меня нет. С товарищеским приветом — Л. Троцкий». Что именно предлагали американские эскулапы, мы не знаем. Но не приходится сомневаться, что оценка Троцкого была справедливой. Тогдашняя медицина была бессильна помочь Ленину. Впрочем, и сегодняшняя, наверное, тоже. Разве что довольно экзотическое и в наши дни шунтирование пораженных сосудов головного мозга, да и оно могло лишь ненадолго отсрочить конец.

С ноября здоровье Владимира Ильича стало постепенно ухудшаться. Художник Юрий Анненков, со сделанного которым портрета выпустили в 1924 году первую советскую марку с изображением Ленина, свидетельствовал: «В декабре 1923 года Л. Б. Каменев повез меня в Горки, чтобы я сделал портрет, точнее, набросок больного Ленина. Нас встретила Крупская. Она сказала, что о портрете и думать нельзя. Действительно, полулежавший в шезлонге, укутанный одеялом и смотревший мимо нас с беспомощной, искривленной младенческой улыбкой человека, впавшего в детство, Ленин мог служить только моделью для иллюстрации его страшной болезни, но не для портрета».

Ощущение приближающегося конца возникло в середине января 1924 года. Тогда в Москве открылась XIII партконференция. Ее участники хотели знать истинное состояние здоровья вождя, и 18 января Крупская по телефону передала для членов Политбюро: «Выздоровление идет удовлетворительно. Ходит с палочкой довольно хорошо, но встать без посторонней помощи не может… Произносит отдельные слова, может повторять всякие слова, совершенно ясно понимая их значение…

Начал читать по партдискуссии (на самом деле ему читали Надежда Константиновна и Мария Ильинична. — *Б. С.)*». Однако сама она, несмотря на оптимистический тон собственного сообщения, испытывала все большее беспокойство. Позднее в мемуарном очерке «Последние полгода жизни Владимира Ильича» Надежда Константиновна признавалась: «Начиная с четверга (т. е. с 17 января! — *Б. С.*), стало чувствоваться, что что-то надвигается; вид стал у В. И. ужасно усталый и измученный. Он часто закрывал глаза, как-то побледнел, а главное, у него как-то изменилось выражение лица, стал какой-то другой взгляд, точно слепой». Здесь можно усмотреть нечто символическое: человек, твердо уверенный в том, что видит путь в лучшее будущее, под конец жизни походил на слепца.

Развязка наступила 21 января 1924 года. Сохранился рассказ фельдшера Владимира Александровича Рукавишникова, дежурившего в этот день у постели Ленина: «20 января в 6 часов 30 минут я сменил Н. Попова… Он сказал кратко, что обозначились какие-то неопределенные симптомы, беспокоившие его: Владимир Ильич был слабее обычного, был вял и жаловался на глаза — как будто временами плохо видел. Из Москвы вызвали, профессора Авербаха для осмотра зрения Владимира Ильича.

Попов уехал в Москву, я остался. Владимир Ильич сидел в это время у себя в комнате с Надеждой Константиновной, и она читала вслух газету… В 7 часов 45 минут Мария Ильинична сказала мне, что ужин готов и что можно звать Владимира Ильича. За ужином Владимир Ильич почти ничего не ел.

Около 9 часов приехал профессор Авербах. Владимир Ильич, встречавшийся с ним раньше, приветствовал его любезным жестом. Профессор Авербах установил, что зрение прекрасно, что изменений со стороны дна глаза не имеется и что острота зрения та же, что была и прежде.

В 11 часов Владимир Ильич лег спать, и через 15 минут я слышал его ровное дыхание. Спал Владимир Ильич очень спокойно, и думалось, что все обойдется благополучно.

Утром 21-го в 7 часов, как всегда, поднялась Надежда Константиновна. Спросила, как прошла ночь, прислушалась к дыханию Ильича и сказала: «Ну, все, по-видимому, хорошо, выспится, и слабость вечерняя пройдет».

Около 8 часов подали кофе.

9 часов. Ильич еще спит. У меня и Надежды Константиновны все наготове для того, чтобы дать Ильичу умыться, когда он проснется. Я жду обычного зова, часто заглядываю в комнату, потому что настороженность не улетучилась: Ильич все спит.

Около 10 часов — шорох. Владимир Ильич просыпается. «Что, Владимир Ильич, будете вставать?» Ответ неопределенный. Вижу, что сон его ничуть не подкрепил и что он значительно слабее, нежели был вчера. Сообщил об этом профессорам Ферстеру и Осипову. Тем временем Владимиру Ильичу принесли кофе, и он выпил его в постели. Выпил, несколько оживился, но вставать не стал и скоро опять уснул.

Профессор Ферстер и я не отходили от дверей спальни. Тут же были и Надежда Константиновна, и Мария Ильинична. Все насторожены, но Ильич спит спокойно, так спокойно, так хорошо, что опять пробивается уверенность, что Ильич проснется освеженным и все пойдет по-хорошему. Так хотелось, так думалось, но не так было на самом деле.

В 2 часа 30 минут Ильич проснулся, еще более утомленный, еще более слабый. К нему зашел профессор Осипов, посмотрел пульс и нашел, что это слабость, ничего угрожающего нет. Мария Ильинична принесла обед. Ильич выпил в постели чашку бульона и полстакана кофе. Принятая пища не оживила Ильича, и он становился все слабее и слабее. Профессор Осипов и профессор Ферстер непосредственно наблюдали за ним.

Около 6 часов у Владимира Ильича начался припадок, судороги сводили все тело. Профессор Ферстер и профессор Осипов не отходили ни на минуту, следили за деятельностью сердца и пульса, а я держал компресс на голове Владимира Ильича. В 6 часов 35 минут я заметил, что температура вдруг поднялась. Я сказал об этом профессору Осипову, он и профессор Ферстер сразу даже не поверили этому и сказали, что это ошибка. Но это не было ошибкой — через 3 минуты Владимира Ильича не стало».

Агонию Ленина описала и Крупская (можно только догадываться, каких душевных переживаний ей это «свидетельство для истории» стоило): «Все больше и больше клокотало у него в груди. Бессознательнее становился взгляд, Владимир Александрович (Рукавишников. — *Б. С.)* и Петр Петрович (начальник охраны Пакалн. — *Б. С.)* держали его почти на весу на руках, временами он глухо стонал, судорога пробегала по телу, я держала его сначала за горячую мокрую руку, потом только смотрела, как кровью окрасился платок, как печать смерти ложилась на мертвенно побледневшее лицо. Профессор Ферстер и доктор Елистратов впрыскивали камфару, старались поддерживать искусственное дыхание, ничего не вышло, спасти нельзя было». Смерть наступила в 18 часов 50 минут 21 января 1924 года. «Ende» (конец (нем.). — *Б. С.*) — бесстрастно констатировал профессор Ферстер.

Это было самое сильное потрясение в не слишком богатой на события жизни Надежды Константиновны. Как признавалась она впоследствии: «Время у меня спуталось как-то». И первой, кому Крупская написала письмо о последних мгновениях Ильича, была Инна Арманд. 28 января 1924 года Надежда Константиновна собралась наконец с силами, чтобы сообщить близкому человеку, как все было: «Милая, родная моя Иночка, схоронили мы Владимира Ильича вчера. Хворал он недолго в последний раз. Еще в воскресенье (20 января. — *Б. С.*) мы с ним занимались, читала ему о партконференции и о съезде Советов. Доктора совсем не ожидали смерти и еще не верили, когда началась агония. Говорят, он был в бессознательном состоянии, но теперь я твердо знаю, что доктора ничего не понимают. Вскрытие обнаружило колоссальный склероз (в чем врачи, собственно, и прежде не сомневались; другое дело, что причину склероза так и не установили, — *Б. С.*). Могло быть много хуже, могли быть новые параличи… Каждый новый припадок заставлял холодеть. Сейчас гроб еще не заделали, и можно будет поглядеть на Ильича еще. Лицо у него спокойное-спокойное. Стоял он в Доме Союзов, было там все очень хорошо…»

Крупская еще не знала, что гроб так и не заделают, а набальзамированное тело вождя поместят в мавзолей у кремлевской стены, рядом с дорогой Ильичу могилой Инессы Арманд, на вечное сохранение, словно в ожидании грядущего воскресения. Живой бог превратился в икону. Хотя еще 30 января 1924 года Надежда Константиновна выступила в «Правде» с письмом, где, в связи с созданием фонда для сооружения «памятников Ильичу», как будто предупреждала против посмертного обожествления мужа: «Большая у меня просьба к вам: не давайте своей печали по Ильичу уходить во внешнее почитание его личности. Не устраивайте ему памятников, дворцов его имени, пышных торжеств в его память и т. д. — всему этому он придавал при жизни так мало значения, так тяготился всем этим». Однако если вдуматься, вчитаться в эти строки, то вдова вождя здесь выступает лишь против внешних форм его почитания. Лучшим памятником Ильичу, по убеждению Надежды Константиновны, должно было стать построение социализма и коммунизма, овладение единственно верным учением, которое вскоре назовут ленинизмом. Крупскую смущало, что тело Ленина собираются поместить в мавзолей — от этого веяло какими-то восточными религиями, а она давно уже была последовательной атеисткой.

Но партийному руководству удалось уломать вдову: нельзя же лишать миллионы современников и потомков возможности лицезреть воочию гения всех времен! Сталину, Зиновьеву, Каменеву и другим вождям нужны были мощи главного святого новой религии. Бывший управляющий делами Совнаркома при Ленине Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич вспоминал: «Надежда Константиновна, с которой я постоянно беседовал по этому вопросу, была против мумификации Владимира Ильича. Но идея сохранения облика Владимира Ильича столь охватила всех, что была крайне необходима, крайне нужна для миллионов пролетариата, и всем стало казаться, что всякие личные соображения надо оставить и присоединиться к общему желанию («большинства Политбюро», не рискнул добавить Владимир Дмитриевич. — *Б. С.*)».

Крупская подчинилась партийной дисциплине, не в первый раз поступилась «личными соображениями» для пользы революции. Вряд ли она тогда сознавала, что обожествление Ленина избавит ее от невеселой участи других старых большевиков, в своем большинстве не переживших 37-го года. Хотя еще в июле 1924 года на VI съезде комсомола она призывала: «Ленина не надо превращать в икону, надо, чтобы его идеи служили руководством к действию». Получилось же так, что

и в икону Ильича превратили, и многие его идеи претворили в действительность — и насчет террора, и насчет изъятия излишков хлеба у крестьян (это, как мы помним, Ленина и перед самой смертью очень волновало), и об идеологической монополии партии в Советском государстве и подавлении всякого инакомыслия. Надежде Константиновне очень скоро пришлось испытать борьбу с инакомыслием на собственной шкуре.

В первые дни после кончины Ильича Инна Арманд написала Надежде Константиновне проникновенное письмо: «Милая моя, любимая моя, моя родная, обнимаю тебя и целую так крепко, так крепко. Глаза твои дорогие целую. Все мои мысли, все думы с тобой… Милая моя, родная, я знаю, утешить ведь нельзя, но все-таки ты думай о том, что ты не совсем одна, что у тебя есть еще твои девочки, как ты нас называешь, и что мы тебя крепко, крепко любим и вместе с тобой ужасно горюем о Владимире Ильиче. Он ведь такой дорогой, любимый, я все не хотела верить. Как же это может быть? Здесь (Инесса вместе с мужем, немецким коммунистом Гуго Эберлейном, работала в советском торгпредстве в Германии. — *Б. С.)* все товарищи так тяжело переживают это общее горе. Вчера была ячейка, так никто не мог хорошенько говорить, так все плакали. Если бы я могла к тебе приехать, обнять тебя, с тобой вместе быть все время. Ты бы, может быть, на ясные глазенки моей девочки немножко бы порадовалась. Я буду тебе писать, моя дорогая, любимая моя. И ты, когда сможешь, когда будет легче, напиши мне, мне ведь так тяжело и одиноко здесь стало, что прямо ужас. Там у вас, я знаю, все товарищи подтянутся, сомкнутся теснее, будут дружнее работать. Так бы хотелось быть с вами, вместе горевать и вместе, сжав зубы, начать упорнее и лучше дальше работать. Целую тебя много раз, моя родная, любимая, беспрестанно думаю о тебе и о нашем дорогом Ильиче. Гуго крепко, крепко жмет тебе руку. Твоя Ина. Как только будет малейшая возможность, приеду к тебе обязательно, моя родная».

Насчет того, что после смерти вождя партийцы «подтянутся», «сомкнутся» и начнут «дружнее работать», дочь Инессы Федоровны сильно ошибалась. Из прекрасного германского далека, наверное, трудно было увидеть, что уже в последние месяцы жизни Ленина в партийной верхушке началась напряженная борьба за власть. В эту борьбу предстояло быть втянутой и Крупской. Поддержка вдовой Ленина одной из враждующих фракций стала определенным политическим капиталом. Тем самым соответствующая группировка как бы освящала свою деятельность именем Ильича. Надежда Константиновна превращалась в символическую фигуру

хранительницы ленинских заветов.

Последние месяцы жизни Ленина были омрачены для Крупской еще и сознанием того, что муж ее все-таки не любит. Даже окружающие подметили, что Ильич особенно радовался появлению Марии Ильиничны, а присутствие Надежды Константиновны его порой раздражало. Хотя Ленин, ценя самоотверженную преданность жены, старался скрывать от нее свою нелюбовь. Рукавишников запечатлел характерный эпизод: «Однажды я был невольным свидетелем и такого: Ильич сидит с Надеждой Константиновной. Она читает, он внимательно слушает. Иногда требует перечитать то или другое место. Настроение, кажется, у обоих прекрасное. Но вот она вышла. Ильич уселся, закрыв несколько лицо рукой, облокотившись на стол в задумчивой позе… И вдруг из-под руки катятся слезы… Чу, шорох. Шаги. Кто-то идет. Ильич выпрямился. Смахнул слезы. Взялся за книжку, как будто ничего не было…» Как знать, не вспоминал ли Ленин в такие минуты Инессу Арманд…

Надежда Константиновна постепенно оправлялась от пережитого потрясения. Сотрудница наркомата просвещения А. И. Радченко 3 февраля записала в дневнике: «Сегодня Надежда Константиновна впервые после смерти Ленина пришла на заседание Наркомпроса. Похудела донельзя за это время — какая-то тень. Ей, видно, было очень тяжело от соболезнующих взглядов украдкой». А Варя Арманд вспоминала: «Надежда Константиновна, чтобы не оставаться наедине с непоправимым горем, с головой ушла в партийные дела и работу в Наркомпросе».

Крупская 14 июня 1924 года писала Варе, отдыхавшей после воспаления легких в Сууксу: «Я живу по-прежнему: была на своей излюбленной Прохоровке, на Государственной мануфактуре, на фабрике Ливерса — околачивалась там, даже младенца октябрила (речь идет об октябринах — введенном большевиками обряде, пародирующем крещение; плодом этого обряда стали многочисленные в 20-е годы Индустрины, Вилены, Октябрины и даже Трактора. — *Б. С.*). Очень я люблю на фабриках бывать. Ну и у молодежи была, старалась — на рабфаке Покровского, в 1-м МГУ, у тимирязевцев, — доклады по работе в деревне делала. Еще по ликвидации безграмотности. Поеду еще в Тверь, Ярославль, Иваново-Вознесенск. На отдых не поеду, но дня три в неделю буду проводить в Горках, была уже на прошлой неделе, еду сегодня. Там писать лучше. Маняша (М. И. Ульянова. — *Б. С.)* все прихварывает. Сегодня напускают на меня тоже докторов, но я согласна только пить какую угодно мерзопакость, но режиму ихнему подчиняться не стану, наперед говорю… Я сейчас

специализировалась на работе в деревне, и меня запрягают во всякие комиссии по работе в деревне, работы все прибывает. Поэтому не бываю и в Институте Ленина… У меня теперь много новых карточек Владимира Ильича».

Всю оставшуюся жизнь Надежда Константиновна писала мемуары о Ленине. Но не это отнимало основную массу времени. Крупскую все больше засасывало бюрократическое болото. Что, спрашивается, понимала она в жизни российской деревни, которую знала только по безбедной ссыльной жизни в богатом Шушенском? И много ли толку было от ее заседаний в бесчисленных комиссиях? Позднее, в сентябре 1929 года, выступая на партконференции Бауманского района Москвы, Надежда Константиновна нарисовала совершенно апокалиптическую картину: «Спишь, бывало, ночью и видишь: лежат перед тобой просвещенские дела, и кто-то их объедает. И это — Наркомфин. Следует только на месяц уехать — страх! — что-нибудь уже случилось. Приходится вести борьбу за каждый вопрос. Сейчас идет бешеная борьба за перестройку дела народного образования (эта борьба шла и в 1924 году, и в любом другом из 70 с лишним годов существования Советской власти, иначе, как через борьбу и перестройку, дело просвещения устраивать не умели. — *Б. С.)*. Но мы одни — просвещенцы — сделать многое бессильны. У нас нет достаточной базы, нет достаточного внимания масс». Так и видишь кипы бумаг, пожираемых чудовищем Наркомфином! И в этом бумажном море Крупской предстояло плыть всю жизнь, читая массу входящих и исходящих, участвуя в бесчисленных заседаниях по согласованию проектов и программ. Хотя, конечно, до ленинского рекорда в 40 заседаний в день ей было далеко.

Еще в 1921 году в одной из статей Надежда Константиновна ратовала за внедрение в советских учреждениях применяемой на американских фабриках системы Тейлора. Эта система, как известно, заключается в целесообразном разделении труда и максимальной рационализации трудовых движений. Крупская наивно верила, что бюрократизм можно изжить — стоит только ввести рациональные методы управления: «Кто виноват тут — злые саботажники, старые чинушки, влезшие в наши комиссариаты, советские барышни? Нет, корень бюрократизма кроется не в злой воле тех или иных лиц, а в отсутствии умения планомерно и рационально организовать работу… Служащих советских учреждений, служащих народных комиссариатов… необходимо возможно детальнее ознакомить с методами производительности труда… Только путем повышения уровня сознательности всех служащих, только путем вовлечения их в

дело повышения производительности труда комиссариатов возможно действительное улучшение дела и уничтожение не на словах, а на деле мертвого бюрократизма».

К чести Надежды Константиновны, она не стала объяснять рост бюрократизма происками врагов. Позднее, в 37-м, такое объяснение стало пропагандистским прикрытием репрессий против старых партийных кадров. Однако убеждение в том, что достаточно научить чиновников, как оптимальным образом раскладывать папки на столе и пользоваться арифмометром, и повысить уровень их сознательности, чтобы изжить бюрократизм, на поверку тоже оказалось мифом. На практике в сфере управления действует не система Тейлора, а закон Паркинсона — каждое учреждение стремится к увеличению своих штатов, независимо от увеличения или уменьшения своих функций. Реально уменьшает бюрократизм только уменьшение роли государства в жизни страны. Социализм же передает государству едва ли не все функции по регулированию экономики и общественной жизни. Поэтому в СССР рост бюрократизма был совершенно неизбежен. Никакие попытки ввести рациональные системы управления ограничить разрастание бюрократии не могли. И, как мы видели, Крупской в 29-м году ситуация в этом отношении не представлялась лучшей, чем в 21-м. Хотя, конечно, бюрократы всех уровней, от наркома до простого канцеляриста, стали грамотнее, и оргтехники в учреждениях прибавилось.

Но в середине 20-х годов Крупская гораздо больше внимания вынуждена была уделять не рационализации управленческого труда и педагогике, а политике. Сразу после первого приступа болезни вождя началась пока еще скрытая от глаз общественности борьба за ленинское наследство. И в этой борьбе Надежде Константиновне предстояло определить свое место.

Из членов Политбюро в личном плане наиболее близки Ленину, а значит, и Крупской, были Зиновьев и Каменев. С ними Владимира Ильича и Надежду Константиновну связывало многолетнее совместное пребывание в эмиграции. Однако третий и главный член триумвирата — генсек Сталин симпатий у Крупской не вызывал. А после декабрьского инцидента отношения у них вообще были довольно натянутыми, хотя формально корректными.

С другой стороны, Надежда Константиновна не могла не знать, что в последние месяцы своей сознательной жизни Ленин, до того, как лишился способности излагать свои мысли, сблизился с Троцким и поддерживал его против Сталина. В первые недели после смерти мужа Крупская попыталась установить с Львом Давидовичем более тесный контакт, чем

прежде. Так, 29 января 1924 года она направила Троцкому письмо с приятным для его тщеславной натуры известием:

> «Я пишу, чтобы рассказать Вам, что приблизительно за месяц до смерти, просматривая вашу книжку, Владимир Ильич остановился на том месте, где вы даете характеристику Маркса и Ленина, и просил меня перечесть ему это место, слушал очень внимательно, потом еще раз просматривал сам. И вот еще что хочу сказать: то отношение, которое сложилось у В. И. к вам тогда, когда вы приехали к нам в Лондон из Сибири, не изменилось у него до самой смерти. Я желаю вам, Лев Давыдович, сил, здоровья и крепко обнимаю».

Позднее Троцкий уже в эмиграции в одной из статей после ее смерти назвал Крупскую «искренней и деликатной женщиной», вероятно, имея в виду и это письмо. А в своих мемуарах так его прокомментировал: «Она брала две крайние точки связи с Лениным: октябрьский день 1902 года, когда я, после побега из Сибири, поднял Ленина ранним утром с его жесткой лондонской постели, и конец декабря 1923 года, когда Ленин дважды перечитывал мою оценку его жизненного дела».

Здесь имелось в виду следующее место из статьи Троцкого «О пятидесятилетием (Национальное в Ленине)», написанной в 1920 году: «Ленин отражает собой рабочий класс не только в его пролетарском настоящем, но и в его столь еще свежем крестьянском прошлом. У этого самого бесспорного из вождей пролетариата не только мужицкая внешность, но и крепкая мужицкая подоплека. Перед Смольным стоит памятник другому большому человеку мирового пролетариата: Маркс на камне, в черном сюртуке… Ленина даже мысленно никак не оденешь в черный сюртук. На некоторых портретах Маркс изображен с широко открытой крахмальной манишкой, на которой болтается что-то вроде монокля… Маркс родился и вырос на иной национально-культурной почве, дышал иной атмосферой, как и верхи немецкого рабочего класса своими корнями уходят не в мужицкую деревню, а в цеховое ремесло и в сложную городскую культуру средних веков». Вероятно, Ленину в конце жизни лестно сознавать, что он стоит вровень с Марксом, да еще и ближе по духу, чем основоположник учения, к простому народу».

Лев Давыдович продолжал: «Между этими двумя точками прошли два десятилетия, сперва совместной работы, затем жестокой фракционной борьбы и снова совместной работы на более высокой исторической основе. По Гегелю: тезис, антитезис, синтезис. И Крупская свидетельствовала, что отношение ко мне

Ленина, несмотря на длительный период антитезиса, оставалось «лондонским»: это значит — отношением горячей поддержки и дружеской приязни, но уже на более высокой исторической основе».

У Надежды Константиновны вполне хватило такта не уточнять в коротком письме, что между октябрем 1902-го и декабрем 1922-го Ленин не раз и не два награждал Троцкого совсем не парламентскими эпитетами, из которых «иудушка» еще самый мягкий. Были еще и «шельмец», и «подлец», и некоторые другие из того же ряда. Но сейчас Крупская пыталась привлечь Льва Давидовича на свою сторону против Сталина, и старого поминать не стоило.

Однако Троцкий не оправдал возлагавшихся на него надежд. Председатель Реввоенсовета в тот момент, равно как в последние месяцы жизни Ленина, был тяжело болен эпилепсией, на время вынужден был отойти от активной политической жизни и не сумел противостоять Сталину и его временным союзникам..

Надежда Константиновна ощущала некоторую двойственность своего положения. Дружба с Зиновьевым и Каменевым и одновременно — весьма прохладные отношения со Сталиным. Троцкий ей не слишком хорошо знаком, но Ильич проявлял большой интерес к этому человеку и явно поддерживал многие его начинания. Так что и с Львом Давидовичем ссориться тоже очень не с руки. Поэтому идеальным для Крупской было бы достижение компромисса между различными фракциями и восстановление единства партии. К тому же самому стремился и Ленин, опасавшийся, что соперничество Троцкого и Сталина расколет партию и тем самым ослабит ее способность удержать завоевания русской революции и осуществить революцию мировую.

Еще при жизни Ильича, 31 октября 1923 года, Крупская писала Зиновьеву по поводу только что состоявшегося объединенного пленума ЦК и ЦКК, на котором Троцкий был подвергнут нападкам за свое требование демократизации внутрипартийной жизни: «Дорогой Григорий, после пленума я написала Вам письмо, но Вы уезжали, и письмо лежало. Теперь, перечитывая его, я решила не отправлять его Вам, так заострены в нем все вопросы. В атмосфере той «свободы языка», которая царила на пленуме, оно было уместно и понятно, но через неделю оно звучит иначе… Во всем этом безобразии… приходится винить не одного Троцкого. За все происшедшее приходится винить и нашу группу: Вас, Сталина и Каменева. Вы могли, конечно, но не захотели предотвратить это безобразие. Если бы Вы не могли этого сделать, это бы доказывало полное бессилие нашей группы,

полную ее беспомощность. Нет, дело не в невозможности, а в нежелании. Наши сами взяли неверный, недопустимый тон. Нельзя создавать атмосферу тихой склоки и личных счетов.

Рабочие — я говорю не о рабочих вроде Евдокимова либо Залуцкого (партийных функционеров. — *Б. С.),* рабочих по происхождению, но уже давно превратившихся в профессионалов, а о рабочих с завода и фабрики, — резко осудили бы не только Троцкого, но и нас. Здоровый классовый инстинкт рабочих заставил бы их резко высказаться против обеих сторон, но еще резче против нашей группы, ответственной за общий тон. Вот почему все так боялись, что эта склока будет вынесена в массы. От рабочих приходится скрывать весь инцидент. Ну, а вожди, которые должны что-то скрывать от рабочих (я не говорю про чисто конспиративные дела — то особая статья), не смеют всего им сказать, — что же это такое? Так нельзя.

Совершенно недопустимо также злоупотребление именем Ильича, которое имело место на пленуме. Воображаю, как он был бы возмущен, если бы знал, как злоупотребляют его именем. Хорошо, что меня не было, когда Петровский сказал, что Троцкий виноват в болезни Ильича, я бы крикнула: это ложь, больше всего В. И. заботил не Троцкий, а национальный вопрос и нравы, водворившиеся в наших верхах. Вы знаете, что В. И. видел опасность раскола не только в личных свойствах Троцкого, но и в личных свойствах Сталина и других. И потому, что Вы это знаете, ссылки на Ильича были недопустимы, неискренни. Их нельзя было допускать. Они были лицемерны. Лично мне этй ссылки приносили невыносимую муку. Я думала: да стоит ли ему выздоравливать, когда самые близкие товарищи по работе так относятся к нему, так мало считаются с его мнением, так искажают его?

А теперь главное. Момент слишком серьезен, чтобы устраивать раскол и делать для Троцкого психологически невозможной работу. Надо попробовать с ним по-товарищески столковаться. Формально сейчас весь одиум (в данном случае — вина. — *Б. С.)* за раскол свален на Троцкого, но именно свален, а по существу дела — разве Троцкого не довели до этого? Деталей я не знаю, да и не в них дело — из-за деревьев часто не видать леса, — а суть дела: надо учитывать Троцкого как партийную силу и суметь организовать такую ситуацию, где бы эта сила была для партии максимально использована. Ну, вот, сказала, что у меня лежит на душе».

Разумеется, никто из триумвиров «по-товарищески» столковываться с Троцким в тот момент не собирался. Григорию Евсеевичу и Льву Борисовичу и в страшном сне не могло

привидеться, что через каких-нибудь два года придется срочно пытаться сформировать блок со злейшим врагом, Львом Давидовичем, в безнадежной попытке остановить продвижение к абсолютной власти Иосифа Виссарионовича. «Чудесный грузин» всех их потом и прикончил.

Показательно, что, несмотря на критические замечания, группу Каменева, Зиновьева и Сталина Надежда Константиновна называет «нашей». Троцкий для нее не только не «наш», но и вообще некая сила, чуть ли не внешняя по отношению к партии, которую только надо использовать в интересах партии. Использовать, пока в этом есть необходимость, а там… Мавр сделал свое дело, мавр должен уйти. Интересно, Крупская выражала здесь свое мнение, или повторяла слова Ильича?

Троцкий так излагал историю своих взаимоотношений с Лениным в период болезни Ильича: «Ленин чуял, что в связи с его болезнью, за его и за моей спиною плетутся пока еще почти неуловимые нити заговора… Нет никакого сомнения в том, что для текущих дел Ленину было во многих случаях удобнее опираться на Сталина, Зиновьева или Каменева, чем на меня. Озабоченный неизменно сбережением своего и чужого времени, Ленин старался к минимуму сводить расход сил на преодоление внутренних трений. У меня были свои взгляды, свои методы работы, свои приемы для осуществления уже принятых решений. Ленин достаточно знал это и умел уважать. Именно поэтому он слишком хорошо понимал, что я не гожусь для поручений. Там, где ему нужны были повседневные исполнители его заданий, он обращался к другим… Так, своими заместителями по председательствованию в Совете народных комиссаров Ленин привлек сперва Рыкова и Цюрупу, а затем… Каменева. Я считал этот выбор правильным. Ленину нужны были послушные практические помощники. Для такой роли я не годился…

В последние недели перед вторым ударом (т. е. в ноябре или начале декабря 1922 года. — *Б. С.)*… Ленин имел со мной большой разговор о моей дальнейшей работе… «Да, бюрократизм у нас чудовищный, — заметил Ленин, — я ужаснулся после возвращения к работе… Но именно поэтому вам не следует, по-моему, погружаться в отдельные ведомства сверх военного… Вам необходимо стать моим заместителем (в Совнаркоме. — *Б. С.*)». Я… сослался на «аппарат», который все более затрудняет мне работу даже и по военному ведомству. «Вот вы и сможете перетряхнуть аппарат», — живо подхватил Ленин, намекая на употребленное мною некогда выражение. Я ответил, что имею в виду не только государственный бюрократизм, но и партийный; что суть всех трудностей состоит в сочетании двух аппаратов и во

взаимном укрывательстве влиятельных групп, собирающихся вокруг иерархии партийных секретарей. Ленин слушал напряженно и подтверждал мои мысли тем глубоким грудным тоном, который у него появлялся, когда он, уверившись в том, что собеседник понимает его до конца, и отбросив неизбежные условности беседы, открыто касался самого важного и тревожного. Чуть подумав, Ленин поставил вопрос ребром: «Вы, значит, предлагаете открыть борьбу не только против государственного бюрократизма, но и против Оргбюро ЦК (определявшего кадровую политику. — *Б. С.*)?» Я рассмеялся от неожиданности. Оргбюро ЦК означало самое средоточие сталинского аппарата. «Пожалуй, выходит так». «Ну, что ж, — продолжал Ленин, явно довольный тем, что мы назвали по имени существо вопроса, — я предлагаю вам блок: против бюрократизма вообще, против Оргбюро в частности». «С хорошим человеком лестно заключить хороший блок», — ответил я. Мы условились встретиться снова через некоторое время. Ленин предлагал обдумать организационную сторону дела. Он намечал создание при ЦК комиссии по борьбе с бюрократизмом (получалось: ударим бюрократизмом по бюрократизму! — *Б. С.)*. Мы оба должны были войти в нее. По существу эта комиссия должна была стать рычагом для разрушения сталинской фракции, как позвоночника бюрократии, и для создания таких условий в партии, которые дали бы мне возможность стать заместителем Ленина, по его мысли: преемником на посту председателя Совнаркома. Только в этой связи становится полностью ясен смысл так называемого завещания… Бесспорная цель завещания: облегчить мне руководящую работу». По утверждению Троцкого, только обострение ленинской болезни помешало успеху задуманного блока.

Думаю, что подобный разговор между Лениным и Троцким действительно мог быть. Только Владимир Ильич про себя думал немножко другое, чем понял Лев Давидович. Ленин чувствовал во все усиливавшемся контроле Сталина над партийным аппаратом угрозу собственной власти, особенно в связи с болезнью. Ильич тогда еще надеялся, что время для активной политической деятельности у него есть. И надеялся, что сможет сам огласить «завещание» на одном из партийных съездов.

Вероятно, Ленин рассчитывал после перемещения Сталина с поста генсека вновь придать этой должности чисто технические функции, а центром власти сделать Совнарком. И, чтобы гарантировать сохранение своего влияния на периоды, когда болезнь не позволит осуществлять непосредственное руководство, разработал «систему сдержек и противовесов» (сегодня эту

систему часто считают фирменным изобретением первого российского президента). Троцкий замещал бы Ильича на посту председателя Совнаркома, но имел бы, в свою очередь, трех не слишком симпатизирующих ему заместителей — Каменева, Рыкова и Цюрупу. Кроме того, противовесом Троцкому оставался бы и Сталин, который тоже получил бы в системе власти не последний пост.

Предлагаемая комиссия по борьбе с бюрократизмом была чистой фикцией, и сам Ильич это понимал. Он рассчитывал, что Троцкий клюнет на это предложение и решит, что получит действенный рычаг укрепления своего влияния. На самом деле, как показал опыт советских десятилетий, неоднократно создававшиеся комиссии такого рода только умножали бюрократизм. Они призваны были лишь создать у народа впечатление, что власть борется с бюрократами. Однако болезнь свела на нет ленинский замысел.

После смерти Ленина Троцкий в борьбе со Сталиным изначально был обречен на поражение. Хотя Владимир Ильич и предупреждал в «Письме к съезду», чтобы Льву Давидовичу не ставили в вину его прежний «небольшевизм», большинство в Политбюро и ЦК думало иначе. В борьбе за овладение руководством большевистской партии Троцкий в принципе не мог одержать верх. Тут играло свою роль и предубеждение по отношению к нему основной части членов партии, помнящих о его выступлениях против большевиков, и сталинский контроль над партийным аппаратом.

Для председателя Реввоенсовета и наркома по военным и морским делам единственным реальным путем к власти оставался путь военного переворота. Троцкий был по-прежнему популярен среди командного состава и рядовых красноармейцев. В его руках был контроль над аппаратом Красной Армии. Технически вооруженный захват власти после смерти Ленина был вполне осуществим. Многие сторонники искушали Льва Давидовича этой заманчивой перспективой. Но Троцкий мысль о перевороте отверг. Чем бы в таком случае он отличался от какого-нибудь латиноамериканского диктатора или только что, в 1922 году, осуществившего успешный «поход на Рим» Муссолини? Троцкому нужна была не просто власть в России, а власть для осуществления определенной идеи — мировой пролетарской революции. Россия нужна была как плацдарм, но главным образом — как пример для такой революции. В экспорт мировой революции на штыках Красной Армии Лев Давидович после неудачи польского похода не верил. Но в утопию самой революции продолжал, в отличие от Сталина, свято верить до

своего последнего дня.

Когда ретроспективно бросаешь взгляд на тройку самых выдающихся большевистских вождей — Ленина, Сталина и Троцкого, — то сознаешь, что только последний по своим способностям мог бы вполне вписаться в западную демократическую систему. Администратор, оратор и публицист, в отличие от Владимира Ильича и Иосифа Виссарионовича, Лев Давидович был превосходный. Если бы Троцкий, например, остался бы в 1902 году в Англии, то мог сблизиться с местными лейбористами, сделал бы успешную партийную карьеру и, глядишь, в 20-е годы стал бы министром лейбористского кабинета, а со временем — может, и премьером. Сценарий, конечно, фантастический, но не такой уж невероятный. Ведь Троцкий в начале века еще не запятнал себя революционным террором, руки у него не были по локоть в крови. Для обычной карьеры «буржуазного» политика требовалось только одно — отказаться от идеи мировой пролетарской революции. И Троцкий вполне смог бы вписаться в политический истэблишмент что Англии, что США. Но он никогда, ни до 1917 года, ни после изгнания из СССР, даже не пытался этого сделать.

Что же касается Ленина и Сталина, то представить себе их заседающими в американском Сенате или британском парламенте просто невозможно. Таланты этих советских вождей нашли свое применение для создания сплоченной и дисциплинированной партии, нацеленной на захват власти насильственным путем. Ленин и Сталин также умели сохранить, путем искусных интриг, руководство такой партии уже после взятия ею власти в России. Но в условиях западной демократии эти таланты не были бы востребованы. Ленин и Сталин могли руководить государством с жесткой централизацией власти и в отсутствие основных демократических свобод. Вряд ли бы в той же Англии они могли бы претендовать даже на роль парламентариев-заднескамеечников. Однако в условиях революционной России политик типа Троцкого неизбежно должен был потерпеть поражение, а типа Ленина и Сталина — одержать победу.

Крупская чувствовала, что Троцкому верх не одержать. И не спешила присоединиться к, в общем чуждому ей, лагерю оппозиции. Однако в начале 1925 года, вскоре после снятия Троцкого с поста главы военного ведомства, Зиновьев и Каменев наконец поняли, что Сталин медленно, но верно уменьшает их роль в принятии действительно важных решений. Закадычные друзья увидели, что их большинство по отношению к генсеку в руководящей «тройке» уже ничего не значит, поскольку Сталин

расставил своих людей в ЦК. Зиновьев и Каменев решили объединиться с опальным Троцким и дать бой Сталину и его сторонникам. Местом сражения был избран XIV съезд партии, проходивший в Москве с 18 по 31 декабря 1925 года. Первоначально съезд планировалось провести в Ленинграде, где Зиновьев мог опереться на преданную ему местную парторганизацию. Однако сталинское большинство ЦК настояло на переносе съезда в столицу под предлогом, что в противном случае будет парализована работа правительственных органов. Крупская на этот раз поддержала так называемую «новую оппозицию» Сталину. Однако во время съезда на стороне Зиновьева и Каменева, кроме ленинградской делегации, почти никто не выступил. Ведь подавляющее большинство делегатов назначалось аппаратом генерального секретаря, и свободные выборы даже в партии уже успели превратиться в фикцию. Троцкий, видя безнадежность положения, не стал выступать на съезде с речью. Крупская же была среди выступавших и подверглась откровенной обструкции со стороны сталинистов.

Ее речь замечательна во многих отношениях. Надежда Константиновна для начала заявила: «В прежние времена наша партия складывалась в борьбе с меньшевизмом и эсерством, в спорах с ними у членов партии складывалось убеждение, что именно большевистская линия — наиболее правильная линия. Теперь, товарищи, мы живем в других условиях… Конечно, в борьбе с меньшевиками и эсерами мы привыкли крыть наших противников, что называется, матом, и, конечно, нельзя допустить, чтобы члены партии в таких тонах вели между собой полемику».

Эти слова заставили меня вспомнить давний эпизод, когда мы с будущей женой зашли как-то днем съесть скромный комплексный обед в ресторан «Витязь». Невдалеке за столиком сидели две молодые официантки и в образных русских выражениях обсуждали сравнительные достоинства и недостатки своих мужей. Другая официантка, пожилая женщина, укоризненно им заметила: «Девочки, что ж вы матом на весь зал!» Такое впечатление, что Крупская точно также и с теми же шансами на успех пыталась увещевать своих коллег-делегатов: «Девочки, т. е., виновата, товарищи, что ж вы матом-то на весь зал, на своих же партийных товарищей! Одно дело, когда мы пускали матюги во всяких там меньшевиков и эсеров! Тут, как говорится, сам бог, т. е. (опять виновата, оговорилась) Ленин велел! Дело святое! Но своих партийцев матом никак нельзя! Потому что большевистская линия в целом — единственно правильная, а тех, кто от нее отклоняется, всегда можно

поправить, подискутировать, может, и самому в чем поправиться».

Надежда Константиновна не замечает порочности своей аргументации. Раз признается, что «большевистская линия — наиболее правильная линия», то новые условия, когда меньшевиков и эсеров благополучно свели к ногтю, ничего принципиально не меняют. Раз есть генеральная линия партии, всегда можно найти новых меньшевиков-отступников, ее не придерживающихся. И поступить с ними соответствующим образом: сначала матом, потом в ссылку, а в конце концов — к стенке. И непонятно, почему Крупская, Зиновьев, Каменев и другие оппозиционеры обижались, что на съезде их, действительно, едва ли не матом крыли. «Новая оппозиция» заняла положение прежних эсеров и меньшевиков и неизбежно должна была разделить их судьбу.

Свою речь Надежда Константиновна закончила противопоставлением взглядов Ленина той линии, которой придерживалось большинство съезда: «Владимир Ильич говорил: ученье Маркса непобедимо, потому что оно верно. И наш съезд должен озаботиться тем, чтобы искать и найти правильную линию. В этом — его задача. Нельзя успокаивать себя тем, что большинство всегда право. В истории нашей партии бывали съезды, где большинство было неправо. Вспомним, например, стокгольмский съезд (Шум. Голоса: «Это тонкий намек на толстые обстоятельства».) Большинство не должно упиваться тем, что оно большинство, а беспристрастно искать верное решение. Если оно будет верным (Голос: «Лев Давыдович, у вас новые соратники»)… оно направит нашу партию на новый путь.

Нам надо сообща искать правильную линию. Громадное значение съезда в том и состоит, что этот съезд дает выражение коллективной мысли… Я думаю, что тут неуместны крики о том, что то или это — истинный ленинизм. В последние дни я, между прочим, перечитала и первую главу книжки Владимира Ильича «Государство и революция», написанной им как раз после июльских дней (1917 года. — *Б. С.*), когда он сам был на краю гибели. Там он писал: «В истории были случаи, когда учение великих революционеров искажалось после их смерти. Из них делали безвредные иконы, но, предоставляя их имени почет, притупляли революционное острие их учения». Я думаю, что эта горькая цитата заставляет нас не покрывать те или другие наши взгляды кличкой ленинизма, а надо по существу дела рассматривать тот или иной вопрос. Я думаю, товарищи, что сейчас о расколе, о недоверии к ЦК и т. д. не может быть речи. Не о том сейчас идет речь. Сейчас идет речь о том, как нам для

дальнейшего установить рамки совместного обсуждения постоянно вновь и вновь возникающих в ходе работы вопросов, установить рамки такие, чтобы в этих рамках возможно было товарищеское обсуждение вопроса».

Когда же Надежда Константиновна при обсуждении работы ЦКК вторично взяла слово, ей просто не давали говорить, постоянно прерывая хорошо срежиссированными выкриками с мест. Потому что говорила Крупская совсем крамольные вещи, вполне в духе ленинского завещания и предлагавшегося Ильичом блока с Троцким: «…В силу нашего устава у нас есть Оргбюро и Секретариат с громадной властью, дающей им право перемещать людей, снимать их с работы. Это дает нашему Оргбюро, нашему Секретариату действительно необъятную власть. Я думаю, что когда будут обсуждаться пункты устава, надо с большей внимательностью, чем делалось это до сих пор, посмотреть, как разумно ограничить эти перемещения, эти снятия с работы, которые создают в партии часто невозможность откровенно, открыто высказаться… Я обращаюсь к съезду с просьбой особо внимательно подумать над этим. (Голос: «Он думает».) Я хотела бы, чтобы съезд подумал над тем, как сделать, чтобы получить для партии возможность создания внутрипартийной демократии». Под конец Надежде Константиновне уже и слова не давали сказать спокойно. Она взорвалась: «Товарищи из ЦКК, из президиума прекрасно знают, что для меня… вся эта кампания была совершенно неожиданной… Председатель, дайте говорить спокойно, все время перебивают… Я думаю, что тут надо общими усилиями постараться найти новые формы работы ЦКК, такие формы, которые действительно обеспечивали бы единство партии».

Голоса вдовы Ленина и других оппозиционеров так и остались гласом вопиющего в пустыне. С ними никто из сталинского большинства не собирался вести «товарищеского обсуждения» и, тем более, совместно искать «правильную линию». Все вопросы уже были решены Сталиным и его соратниками, а несогласных надо было затравить и принудить к капитуляции. Равноправными «товарищами» их уже не считали. Крупская очень скоро почувствовала это на себе.

Вскоре после съезда она говорила своей сослуживице по Наркомпросу Алисе Ивановне Радченко: «Меня беспрерывно травят по партийной линии, да еще как травят. Мне не могут простить моей близости к Ильичу и что я была в курсе невыгодных для некоторых товарищей фактов — теперь мне за это мстят и не церемонятся со мной и всячески подчеркивают свое неуважение. Ставят мне в упрек даже, что я дворянского

происхождения… Говорят, что я якобы далека от жизни, не разбираюсь в сути разногласий, искажаю факты, стенограммы и т. д.». На объединенном пленуме 1926 года Орджоникидзе вполне по-хамски к ней обратился: «Для чего это (т. е. поддержка требований оппозиции. — *Б. С.)* Вам нужно, Надежда Константиновна, для того, чтобы пугать всю партию, чтобы партия теряла к Вам уважение… А ведь партия Вас любит не потому, что Вы великий человек, а потому, что Вы близкий человек великого нашего Ленина». Этой формуле не откажешь в циничной точности.

Надежда Константиновна признавалась Радченко: «Из 300 человек на пленуме ЦК только десять имеют мужество здороваться со мной». В эти дни, по свидетельству Троцкого, Крупская говорила: «Если б Володя был жив, он сидел бы сейчас в тюрьме». Вероятно, тогда же родились легенды о том, будто Сталин грозил Крупской в случае непослушания объявить женой Ильича другую женщину — то ли Инессу Арманд, то ли Лидию Фотиеву. Разумеется, в действительности такого разговора не было и не могло быть. Слишком хорошо было известно в стране и в мире, кто именно — жена Ленина. Скорее, в случае, если бы Крупскую все-таки пришлось репрессировать вместе с другими оппозиционерами, то в официальной мифологии Ленин вообще превратился бы в холостяка. Во всяком случае, о существовании у Ильича супруги перестали бы упоминать в мемуарах и биографиях.

Уже в 1926 году Троцкий, Зиновьев и Каменев были изгнаны из Политбюро и их изгнание из партии стало лишь вопросом времени. Крупская вовремя успела спрыгнуть с тонущего корабля оппозиции. 15 мая 1927 года она написала Зиновьеву письмо, где критиковала его за выступление несколькими днями раньше в Доме Союзов на 15-летии «Правды»: «По-моему, Вы кругом неправы. Вы знали, что речи передаются по радио, и Ваша речь поэтому была обращена не к партии, а к стране. Беспартийная рабочая и крестьянская масса считает, что оппозиция идет против основной партийной и советской линии. Это показывает, что с критикой было переборщено. Одно дело самокритика, другое — критика обвиняющая, прокурорская критика со стороны. — Надо изживать создавшееся положение, а не ухудшать его… Ваше выступление, по-моему, ошибка. На что другое могли Вы рассчитывать, как не на острый скандал? Чтобы влиять на политику партии — надо прежде всего изжить оппозиционный период. Вы знаете, как я смотрю с осени на это дело: устраивать перманентную бузу — ради бузы и истории — мне кажется вредным. После Вашего выступления, о котором я могу теперь

судить по стенограмме, у меня явилось желание заявить в печати о своей точки зрения. Желание это усилилось, когда мне рассказали о выступлении оппозиции в районах. Это не политика — буза. Мне очень тяжело писать Вам все это. Вы знаете, что лично к Вам я относилась и продолжаю относиться как к старому товарищу, но тактику Вашу считаю ошибочной».

19 мая аналогичное письмо она написала Троцкому: «Вы знаете, что я с осени прошлого года ушла от оппозиции. Григорию (Зиновьеву. — *Б. С.)* говорила тогда, что мы прямым путем катимся при таких методах работь в другую партию и что на это я не пойду. Против организации во фракцию я была с самого начала». На следующий день в «Правде» появилось письмо Крупской: «Более близкие товарищи знают, что еще осенью прошлого года я отошла от оппозиции. Я пришла к заключению, что с критикой оппозиция — и я в том числе — переборщила, количество перешло в качество, товарищеская критика перешла во фракционную. Широкая крестьянская и рабочая масса поняла выступление оппозиции как выступление против основных принципов Коммунистической партии и Советской власти. Конечно, такое представление в корне ошибочно. Однако данный факт красноречиво говорит о необходимости более сдержанных и товарищеских форм полемики. Я считаю чрезвычайно важной самокритику партии, но я думаю, что эта самокритика не должна переходить в обвинения друг друга во всех смертных грехах. Нужно деловое, трезвое обсуждение вопросов. Только такое обсуждение может дать гарантию наиболее правильного решения вопросов. Переживаемый момент ставит перед партией ряд очень сложных вопросов, требующих обсуждения, он требует быстрого их разрешения. Это — с одной стороны. С другой — переживаемый момент требует максимального единства действий, напряженной работы по сообща намеченному плану. В этих условиях фракционный подход к решению вопросов может лишь вредить делу».

По существу, это была капитуляция, причем не слишком почетная. За бюрократическим новоязом, столь любимым Крупской, с его «самокритикой партии», «переживаемым моментом» и «напряженной работой по сообща намеченному плану», скрывается полное подчинение аппарату. Надежда Константиновна пытается обосновать сдачу прежних позиций сложностью текущего момента, диктующего полное единство партийных рядов. Если почитать «Правду», то окажется, что все семьдесят с лишним лет Советской власти обстановка была очень сложной, и борьба с внешними и внутренними врагами требовала единства и беспрекословного подчинения меньшинства

большинству. Но не стоит обвинять ленинскую вдову в каком-то особом малодушии. В конце концов она — старая одинокая женщина, а перед Сталиным в итоге капитулировали все вожди разного рода оппозиций — куда более крепкие мужчины: Зиновьев, Каменев, Бухарин, Рыков… Так и не сдавшегося Троцкого в далекой Мексике настигла смерть от руки агента НКВД. К тому же партия, революция и Ленин были для Крупской смыслом жизни, а все это массы уже неразрывно связывали с именем Сталина — великого продолжателя дела Ильича. Надежда Константиновна готова была поступиться принципами, лишь бы за ней признали право на память о Ленине, на публичный рассказ о том, что в жизни вождя было ведомо только ей. И на место в истории — как жены архитектора величайшей, как считали большевики, революции всех времен и народов.

Однако даже после капитуляции Надежде Константиновне жилось не сладко. 5 июля 1927 года А. И. Радченко записала в дневнике: «Собиралась она (Крупская. — *Б. С.)* с Н. Л. Мещеряковым поехать в Ульяновск, посмотреть, как обстоят политпросветские дела на родине Ильича. Но один старый товарищ их предупредил, что там черная сотня развелась, что могут из-за угла подстрелить. Она в ответ устало: «А жаль, что ли? Мне бы только дописать свои воспоминания об Ильиче, а там меня пусть скушает, кто хочет… Нервы у меня, как струны, болят, будто обнаженные»,,

Но постепенно опала с ленинской вдовы была снята. В декабре 1927 года на XV Съезде партии Крупскую, бывшую прежде членом Центральной Контрольной Комиссии, впервые избирают в ЦК, причем сразу же полноправным членом. Членом высшего партийного органа она оставалась до самой смерти.

По воспоминаниям давней знакомой Надежды Константиновны, Доры Абрамовны Лазуркиной, работавшей в Ленинградском обкоме вместе с С. М. Кировым, в декабре 1931 года она получила от Крупской письмо. Та писала: «Я себя чувствую прескверно, и физически, и вообще. Очень прошу приехать ко мне, встретим Новый год, как мы его встречали с Ильичом в Женеве, в 1905 году». С этим письмом Лазуркина пошла к Кирову. Сергей Миронович посоветовал ей немедленно отправиться в Москву: «Надо обязательно съездить к Надежде Константиновне. Я недавно видел ее, и выглядит она очень скверно. У нее очень тяжелое настроение. Мы выдадим командировку, поживете у Надежды Константиновны. Постарайтесь успокоить ее, восстановить ее бодрость. Замечательный человек, Надежда Константиновна».

Приезду Лазуркиной Крупская обрадовалась. Дора Абрамовна

так описала совместную встречу Нового года: «Мы вспоминали встречу Нового 1905 года в Женеве, свои юные революционные годы, Ильича, пели песни, которые он любил. В три часа все ушли, Надежда Константиновна попросила остаться с ней. Мы лежали на одной кровати, проговорили остаток ночи, немного поспали и вновь продолжали говорить и говорить. Так продолжалось три дня. Надежда Константиновна печально делилась со мной о своей доле после XIV съезда, о том, что она оторвана от ЦК, что отстранена от всего, чем живет партия, что на нее смотрят косо. Я старалась выполнить поручение Сергея Мироновича, поднять настроение Надежды Константиновны. Я видела, что она находится под впечатлением письма Владимира Ильича о Сталине, и пыталась ее убедить, что роль Сталина велика. Не будь его, мы были бы еще долго в плену оппозиции и течений».

Лазуркина уговаривала Надежду Константиновну написать письмо в ЦК с просьбой включить ее в «активную партийную жизнь». Такого письма Крупская писать не стала. Но 16 ноября 1932 года в «Правде» появилось личное письмо Надежды Константиновны Сталину в связи с внезапной смертью его второй жены Надежды Аллилуевой: «Эти дни как-то все думается о Вас и хочется пожать Вам руку. Тяжело терять близкого человека. Мне вспоминается пара разговоров с Вами в кабинете Ильича во время его болезни. Они мне тогда придали мужества». Крупская не знала, что Аллилуева застрелилась, заподозрив мужа в супружеской неверности. В своем письме вдова Ленина ясно давала понять, что забыла ссору декабря 1922 года.

Замечу, что тоска Крупской теперь уже не была связана с кампанией травли и изоляции, проводившейся во второй половине 20-х годов. Нет, она уже не была «персоной нон грата». Ей оказывали внешние знаки внимания. Например, в том же 31-м году, когда Крупская написала отчаянное письмо Лазуркиной, Надежду Константиновну избрали почетным академиком Академии Наук СССР, двумя годами раньше наградили орденом Трудового Красного Знамени. А в 1933 году удостоили высшей награды страны — орденом Ленина. Орден Ленина на груди его вдовы — это было символично. Превосходный сюжет для портретов, фотографий и плакатов. Но одиночество продолжало мучить Надежду Константиновну. С прежними друзьями из оппозиции пришлось порвать. Детей не было. Заново устроить личную жизнь она даже не пыталась. Понимала, что общественное мифологизированное сознание не может принять вдову обожествленного вождя как жену кого-нибудь другого из смертных.

И еще. Надежде Константиновне очень хотелось работать, в работе найти забвение от подступавшей порой тоски. До 1930 года он возглавляла Главполитпросвет, в 1929 году была назначена заместителем наркома просвещения. Там она курировала внешкольное воспитание, в частности, пионерскую организацию, занималась устройством библиотек. В автобиографии «Моя жизнь», написанной в первую очередь для пионеров, Крупская признавалась: «Я всегда очень жалела, что у меня не было ребят. Теперь не жалею. Теперь их у меня много — комсомольцы и юные пионеры. Все они ленинцы, хотят быть ленинцами». В сущности, от этих строк веет затаенной грустью. Пожилая, одинокая женщина пытается найти себе утешение в детях, которых Бог не дал им с Ильичом. Но десятки и сотни тысяч детей по всей стране, пишущие письма «бабушке Крупской», — это совсем не то же самое, что дети в собственной семье, которых воспитываешь, о которых заботишься, с которыми живешь одними и теми же радостями и заботами. На библиотечном же фронте еще в 1923 году, когда Надежда Константиновна руководила Главполитпросветом, она подписала циркуляр, предписывающий изъять из фондов массовых библиотек сочинения Платона и Канта, Шопенгауэра и Ницше, Владимира Соловьева и Льва Толстого, Лескова и многих других известных, но «идеологически вредных» авторов. В разделе же религиозной литературы предписывалось оставить только книги антирелигиозного содержания.

И в работе Надежде Константиновне хотелось большего. Как мы увидим дальше, она, возможно, была не прочь занять пост наркома просвещения. Но главным для Крупской были все же воспоминания о Ленине, посвященные вождю книги и статьи, литературный памятник великому супругу, а заодно и себе. Хотя и писала одному из рецензентов своей книги: «О себе, как я думаю, мне писать в «воспоминаниях» надо было как можно меньше. Это обычный недостаток всех воспоминаний, что люди пишут в них больше всего о себе, мне хотелось не о себе писать, а об Ильиче, хотелось показать ту обстановку, в которой ему приходилось жить и работать. И что же мне писать о себе? Я крепко любила Ильича; то, что его волновало, волновало и меня; я старалась в меру своих сил и уменья помогать ему в работе, но я ведь рядовой работник. Чего тут писать?»

Надежда Константиновна понимала, что чрезмерное внимание в воспоминаниях о муже к ее собственной персоне вызовет у читателей только раздражение. Слишком несопоставимы их роли в русской революции. Гораздо важнее, что это ее воспоминания, ее Ильич, такой, каким только она его

знала.

Но был один высокопоставленный читатель, которому мемуары Крупской не очень понравились. Этот читатель — Сталин. Ведь из воспоминаний Надежды Константиновны было видно, что Иосиф Виссарионович отнюдь не был самым близким к Ленину человеком, что опальные Зиновьев и Каменев не были такими уж плохими людьми и, во всяком случае, действительно были среди немногих ленинских друзей. Получалось, что многие события в истории партии происходили не так, как говорили о них их сталинские приближенные и сам всесильный генсек. И вот в начале мая 1934 года в «Правде» появилась довольно критическая рецензия на мемуары Крупской Петра Николаевича Поспелова. Этот человек пользовался покровительством Сталина. Через шесть лет Поспелов стал главным редактором «Правды». Но и тогда, в 34-м, было хорошо известно, что его рецензии нередко отражают точку зрения Хозяина. А. И. Радченко 9 мая записала в дневнике: «Что-то опять случилось. Как иначе объяснить странную рецензию в «Правде» на ее «Воспоминания»? — «Личные воспоминания о Ленине никакой цены не имеют. Крупская, собственно, никогда не стояла на ленинских, а разве только на плехановских позициях…» Это, несомненно, кем-то свыше инспирировано». Главный грех книги, по мнению рецензента, заключался в том, что «очень коротко перечисляются встречи Ленина со Сталиным». Здесь Поспелов говорил сущую правду, но исправить этот грех не было никакой возможности. Не выдумывать же дополнительно никогда не происходившие встречи Ильича и Кобы. Разве что пойти по пути, по которому под давлением редакторов уже в 60-е годы пошел в своих мемуарах маршал Жуков. Георгий Константинович вынужден был написать, что собирался как-то раз посоветоваться с полковником Брежневым, да того, к сожалению, на месте не оказалось: на Малую землю отправился. Так и представляешь себе, как Владимир Ильич спрашивает Надежду Константиновну: «Где же Коба? У меня очень срочный вопрос, только он может помочь». К счастью, до подобных культовых мифов вдова Ленина, в отличие от некоторых авторов фильмов и пьес о Сталине, не опустилась.

Как раз в мае 1934 года Крупская перенесла сложную операцию по поводу базедовой болезни. Как признавалась Надежда Константиновна в одном из писем, ее буквально шатало от слабости, а тут такой неприятный сюрприз. Ведь отрицательная рецензия в центральном партийном органе вполне может повлечь за собой оргвыводы, вплоть до изъятия книги из продажи. Однако Надежда Константиновна не испугалась и на публикацию поспеловского опуса отреагировала весьма резко. 25

мая 1934 года Радченко записала ее слова: «Сегодня я отдала очередную свою статью, и уже в «Известия», а не в «Правду». Ничего им больше не буду давать, раз они так по-свински поступают, как с помещением у себя этой рецензии. Главное, если целью ее было дискредитирование моих «Воспоминаний», так ведь они достигли обратного: все эти дни мне только и звонят из Коминтерна, прося разрешить переводы книжки на различные иностранные языки. И не только книжки, но и различных моих статей». И уже с озорством: «И все равно буду так писать, и еще почище».

И разрешение на переводы было дано. Разумеется, без санкции ЦК Крупская не могла сделать этого. Очевидно, Сталин сообразил, что воспоминания Крупской все же незаменимы при создании ленинского мифа. Ведь ее жизнь — это и была прежде всего забота о Ленине. Ни о чем другом Надежда Константиновна писать не хотела, да и не могла. И ни один мемуарист не сообщил столько подробностей о жизни вождя. Да и как-то неудобно было запрещать книгу ленинской вдовы. В конце концов, подходящие эпизоды всегда можно растиражировать в других изданиях, а на неудобные просто не обращать внимания.

Положение Крупской улучшилось примерно через год, когда Надежда Константиновна вновь начала публиковаться в «Правде». 23 августа 1935 года Сталин передал тогдашнему председателю Комиссии партийного контроля и будущему «стальному наркому» Николаю Ивановичу Ежову предложения Надежды Константиновны об организации школьного обучения взрослых, не получивших в свое время должного образования, и о публикации в «Правде» ее статьи на эту тему, а также об учреждении музея Ленина в Москве. В сопроводительной записке генсек особо подчеркивал: «Т. Крупская права по всем трем вопросам. Посылаю именно Вам это письмо потому, что у Вас обычно слово не расходится с делом и есть надежда, что мою просьбу выполните, вызовете т. Крупскую, побеседуете с ней и пр.» Ежов поручение выполнил, за что удостоился похвалы вождя, лично сделавшего замечания и дополнения к проекту ленинского музея.

С наркомом просвещения Андреем Сергеевичем Бубновым у Надежды Константиновны складывались не слишком теплые отношения. 5 июня 1937 года Крупская жаловалась в письме Сталину: «Власть наркома в наркомате безгранична. И не всякий нарком пользуется этой властью так, как надо… Но вот чего нельзя допускать — это превращения партии в простое орудие выполнения воли наркома. Нельзя, чтобы нарком грозил не только уволить с работы, но и исключить из партии. Это безмерно

усиливает бюрократизм, подхалимство, и без того процветающие в наркомате. Нельзя, чтобы секретарь парткома был просто исполнитель воли наркома. Получается атмосфера подсиживания друг друга, сплетен, чтения в сердцах, получается безысходная склока. Я помню, как боролся всегда с атмосферой склоки Ильич. Это было в Сибири, в Лондоне.

По заданию наркома партком обслуживает и печать. Люди пишут псевдонимами, клевещут безответственно на работников. Так нельзя. Все это пагубно отражается на деле…

Другой вопрос — это недостаточно налажена борьба с бюрократизмом, не словесная борьба, а деловая… Перестройка работы идет медленно, часто очень поверхностно, больше говорят».

13 октября 1937 года Бубнов был снят с должности, а вскоре арестован и расстрелян как «враг народа». Не исключено, что письмо Крупской послужило поводом для смещения Андрея Сергеевича, но не стоит думать, что со стороны Надежды Константиновны это был скрытый донос на нелюбимого шефа с далеко идущим политическим расчетом. Конечно, Крупская желала ухода Бубнова из наркомата, возможно, даже надеялась занять его место, но не могла предполагать столь трагический исход. Тем более что принципиально Бубнов ничем не отличался от большинства наркомов, чувствуя себя в Наркомпросе царем, богом и воинским начальником. Не за бюрократизм же и поощрение подхалимажа его казнили, а в рамках проводимой Сталиным «смены караула», когда шел планомерный отстрел старых большевиков, которых в органах власти заменяли более молодые выдвиженцы, лично преданные генсеку. Крупскую же наркомом просвещения Сталин делать не стал — учитывал оппозиционное прошлое, преклонный возраст и плохое здоровье.

Надежда Константиновна еще раз обратилась с письмом к Сталину 7 марта 1938 года в связи с введением преподавания русского языка во всех школах советских республик: «Мы вводим обязательное обучение русскому языку во всем СССР. Это хорошо. Это послужит углублению дружбы народов. Но меня очень беспокоит, как мы это обучение будем проводить. Мне сдается иногда, что начинает показывать немного рожки великодержавный шовинизм». Беспокоилась Крупская не зря. Очень скоро великорусский шовинизм показал ей рожки, и не где-нибудь, а в Политбюро.

5 августа 1938 года высший партийный орган принял грозное постановление «О романе Мариэтты Шагинян «Билет по истории», часть 1-я — «Семья Ульяновых», где, в частности, говорилось: «Осудить поведение Крупской, которая, получив рукопись романа

Шагинян, не только не воспрепятствовала появлению романа в свет, но, наоборот, всячески поощряла Шагинян, давала о рукописи положительные отзывы и консультировала Шагинян по различным сторонам жизни Ульяновых и тем самым несла полную ответственность за эту книжку. Считать поведение Крупской тем более недопустимым и бестактным, что т. Крупская сделала это без ведома и согласия ЦК ВКП(б), за спиной ЦК ВКП(б), превращая тем самым общепартийное дело составления произведений о Ленине в частное и семейное дело и выступая в роли монополиста и истолкователя общественной и личной жизни и работы Ленина и его семьи, на что ЦК никому и никогда прав не давал».

Чем же вызвал гнев партийного синклита правоверно-марксистский, казалось бы, роман о детстве и юности Владимира Ульянова, где главный герой нарисован вполне сусально? Политбюро прегрешения Шагинян не конкретизировало. Но через четыре дня для разборки с проштрафившимся автором собрался президиум правления Союза писателей. Мариэтте Сергеевне коллеги вынесли порицание за искаженное представление о «национальном лице» Ленина, за то, что в романе не подчеркивается то обстоятельство, что вождь большевиков является «гением человечества, выдвинутым русским народом».

Гнев Сталина и его соратников по Политбюро вызвали не столько слова писательницы о том, что по отцовской линии бабушка Ленина происходила из «крещеного калмыцкого рода», сколько утверждение автора «Билета по истории», будто дед Ильича по матери — «украинец Александр Дмитриевич Бланк». Если разобраться, то данное утверждение, действительно, звучит издевательски. Ведь отец матери Владимира Ильича первую половину своей жизни, до перехода из иудейства в православие, звался не Александром Дмитриевичем, а Срулем (Израилем) Мойшевичем. Украинец Сруль Мойшевич Бланк — это, конечно, сильно сказано. Тем более что дед Ленина, умерший в год рождения своего всемирно знаменитого внука, наверняка ни слова по-украински не знал и украинцем себя никогда не считал.

Но в 1938 году о еврейском происхождении вождя большевиков уже нельзя было открыто говорить. Русский народ постепенно становился первым среди других советских народов. В преддверии войны Сталину требовалось подкрепить марксизм русской национальной идеологией, чтобы сыграть на патриотических чувствах самой многочисленной нации СССР. Подчеркивать «инородческие» корни Ленина стало не только не своевременно, но даже опасно. Хотя ни Шагинян, ни Крупская никакого злого умысла не имели. Неизвестно, кому из них

пришла в голову роковая мысль объявить Бланка украинцем. Но логику такого решения можно понять. Признать, что Александр Дмитриевич — еврей, было никак нельзя. Тут мешал не только антисемитизм Сталина, но и широко распространенное в черносотенных кругах русской эмиграции, а также в национал-социалистической Германии убеждение в том, что большевистский вождь — еврей. Признать еврейское происхождение ленинского деда, думали Крупская и Шагинян, — значит, лить воду на мельницу фашистов и черносотенцев.

Казалось бы, проще объявить Бланка немцем. Фамилия вроде бы похожа на немецкую. Да и немцев на Украине, где родился, и жил Александр Дмитриевич, вплоть до Второй мировой войны проживало немало. Однако и так в романе Шагинян говорилось, что в жилах бабушки Владимира Ильича текла немецкая и шведская кровь. Слишком уж германским выглядело бы тогда происхождение основоположника Советского государства. В период враждебных отношений с Германией Гитлера это было совсем некстати. Так и родилось утверждение о деде украинце. Назвать Бланка русским у писательницы не поднялась рука: слишком уж не по-русски звучала фамилия. Между тем, православный Бланк, скорее всего, считал себя русским. Но ни Крупская, ни Шагинян в Бога не верили, и православие с русской национальностью в данном случае отождествлять не стали. А в результате получился скандал, завершившийся закрытым постановлением Политбюро.

Самым обидным и унизительным для Надежды Константиновны в этом постановлении было то, что отныне память о муже ей как бы и не принадлежала. Теперь только ЦК, а проще говоря, Сталин, мог давать или не давать кому-либо разрешение писать или говорить о Ленине, в воспоминаниях или художественных произведениях. Мемуары вдовы вождя уже не могли считаться ее частным делом.

В период массовых репрессий против коммунистов в 1937–1938 годах Крупская не раз пыталась облегчить участь ряда своих товарищей по партии. Так, ей удалось добиться того, чтобы рабочему Николаю Алексеевичу Емельянову, который укрывал Ленина в Разливе, лагерь был заменен ссылкой, добиться освобождения некоторых членов его семьи. Однако когда на сфальсифицированных московских процессах были осуждены на смерть Зиновьев, Каменев, Бухарин и другие, хорошо знакомые Надежде Константиновне лидеры оппозиции, она молчала. В виновность соратников Ленина Крупская не верила, но понимала, что публичное выступление или даже личное письмо Сталину в их защиту граничит с самоубийством.

Кроме воспоминаний об Ильиче, Надежда Константиновна в 20-е и 30-е годы печатала массу статей и брошюр, посвященных вопросам педагогики. Сегодня эти публикации в лучшем случае вызывают улыбку, порой горькую. Например, в 1929 году, в печально памятном году «великого перелома», Крупская призывала «педагогов коммунистов» «заложить в пионерах основы материалистического мировоззрения», «научить ясно понимать, куда идет общественное развитие», «выработать из ребят не на словах, а на деле «борцов и строителей». Ей самой было ясно то, что не ясно никому в сегодняшней России.

Надежда Константиновна верила, что человечество развивается по пути к коммунизму, что религия — опиум для народа, что бороться надо за торжество революции, а строить только социализм и коммунизм. Предохранять же ребят Крупская призывала от «пичванства». Ну, кто из читателей догадается, что это такое? Для тех, кто не догадался, расшифрую: пионерское чванство, по аналогии с более употребительным в свое время комчванством.

Предохраняться еще надо было, по мысли Надежды Константиновны, от «насквозь буржуазного стремления выдвинуться за счет других». Между тем, это стремление лежало в природе человека во все времена и при любом общественном устройстве, включая социалистическое. А в посткоммунистической России, несмотря на все старания Крупской и ее последователей, оно расцвело пышным, но уродливым цветом.

В 1932 году в статье «Буржуйские замашки вон из советской школы» Надежда Константиновна попыталась просветить юных пионеров и пионерок насчет Международного женского дня и взаимоотношений полов. Пионеры должны заботиться, чтобы «мать могла ходить на ликбез или на собрание» (собрание, конечно, важнее, чем лишние час-другой побыть с собственными детьми!).

Насчет же «отношений между мальчиков и девочек» Крупская объясняла так: «В старое время — при крепостном праве, а потом при капитализме — муж был главой семьи. В церкви попы призывали: «Жена да убоится мужа!» Жена была рабой, слугой своего мужа, без него шагу не смела ступить. В особо грубой форме эта власть проявлялась в деревне, где была очень большая темнота и бесправие. Там сплошь и рядом бывало, что муж колотил жену свою, топтал ногами, выгонял из дому, заставлял на себя работать. Придет пьяный и кричит: «Марья, сапоги снимай!» «Сейчас, Иван Петрович», — покорно отвечает жена-раба, начинает тащить с пьяного сапоги, а тот старается сапогом

ее в лицо ударить. Помещики, местные власти пороли мужиков, а те срывали сердце на бабах. Если жена хотела уйти в город, поступить на работу, она не могла это сделать без разрешения мужа. По закону муж был хозяином жены, она его вещью. У целого ряда народностей и по сию пору муж смотрит на свою жену как на вещь, прячет от чужого глаза, запирает дома, а хочет — продаст ее знакомому, продаст богатому покупателю. Такие нравы заражали. Даже среди людей, кончавших среднюю школу, в ходу бывало битье жен».

Тут Надежда Константиновна полагалась больше на фантазию, чем на личный опыт. Ни в Шушенском, ни в других российских деревнях ей как будто не довелось наблюдать избиений жен пьяными мужьями, тем более сапогом в лицо, да еще тем сапогом, который несчастная супруга должна стянуть с ноги своего хозяина-рабовладельца. Во всяком случае, в «Воспоминаниях о Ленине» Крупская ничего не пишет о подобных эксцессах. Но вот, застращав пионеров стандартным набором ужасов дореволюционного прошлого, она переходит к личным впечатлениям: «Помню, в 1905 году мы с т. Лениным нанимали комнату в одном большом доме. А рядом жил — тоже нанимал комнату — какой-то офицер; так он свою жену каждый вечер таскал за волосы по коридору». Сразу скажу, что и до революции, и после нее пролетарии по части битья и таскания жен за волосы дайали фору любому офицеру. Достаточно перечитать рассказы и фельетоны Михаила Булгакова, кстати говоря, в начале 20-х работавшего под началом Надежды Константиновны в Литературном отделе (Лито) Главполитпросвета и с ее помощью получившего комнату в «нехорошей квартире» на Большой Садовой, столь известной по роману «Мастер и Маргарита».

Крупская уже забыла, что и ее отец когда-то был офицером. Слово «офицер» теперь всегда подразумевается с определением «царский» или «белый». Значит, враг, и достоин быть лишь отрицательным примером. Правда, Надежда Константиновна оговаривается: «У буржуазии, у людей зажиточных, женское рабство принимало другие формы. Муж жену не бил, не заставлял на себя работать — на то в доме были кухарки и горничные, — но смотрел на жену как на свою игрушку, дарил ей красивые платья, погремушки разные, брошки, колечки, гребешки, ласкал, как котенка или комнатную собачонку. Взгляд на женщину как на предмет развлечения широко распространен в буржуазных странах. В большинстве буржуазных стран женщина либо вовсе лишена избирательных прав, либо эти права ограничены. В нашей стране, стране Советов, женщины уравнены во всем, в правах с мужчиной.

Потому, что на женщину смотрели как на рабу или как на игрушку, считалось, что ей не надо так много знать, как мужчине. В большинстве буржуазных стран существуют отдельные школы для мальчиков и девочек. В женских школах программы меньше, там больше налегают на религию, музыку, рукоделие. У нас до революции 1917 года тоже было так: были отдельные гимназии для мальчиков и отдельные для девочек. После Октябрьской революции у нас все школы стали школами совместного воспитания: девочки учатся наравне с мальчиками.

Коммунисты смотрят на женщину как на товарища, борются со старым, подлым, буржуазным отношением к женщине. Плох тот коммунист, который относится к женщине по-старому, по-капиталистически.

По закону женщина у нас уравнена с мужчиной, а в жизни, в быту еще много старых привычек. Посмотрите вокруг себя, вглядитесь — вы увидите много старых взглядов. Если заметите такие случаи, обсудите их с товарищами и подумайте, как с этим можно бороться.

Иногда буржуазия заводит для своих ребят школы совместного воспитания. Но эти школы не воспитывают настоящих товарищеских отношений между мальчиками и девочками. Девочки и мальчики держатся отдельно. Девчата в перемены ходят особо, толкуют, какой из мальчат «интереснее», боятся мальчат, а в то же время стараются одеться, принарядиться, губки подкрасить, чтобы мальчатам понравиться! Одним словом, держат себя как настоящие маленькие буржуинки. А мальчата от них не отстают, дразнят девчат, пишут им глупые записки, стараются девочек обругать позабористее, а в то же время начинают за ними ухаживать — одним словом, ведут себя как заправские маленькие буржуи. А учителя молчат. В капиталистических странах такие вещи считаются вполне естественными.

А у нас? К сожалению, у нас не только в семье, не только на улице, но и в школе буржуйских замашек у ребят сколько хочешь. Разве нет у нас в школе того, что девочки сидят в классе отдельно от мальчиков, а мальчик считает для себя позором сесть вместе с девочкой? Как у вас в школе? А разве не бывает, что мальчата дразнят девочек, доводят девочек до слез, а потом презрительно говорят: «Ну, девчонка сейчас ревка даст!»

Буржуй считал, что женщину можно всячески унижать, оскорблять, а она должна и виду не показывать, что ей обидно, тяжело. Вот и наши мальчата другой раз по-буржуйски оскорбляют девчат, а потом негодуют, что девчата обижаются. Бывают ли у вас в школе такие случаи? Или бывает так: выберет

мальчонка себе «даму сердца», записочки ей пишет, угодить ей старается. Она разругается с другой дивчиной, а парнишка подговорит товарищей избить девочку, поссорившуюся с его «дамой сердца». Разве не избивают мальчата девчат? Разве мальчата и девчата не читают взасос пошлой буржуазной литературы! (Насчет литературы Крупская, положим, сама позаботилась, изъяв в 20-е годы из массовых библиотек не только таких «пошлых» авторов, как Толстой и Достоевский, но и произведения Александра Дюма-отца, «Графа Монте-Кристо» которого когда-то сама переводила по поручению того же Льва Толстого. — *Б. С.)* А как смотрят на все это пионеры? Как борются со всем этим? Как терпят они это буржуйство?

Когда ребята вступают в пионеры, они дают торжественное обещание бороться за дело Ленина, за дело рабочего класса. Ленин всю жизнь боролся с подлым буржуйским отношением к женщине, боролся за ее равноправие, за ее раскрепощение. Он с радостью отмечал участие женщин в революционной борьбе, общественной работе, в работе Советов. Требовал, чтобы женщин, даже самых темных, самых отсталых, вовлекали как можно шире в стройку социализма. Юные ленинцы — пионеры — не только не могут сами заводить в школах буржуйских нравов, они должны всячески с ними бороться, бороться со школьниками, которые это делают. Юные ленинки — пионерки — тоже должны отучаться от глупых замашек, приналечь на учебу, на общественную работу».

Если сегодняшние мальчишки и девчонки прочтут эти строки, то, не сомневаюсь, они предпочтут учиться в «капиталистической», а не в «социалистической» школе. Для Крупской любая школа в «буржуйской» стране плоха — будь то раздельные школы для мальчиков и девочек или школы смешанные. А в школах для девочек ученицы, страшно сказать, налегают все больше на музыку, рукоделие и, о ужас, религию!

Интересно, чем музыка Крупской не понравилась? Ее, музыку, ведь Ильич любил. Может, сыграло свою роль то, что Надежду Константиновну, в отличие от Инессы Арманд, музыкальными способностями Бог обделил? Свойственное же девочкам всего мира невинное кокетство и застенчивость мальчиков, прикрываемая нарочитой грубостью по отношению к девочкам, Надежда Константиновна считает явлением классовым, «буржуазным пережитком», который надо изживать, с которым надо бороться.

Вообще, слово «бороться» — одно из самых любимых у вдовы Ильича. Советский человек с самых юных лет должен бороться за что-то и против кого-то. За хлеб, уголь, сталь, нефть, за саму жизнь, наконец, бороться против разрухи, распутицы,

империалистов, буржуев, помещиков, кулаков, подкулачников, пособников и т. д. Ибо для торжества социализма и коммунизма требовалось побороть, переделать саму природу человека. И Крупской в качестве идеала виделась благостная картина — все мальчата и девчата по мановению руки педагогов-коммунистов рассаживаются по партам парами: мальчик и девочка. А на переменах чинно гуляют по коридору такими же гетеросексуальными парами: мальчик под ручку с девочкой. Но не дай Бог, девочка начнет «интересоваться» мальчиком, или мальчик, наоборот, начнет оказывать знаки повышенного внимания своей «даме сердца». Немедленно пресечь, сообщить, куда следует! Думать надо только об учебе и борьбе! Боюсь, в такой школе ученики померли бы от скуки.

Когда же Надежда Константиновна говорит о «женском рабстве» у буржуазии, она, как кажется, опирается на устные рассказы и статьи своей подруги-соперницы Инессы Арманд. Многое здесь созвучно мыслям, которые та высказывала в письме старшей дочери о Толстом. И ведь именно Инесса Федоровна была замужем за фабрикантом, имела в своем распоряжении любые браслеты, брошки, колечки и прочие «погремушки». Однако трудно предположить, чтобы Александр Евгеньевич, а потом его брат Владимир видели в Инессе «вещь». Тут уж Крупской приходилось фантазировать. А вдохновляла на такое фантазирование, возможно, подсознательная зависть и ревность к сопернице: и в роскоши жила, бедности никогда не знала, и любовь Ильича сумела завоевать.

Самой же Надежде Константиновне завоевать души юных ленинцев своим суконным, бюрократическим языком вряд ли далось. Как представишь себе пионера, послушно повторяющего: «Взгляд на женщину как на предмет развлечения широко распространен в буржуазных странах», так жутко станет. Или: «Помещики, местные власти пороли мужиков, а те срывали сердце на бабах». Дети-то, конечно, не задумывались, а взрослый человек задумается, и оторопь возьмет. Как удавалось вместе пороть крестьян конкретным, одушевленным помещикам и абстрактным, неодушевленным властям?

В одной из последующих статей Крупская вообще призывала пионеров «укрепить товарищескую связь между мальчиками и девочками». Когда читаешь ею написанное, создается стойкое впечатление, что Надя в гимназии была совершеннейшим «синим чулком» и что Ильич был ее первой и последней любовью. Впрочем, может быть, тут сказался общий марксистский и советский ханжеский стиль, когда вопросы пола и любви стыдливо отодвигались на задний план, дабы не отвлекать массы

от классовой борьбы?

Крупская также учила ребят бдительности, призывала не верить слухам, что распускали враги. В 1932 году в статье «Научимся работать по-настоящему, по-ленински» она убеждала: «Сейчас те, кому хорошо жилось при царской власти, которые хотят, чтобы вернулась власть помещиков и капиталистов, чтобы зажать в кулак покрепче рабочих и трудящиеся массы крестьянства, колхозников, стараются всячески вредить соцстроительству, пользуются темнотой, которой еще много в деревне, чтобы пускать всякие злые и вредные слухи, настраивать темных людей против власти. Но, чтобы бороться с ними, надо самим очень хорошо разбираться во всем».

Это писалось в период насильственной коллективизации, массовых депортаций «кулаков и подкулачников», голода в советской деревне. По сути, призыв Крупской звучал издевательски. Для того, чтобы не верить «злым и враждебным слухам», необходимо было не много знать, а многого не знать. Об этом незнании и заботилась советская пропаганда, скрывая неприглядную правду о голоде и репрессиях от страны и мира. Новоиспеченные же колхозники, надо думать, жизнь при царе вспоминали с ностальгическими слезами как почти прекрасное время: тогда приходилось голодать, но все же не так капитально, как при Советах. Да и по числу расстрелянных и сосланных Николай II, революционерами прозванный Кровавым, и Столыпин с Лениным и Сталиным не могли соревноваться.

Конец Крупской, как и Арманд, как и Ленина, пришел внезапно. Надежда Константиновна страдала базедовой болезнью, пошаливало сердце, была масса других мелких и не очень мелких недугов, однако в те февральские дни 1939 года, когда она готовилась отпраздновать свое 70-летие, ничто не предвещало беды. Вот что вспоминала Вера Рудольфовна Менжинская, сестра покойного главы ОГПУ: «Еще 23 февраля Надежда Константиновна вспоминала в Совнаркоме, отстаивала столь близкие ее сердцу, столь дорогие ей детские сады, детские дома. Она устала, но была радостно возбуждена тем, что ей удалось достигнуть желанного результата. После Совнаркома Надежда Константиновна поехала отдохнуть в Архангельское… Туда неожиданно для Надежды Константиновны съехались поздравить ее старые друзья, товарищи по партийной работе. Начинаются воспоминания, все говорят… Надежда Константиновна говорит и сама, дополняет те или иные воспоминания. В восьмом часу вечера она уходит к себе, почувствовав себя нехорошо, но не говоря об этом никому из присутствующих, чтобы не нарушить общего радостного настроения».

Об этом же дружеском ужине, происходившем накануне дня рождения, 25-го числа, оставила рассказ и одна из старых подруг Крупской Нина Исааковна Стриевская: «Мне всегда тяжело вспоминать этот вечер. Так хорошо, приподнято он начался и так трагически закончился. Надежда Константиновна была очень оживлена, шутила, пела со всеми любимые песни революционной молодости. Вспоминала минувшие годы с Ильичом в Шушенском (наверняка, это был самый счастливый период ее жизни. — *Б. С.*), как их на пути из ссылки выручили сибирские пельмени. Кто-то предложил соорудить их. Сообща принялись их готовить, ели с аппетитом. Спустя недолго Надежда Константиновна ушла к себе. Скоро у нее начались сильнейшие боли в животе. Приехали врачи и увезли ее в Кремлевскую больницу». 26 февраля в «Правде» было опубликовано поздравление Крупской от ЦК в связи с 70-летием со дня рождения. В тот момент наверху уже знали о ее безнадежном состоянии. 28 февраля в газетах появилось «Сообщение о болезни тов. Крупской Н. К.», где говорилось: «Болезнь развивалась бурно и с самого начала сопровождалась резким упадком сердечной деятельности и потерей сознания. В связи с этим отпала возможность помочь больной оперативным путем». Накануне, в 6 часов 15 минут утра 27 февраля 1939 года, Надежда Константиновна Крупская «при явлениях паралича сердечной деятельности» скончалась. В некрологе от имени ЦК и Совнаркома сообщалось: «Смерть тов. Крупской, отдавшей всю свою жизнь делу коммунизма, является большой потерей для партии и трудящихся Союза ССР». За два дня прощания, 28 февраля и 1 марта, в Колонном Зале мимо гроба с телом Крупской прошло полмиллиона человек. Урну с ее прахом несли к кремлевской стене Сталин и Молотов.

Что же за болезнь внезапно поразила Надежду Константиновну? Первым прибывший к Крупской врач М. Б. Коган предположил отравление и порекомендовал положить на живот грелку с горячей водой. Симптомы, которые были у больной — острая боль в животе и рвота, — могли свидетельствовать как о пищевом отравлении, так и об аппендиците. В первом случае грелка на живот облегчает положение пациента, зато во втором усугубляет, поскольку ускоряет наступление перитонита — воспаления брюшины.

К несчастью для Крупской, врач ошибся: у Надежды Константиновны был аппендицит, быстро перешедший в перитонит. Спасти ее могла только срочная операция. Однако, учитывая слабое сердце и общее состояние больной, шансов на благополучный исход было немного. Здесь сказался общий страх советских врачей перед ответственностью за жизнь

высокопоставленных пациентов. Во времена Сталина они за смерть таких больных могли поплатиться в буквальном смысле слова своей головой. Только что, в марте 1938 года, прошел процесс «правотроцкистского блока», на котором кремлевские врачи Плетнев, Левин и Казаков были ложно обвинены в отравительстве и приговорены к длительным срокам заключения. Доктора понимали, что если Крупская умрет на операционном столе, в ее смерти легко могут обвинить хирурга, проводившего операцию. Другое дело, если оставить все, как есть. Больная наверняка без операции умрет, зато конкретных виновников не будет — тяжелая болезнь, нельзя было спасти. И от операции «из-за затруднений сердечной деятельности» отказались, хотя только она давала пусть призрачный, но единственный шанс на спасение.

Перед тем как впасть в бессознательное состояние вечером 26 февраля, Надежда Константиновна произнесла свои последние слова, обращенные к В. С. Дридзо: «Что на свете делается?» Вера Соломоновна успела сообщить ей о приветствии ЦК и Совнаркома, других поздравлениях. Крупская устало закрыла глаза и больше их уже не открывала.

Во времена хрущевской оттепели распространились слухи, что вдову Ленина отравили. Называли и причину: она будто бы собиралась на предстоявшем в марте 1939 года XVIII съезде партии резко выступить против творившегося в стране беззакония. Говорили о торте, будто бы присланном Крупской от Сталина и содержавшем яд. Обе версии, и о способе, и о мотиве отравления, при ближайшем рассмотрении не выдерживают критики. Никто из участников роковой вечеринки, а их было несколько десятков, не помнил никакого торта. Были пельмени, которые запивали киселем. Все ели одно и то же, и Крупская не ела чего-то, чего не ели другие. Скорее всего, или пельмени недостаточно проварились (стол ведь устраивали на скорую руку), или, на несчастье Надежды Константиновны, ей в одном из пельменей попался мелкий костный осколок, который и вызвал воспаление в кишечнике.

Что же касается мотива для убийства Крупской, то он представляется совершенно фантастическим. Если Надежда Константиновна хотела выступить против репрессий, почему ей понадобилось выжидать до 1939 года? Почему она не выступила раньше, скажем, в защиту близкого ей Зиновьева? Да и не могла Надежда Константиновна не понимать, что открытое выступление против репрессий, прямое обвинение в беззакониях лично Сталина означало верную гибель или, в лучшем случае, заключение в сумасшедший дом, как произошло в свое время с

бывшим членом президиума ЦКК Ароном Александровичем Сольцем.

Общие же слова о «перегибах» органов НКВД никого испугать не могли и вполне укладывались в очередное изменение политики партии в связи с недавним снятием Ежова. Да и какую угрозу могла представлять для Сталина семидесятилетняя старушка, давно уже не игравшая никакой политической роли, зато еще при жизни ставшая частью ленинского мифа?

Замечу, что существует народное поверье: день рождения нельзя праздновать раньше календарной даты, это может принести несчастье. Ни Крупская, ни другие старые большевики, пришедшие ее поздравить, ни в Бога не верили, ни просто суеверными людьми не были. Как знать, не поколебало ли их материалистические убеждения трагическое происшествие с Надеждой Константиновной?

После смерти все три члена знаменитого «красного треугольника» нашли вечный покой в одном и том же месте. Ленин — в мавзолее на Красной площади, Арманд — рядом, в могиле у кремлевской стены, а Крупская — в самой этой стене. Все трое встретились вновь, и теперь уж навсегда. Их имена в нашей памяти неразрывно связаны друг с другом. Говорим о Крупской и тут же вспоминаем Ленина и Инессу Арманд. Говорим об Инессе, и тут же в памяти возникают Крупская и Ленин.

Теперь, когда мое повествование подошло к концу, хочется поразмышлять над вопросом, кому из двух наиболее близких к Ленину женщин любовь принесла больше пользы? Для ответа на этот вопрос необходимо еще раз попытаться оценить личности Арманд и Крупской и представить себе, что бы с ними стало, не встреться они с Ильичом.

Для Надежды Константиновны брак с вождем большевиков, бесспорно, стал счастливым билетом. Благодаря тому, что после Октябрьской революции Ленин стал главой Российского государства, Крупская получила если не всемирную, то, по крайней мере, всероссийскую известность, занимала высокие правительственные посты, входила в ЦК партии. Ради положения «первой дамы» Советского государства, ради причастности к великому вождю и складывающемуся вокруг него мифу можно было смириться с ощущаемым равнодушием мужа к ней как к женщине, удовлетвориться положением «товарища по работе».

Никакими особыми талантами Крупская не была отмечена, кроме революции, ничем заниматься не умела, даже домашнее хозяйство не могла толком вести. Только революционная работа давала ей шанс занять не последнее место в жизни, каким-то образом самореализоваться. Ведь и педагогической

деятельностью в отрыве от революционной Надежда Константиновна почти не занималась. Даже когда была учительницей в рабочей школе, больше думала об организации марксистского кружка среди своих учеников.

Но не сделайся Крупская женой Ленина, так бы и осталась партийным функционером среднего звена. После 1917 года заняла бы какую-нибудь второстепенную должность в одном из многочисленных горкомов и обкомов или в том же наркомате просвещения. И неизвестно, кстати, смогла бы она все же устроить личную жизнь. Может быть, и при этом варианте судьбы наша героиня благополучно миновала 37-й год, а может, без защиты ленинским именем, сгинула бы в ГУЛАГе. Кто знает… Но в одном можно быть уверенным: имя Надежды Константиновны Крупской упоминалось бы только в специальных исследованиях, посвященных истории партии большевиков в дореволюционный период. И вряд ли бы была написана ее биография.

Иное дело — Инесса Арманд. У нее были задатки хорошей пианистки, неплохой литературный стиль. Если бы Инесса развивала эти таланты, то вполне могла бы стать известной пианисткой или писательницей. В ее архиве, кстати сказать, сохранилась незаконченная пьеса «Деникинцы». Правда, это не более чем революционная агитка.

Инессе была присуща рефлексия, сомнения в том, всегда ли революционеры обладают нравственной правотой. И, не будь столь мощного влияния личности Ленина, вполне можно себе представить иной вариант судьбы Арманд. Инесса разочаровывается в конце концов в революции и большевиках, возвращается в свою родную Францию, обращается к миру литературы и искусства, создает нетленные шедевры, находит свое счастье с каким-нибудь артистом или писателем, живет долго… И, быть может, мы знали бы Инессу Федоровну не как любовницу Ленина, а как выдающегося деятеля французской или русской культуры XX века?

А сам Ильич, испытывал ли он какое-нибудь влияние со стороны любимых женщин? Боюсь, что по большому счету нет. Ленин мог быть нежен в письмах к Инессе, заботиться о здоровье Крупской, равно как и других своих партийных товарищей, но никогда под влиянием чувств не отступал от раз избранного пути, не отказывался от новых жертв, не миловал тех, кого полагал необходимым уничтожить. Вся жизнь Ленина была подчинена революции. Любовь в этой не очень долгой жизни занимала сугубо, подчиненное место.

Ни одной из близких Ленину женщин не под силу оказалось изменить его. Наверное, женщины, способной на этот подвиг,

просто не было в мире.

Лишь однажды, когда умерла Инесса, Ильич на мгновение понял, чего он лишился, что вся мировая революция, быть может, не стоит той большой, невозвратной любви. Но потом вроде оправился, вернулся к делам, давал грозные телеграммы, редактировал 58-ю «расстрельную» статью Уголовного Кодекса… Пока не свалила его смертельная болезнь. Может, одной из ее причин и была невысказанная вслух печаль по Инессе? Может, подсознательно

понимал Ленин, что, расстанься он с нелюбимой Надей, соединись с Инессой, и не было бы роковой поездки в Кисловодск, не было бы свинцового гроба на Казанском вокзале, венков и черных траурных лент? Ответы на эти и многие другие вопросы можно дать разве что только в романе об Арманд, Крупской и Ленине. Может, когда-нибудь и напишут такой. А наше документальное и правдивое повествование закончено.

Краткая библиография

Алданов М. А. Самоубийство. Армагеддон. Исторические портреты и очерки. М.: ТЕРРА, 1995.

Альф Н. С. Семья Крупских в Петербурге. Л.: Знание, 1965.

Арманд И. Ф. Неизвестное письмо Ленину. Из дневников // Свободная мысль, М., 1992, № 3.

Арманд И. Ф. (Блонина Е.) Почему я стала защитницей Советской власти? М.: Госиздат, 1919.

Арманд И. Ф. Статьи. Речи. Письма. М.: Политиздат, 1975.

Большевики. Документы по истории большевизма с 1903 по 1916 год бывшего Московского Охранного Отделения. 3-е изд. М.: Политиздат, 1990.

Валентинов Н. В. Недорисованный портрет… М.: ТЕРРА, 1993.

Валентинов Н. В. Новая экономическая политика и кризис партии после смерти Ленина. М.: Современник, 1991.

Васильева Л. Н. Кремлевские жены. М.: Вагриус, 1993.

Васильева О. Ю., Кнышевский П. Н. Красные конкистадоры. М.: Соратник, 1994.

Волкогонов Д. А. Ленин. Политический портрет. Кн. 1, 2. М.: Новости, 1994.

Волкогонов Д. А. Семь вождей. Кн. 1. М.: Новости, 1995.

Восленский М. С. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. Лондон: OPI, 1984.

Громов Е. С. Сталин: власть и искусство. М.: Республика, 1998.

Ерофеев Венедикт В. Моя маленькая лениниана// Ерофеев Венедикт В. Оставьте мою душу в покое. М.: Х.Г.С., 1997.

Колесникова Н. Н. Яков Зевин. Баку: Филиал ИМЭЛ, 1948.

Крупская Н. К. Воспоминания о В. И. Ленине. 2-е изд. М.: Политиздат, 1972.

Крупская Н. К. Моя жизнь. Харьков: Пролетарий, 1925.

Крупская Н. К. Моя жизнь. Детство и ранняя юность Ильича. Письма пионерам. Кемерово: Книжное изд-во, 1989.

Крупская Н. К. Последние полгода жизни Владимира Ильича. 3 февраля 1924 г.//Известия ЦК КПСС, 1989, № 4.

Крупская Н. К. Система Тейлора и организация работы советских учреждений//Красная новь, М., 1921, № 1.

Куманев В. А., Куликова И. С. Противостояние: Крупская — Сталин. М.: Наука, 1994.

Кунецкая Л. И., Маштакова К. А. Крупская. 3-е изд. М.: Молодая гвардия, 1985.

Латышев А. Г. Рассекреченный Ленин. М.: Март, 1996.

Ленин В. И. Полное собрание сочинений в 55 тт. 5-е изд. М.: Политиздат, 1958–1964.

Ленин в действии. Его роман с Елизаветой К.// Иллюстрированная Россия, Париж, 1936, №№ 45–51.

Летописец. Ленин в гражданской войне//Иллюстрированная Россия, Париж, 1933, № 51.

Летописец. Ленин у власти//Иллюстрированная Россия, Париж, 1933, № 45.

Лопухин Ю. М. Болезнь, смерть и бальзамирование В. И. Ленина. М.: Республика, 1997.

Мельниченко В. Е. Личная жизнь Ленина. М.: Воскресенье, 1998.

Наследница. Страницы жизни Н. К. Крупской./ Сост. С. А. Рубанов. Л.: Лениздат, 1990.

О Надежде Крупской. Воспоминания, очерки, статьи современников./Сост. Т. Н. Кузнецова, Е. П. Подвичина. М.: Политиздат, 1988.

Оболенский В. А. Моя жизнь. Мои современники. Париж: YMCA-Press, 1988.

Памяти Инессы Арманд. Сборник под ред. Н. К. Крупской. М.-Л.: Госиздат, 1926.

Письма Крупской//Известия ЦК КПСС, М., 1989, № 2.

Подляшук П. И. Товарищ Инесса. 4-е изд. М.: Политиздат, 1987.

Рассказы о Ленине. Сборник воспоминаний/ Сост. и ред. Н. И. Крутикова. М.: Детская литература, 1964.

Рубанов С., Негинекий С. Крупская в Петербурге. Л.: Лениздат, 1975.

Соколов Б. В. Булгаковская энциклопедия. М.: Локид — Миф, 1996.

Сокровища душевной красоты./Автор-составитель С. Ф. Виноградов. 2-е изд. М.: Политиздат, 1988.

Солженицын А. И. Ленин в Цюрихе. Париж: YM C A-Press, 1975.

Троцкий Л. Д. К истории русской революции. М.: Политиздат, 1990.

Троцкий Л. Д. Моя жизнь. М.: Панорама, 1991.

Троцкий Л. Д. Портреты революционеров. М.: Московский рабочий, 1991.

Фишер Л. Жизнь Ленина. Т.1, 2. М.: Кн. лавка РТР, 1997.

Хлевнюк О. В. Политбюро: механизмы политической власти в 30-е годы. М.: РОССПЭН, 1996.

Четырнадцатый съезд ВКП(б). Стенографический отчет. М.-Л.:

Госиздат, 1926.

Иллюстрации

Инесса Арманд в юности

Арманд с детьми. 1910 г.

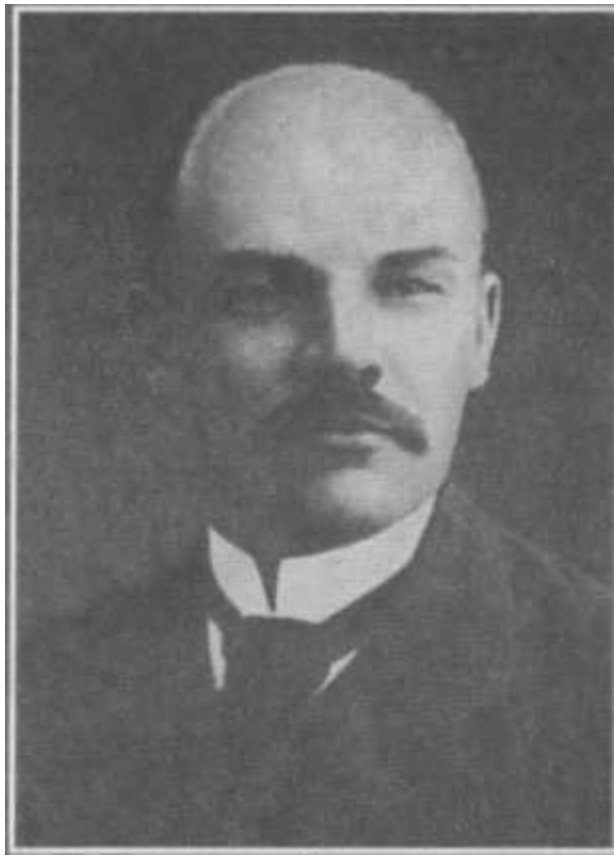
Надя Крупская пяти лет

Н. К. Крупская в 1882–1883 годах

В. И. Ленин. 1897 г.

Н. К. Крупская — учительница вечерне-воскресной школы за Невской заставой. 1895 г.

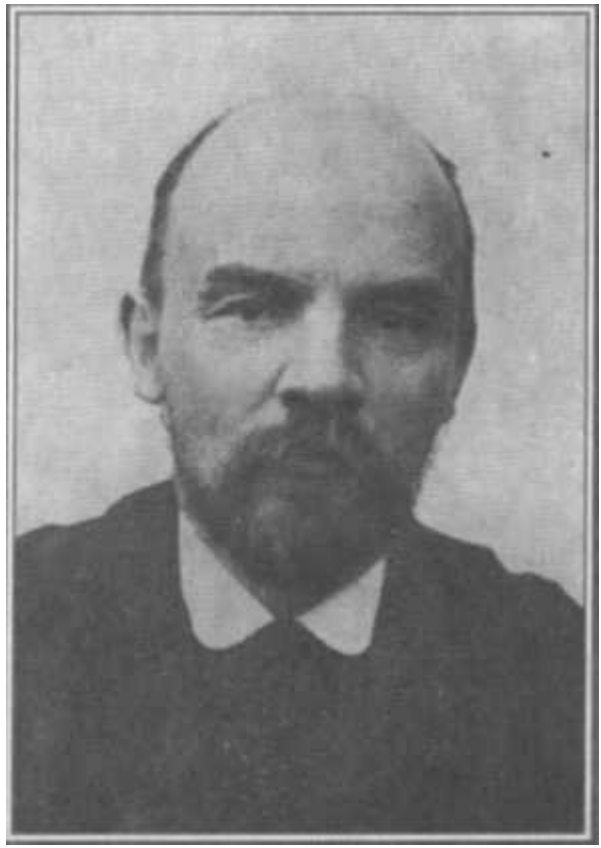
Н. К. Крупская после выхода из тюрьмы. Петербург, 1898 г.



В. И. Ленин. 1910 г.

В. И. Ленин. Москва, 1900 г.

Н. К. Крупская. 1915–1916 годы.



В. И. Ленин в день выхода из тюрьмы Нового Тарга. 1914 г.

В. И. Ленин, И. Ф. Арманд и Н. К. Крупская в Стокгольме среди русских политэмигрантов, возвращающихся на родину (впереди с зонтиком — Ленин. За ним в широкополой шляпе — Крупская. Позади Крупской — Арманд. Это единственное известное сегодня фото, где Ленин, Крупская и Арманд сняты вместе). 1917 г.

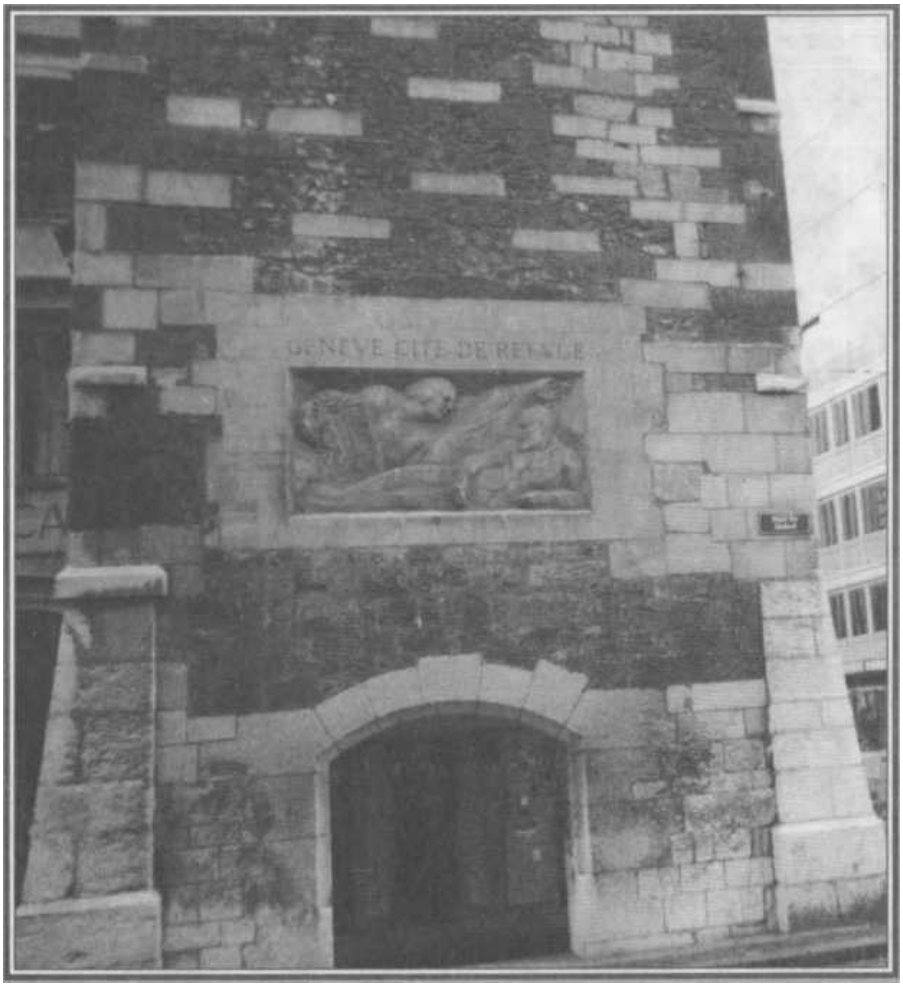
В. И. Ленин в гриме. 1917 г.

Н. К. Крупская — Агафья Атаманова. 1917 г.

В. И. Ленин, Н. К. Крупская и А. И. Ульянова-Елизарова в Горках. 1922 год.

Н. К. Крупская в кабинете Главполитпросвета. Москва, 1927 г.

Н. К. Крупская. 1936 г.



Эта мемориальная доска, изображающая Арманд и Ленина, установлена на том доме в Женеве, где некогда снимали квартиру Ленин и Крупская. В доме напротив в те же самые дни проживала Арманд.

notes

Примечания

1

Все даты в книге, относящиеся к России, до 19 января (1 февраля) 1918 года приводятся по старому стилю (Юлианскому календарю). Даты, относящиеся к другим государствам, как правило, приводятся по новому стилю (Григорианскому календарю), который в России был введен 1 февраля 1918 года. В некоторых случаях дается двойная датировка по обоим календарям. В XIX веке старый стиль запаздывал по сравнению с новым на 12 дней, в XX веке — на 13 дней.